В. Каверин

Художник неизвестен

и другие произведения

В. Каверин

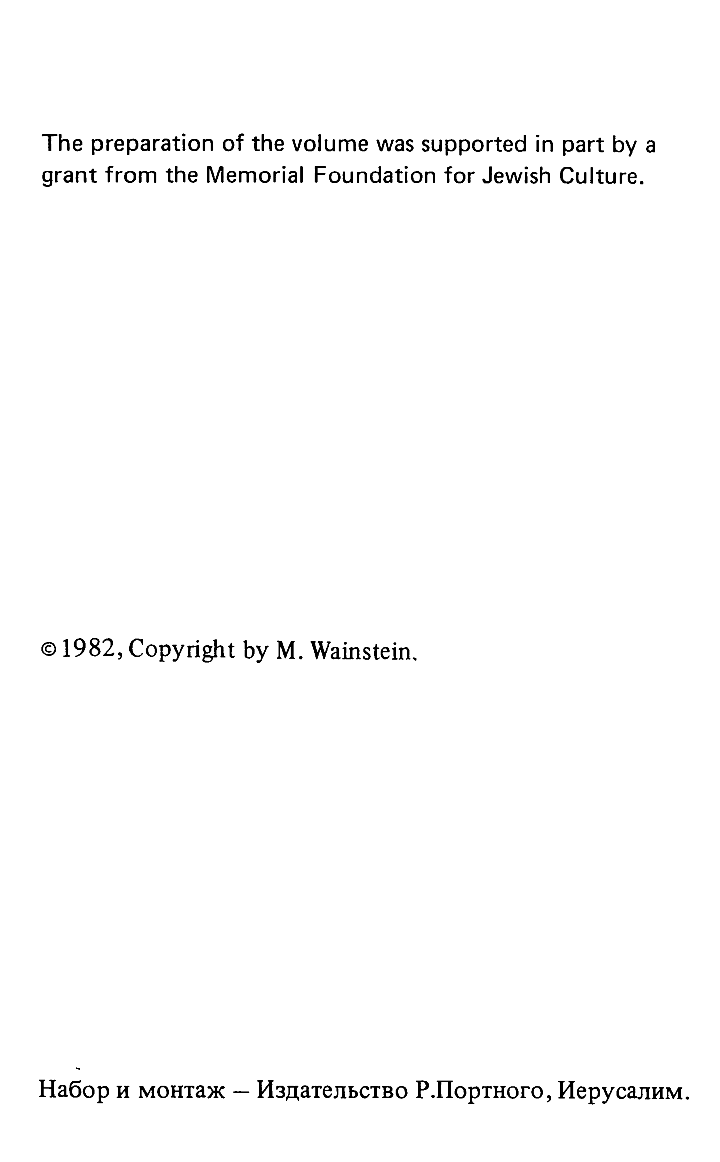
В.КАВЕРИН

• ХУДОЖНИК НЕИЗВЕСТЕН •

И ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Составление, послесловие
и примечания – М. Вайнштейна

Серия (זכרון) Память



The preparation of the volume was supported in part by a grant from the Memorial Foundation for Jewish Culture.

Набор и монтаж – Издательство Р.Портного, Иерусалим.

Вместо введения

(ИЗ РОМАНА "ДВА КАПИТАНА")

ТЕРЯЮ НАДЕЖДУ

Берта умерла в середине декабря, в один из самых ”налетных” дней, когда бомбежка началась с утра, или, вернее, не прекращалась с ночи. Она умерла не от голода — бедная Розалия Наумовна десять раз повторила, что голод тут ни причем.

Ей непременно хотелось похоронить сестру в тот же день, как полагается по обряду. Но это было невозможно. Тогда она наняла длинного грустного еврея, и тот всю ночь читал молитвы над покойницей, лежавшей на полу, в саване из двух несшитых простынь — тоже согласно обряду. Бомбы рвались очень близко, ни одного целого стекла не осталось в эту ночь на проспекте Максима Горького, на улицах было светло и страшно от зарева, от розово-красного снега, а этот грустный человек сидел и бормотал молитвы, а потом преспокойно уснул; войдя в комнату с рассветом, я нашла его мирно спящим подле покойницы, с молитвенником под головой.

Ромашов достал гроб — тогда, в декабре, это было еще возможно, — и, когда худенькая старушка легла в этот огромный, грубо сколоченный ящик, мне показалось, что и в гробу она забилась в угол со страху.

Могилу нужно было копать самим — могильщики заломили, по мнению Ромашова, "неслыханную" цену. Он нанял мальчиков — тех самых, которых Розалия Наумовна учила красить.

Очень оживленный, он десять раз бегал вниз во двор, шептался о чем-то с комендантом, похлопывал Розалию Наумовну по плечу и в конце концов рассердился на нее за то, что она настаивала, чтобы Берту так и похоронили, в саване из несшитых простынь.

— Простыни можно променять! — закричал он. — А ей они не нужны. В лучшем случае через два дня с нее эти простыни снимут.

Я прогнала его и сказала Розалии Наумовне, что все будет так, как она хочет.

Было раннее утро, мелкий и жесткий снежок крутился и вдруг, точно торопясь, падал на землю, когда, толкаясь о стены и неловко поворачивая на площадках, Ромашов с мальчиками снесли гроб и поставили его во дворе на салазки. Я хотела дать мальчикам денег, но Ромашов сказал, что сговорился за хлеб.

— По сто грамм авансом, — весело сказал он. — Ладно, ребята?

Не глядя на него, мальчики согласились.

— Катя, вы идете наверх? — продолжал он. — Будьте добры, принесите, пожалуйста. Хлеб лежит в шинели.

Не знаю, почему он положил хлеб в шинель —

должно быть, спрятал от Розалии Наумовны или давешнего еврея. Шинель висела в передней, он давно уже носил полушубок.

Я поднялась и, помнится, подумала на лестнице, что следует одеться потеплее. Меня с ночи немного знобило, и лучше было бы, пожалуй, не ходить на кладбище, до которого считалось добрых семь километров. Но я боялась, что без меня Розалия Наумовна свалится по дороге.

Завернутый в бумагу кусок хлеба лежал в кармане шинели, я стала доставать его. Вместе с хлебом полез какой-то мягкий мешочек. Мешочек упал, и я открыла дверь на лестницу, чтобы подобрать его — в передней было темно. Это был желтый замшевый кисет; среди других подарков мы посылали на фронт такие кисеты. Я подумала — и развязала его; карточка, сломанная пополам, лежала в нем и какие-то кольца. ”Променял где-нибудь”, — подумала я с отвращением. Карточка была очень старая, покоробившаяся, с надписью на обороте, которую трудно было разобрать, потому что буквы совершенно выцвели и слились. Я уже совсем собралась сунуть карточку обратно в кисет, но странное чувство остановило меня. Мне представилось, что некогда я держала ее в руках.

Я вышла — на лестнице было светлее — и стала по буквам разбирать надпись: ”Если быть...” — прочитала я. Белый острый свет мелькнул перед моими глазами и ударил прямо в сердце. На фотографии было написано: ”Если быть, так быть лучшим”.

Не знаю, что сталось со мной. Я закричала, потом увидела, что сижу на площадке и шарю, шарю, ищу это фото. Через какую-то темноту перед гла-

зами я прочитала надпись и узнала Ч. в шлеме, делавшем его похожим на женщину, Ч. с его большим орлиным лицом, с добрыми и мрачными из-под низких бровей глазами. Это была карточка Ч., с которой никогда не расставался Саня. Он носил ее в бумажнике вместе с документами, хотя я тысячу раз говорила, что карточка изотрется в кармане и что нужно остеклить ее и поставить на стол.

С бешенством бросилась я обратно в переднюю, сорвала с вешалки шинель и, бросив ее на площадку, вывернула карманы. Саня умер, умер, убит. Не знаю, что я искала. Ромашов убил его. В другом кармане были какие-то деньги, я скомкала их и швырнула в пролет. Убил и взял это фото. Я не плакала. Украл документы, все бумаги и, может быть, медальон, чтобы никто не узнал, что этот мертвый в лесу, этот труп в лесу — Саня. "Другие бумаги, очень важные, они лежали в планшете",— мысленно услышала я, и словно кто-то зажег фонарь перед каждым словом Ромашова.

Это фото было в планшете. Другие бумаги и газета "Красные соколы" тоже были в планшете, но они размокли, пропали — ведь сам Ромашов сказал:"Газета превратилась в комочек". А фотография сохранилась, быть может потому, что Саня всегда носил ее обернутой в кальку.

Внизу слышались голоса. Розалия Наумовна звала меня. Я спрятала фотографию на груди, положила кисет в карман шинели. Я повесила шинель на прежнее место и, спустившись во двор, отдала хлеб Ромашову.

Он спросил:

— Что с вами? Вы нездоровы?

— Нет, здорова.

Ничего не было. Не было пустынных, бесшумных улиц, по которым, медленно передвигая ноги, как в страшном медленном сне, молча шли люди. Не было застрявших среди улиц обледеневших трамваев, с которых свисали, как с крыш деревенских домов, толстые карнизы снега. Не бежал все дальше и дальше от нас узкий след салазок, на которых лежало маленькое, как у ребенка, спеленутое тело. Только теперь я вспомнила, что Ромашов распорядился оставить гроб, не поместившийся на маленьких салазках.

— Ничего,продадим, — сказал он.

И Розалия Наумовна, должно быть, сошла с ума, потому что сказала, что по обряду так и нужно — без гроба. Я вспомнила об этом и сразу забыла. Девочка с крошечным старым лицом ступила в снег, чтобы пропустить нас — двоим было не разойтись на узкой дорожке, проложенной вдоль Пушкарской. Странно болтаясь в широком пальто, прошел еще кто-то — мужчина с портфелем, висящем на веревочке через плечо. Я увидела их — и тоже сразу забыла. Я видела все: бесшумные, занесенные снегом улицы, спеленутый труп на саночках и еще другой труп, который какая-то женщина везла по той стороне, но все останавливалась и наконец отстала. Как тени бесшумно, бесследно скользят по стеклу, так проходил передо мной белый, потонувший в снегу, стынущий город.

Другое видела я, другое терзало сердце: вытянув ноги в грязных, желтых от крови бинтах, Саня лежит, прижавшись щекою к земле, и убийца стоит над ним — одни, одни в маленькой мокрой осиновой роще!

ДА СПАСЕТ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ

До еврейского кладбища было далеко, не добраться, и Розалия Наумовна решила похоронить сестру на Смоленском. За шестьсот граммов хлеба грустный еврей, читавший над Бертой молитвы, согласился прийти на православное кладбище, чтобы проводить свою "клиентку", как он сказал, согласно обряду.

Я плохо помню эти проводы, продолжавшиеся весь день — от самого раннего утра до сумерек, подступивших по-декабрьскому рано. Как будто старая немая кинолента шла передо мной, и сонное сознание то следовало за ней, то оступалось в снег, заваливший Васильевский остров.

Вот мы идем, не чувствуя ничего, кроме холода, усталости и нелюбви к окостеневшему трупу. Мальчики тащат Берту по очереди в гору вдвоем, а на скатах она поспешно съезжает сама, точно торопясь поскорее освободить нас от этих скучных забот, которые она невольно нам причинила.

Блестит на солнце привязанная к трупу лопата, и, глядя на этот блеск, я почему-то вспоминаю Крым и море. Нам было так хорошо в Крыму! Саня вставал в пять часов, я готовила ему легкий завтрак, когда знала что он идет на высокий полет. Мы купили душ "стандарт", я все приладила, устроила, и после душа Саня садился за стол в желтой полосатой пижаме. Как-то мы поехали в Севастополь, море было неспокойно, погода хмурилась — летчикам всегда давали отпуска в самое неподходящее время. Я огорчилась, и Саня сказал: "Ничего, я тебе организую хорошую погоду". И правда,

только отвалил пароход, как стала прекрасная погода.

Как весело, как легко было мне стоять с ним на белой нарядной палубе, в белом платье, говорить и смеяться и стараться быть красивой, потому что я знала, что ему нравится, когда я нравлюсь другим! Как ослепительно сверкало солнце везде, куда ни кинешь взгляд, — на медных поручнях капитанского мостика, на гребешках закидывавшейся под ветром волны, на мокром крыле нырнувшей чайки!

...Сгорбившись, посинев, держа под руку Розалию Наумовну, чуть двигавшуюся — так тепло она была одета, — я плетусь за салазками, то уходящими от нас довольно далеко, то приближающимися, когда мальчики останавливаются, чтобы покурить. Мы две одинаковые жалкие старушки, я — совершенно такая же, как она. Должно быть, это сходство приходит в голову и Ромашову, потому что он догоняет нас и говорит с раздражением:

— Зачем вы пошли? Вы простудитесь, сляжете. Вернитесь домой, Катя.

Я гляжу на него: жив и здоров. В белом крепком полушубке, ремни крест-накрест, на поясе кобура. Жив! Открытым ртом я вдыхаю воздух. И здоров! Я наклоняюсь и кладу в рот немного снега. Все поблескивает привязанная к трупу лопата, я все смотрю и смотрю на этот гипнотический блеск.

Кладбище. Мы долго ждем в тесной, грязной конторе с белыми полосами заиндевевшей пакли вдоль бревенчатых стен. Опухшая конторщица сидит у буржуйки, приблизив к огню толстые, замотанные тряпками ноги. Ромашов за что-то кри-

чит на нее. Потом нас зовут — могила готова. Опираясь на лопаты, мальчики стоят на куче земли и снега. Неглубоко же они собирались запрятать бедную Берту! Ромашов посылает их за покойницей, и вот ее уже везут. Длинный грустный еврей идет за салазками и время от времени велит постоять — читает коротенькую молитву. Ромашов раскладывает на снегу веревку, ловко поднимает покойницу, ногой откатывает салазки. Теперь она лежит на веревках. Розалия Наумовна в последний раз целует сестру. Еврей поет, говорит то высоко, с неожиданными ударениями, то низко, как старая, печальная птица...

Памяти Льва Лунца

КОНЕЦ ХАЗЫ

1

В дни, когда республика, сжатая гражданской войной, голодом, блокадой, начала, наконец, расправлять плечи, изменяя на географической карте линию своих очертаний, в Петрограде, который только что остыл от схватки с мятежным Кронштадтом, на Лиговке, единственной улице, до сих пор сохранившей в неприкосновенности свои знаменитые притоны, из дома, принадлежавшего когда-то барону Фредериксу, министру царского двора, где живут главным образом учительницы музыки и иностранных языков, те самые, что по праздничным дням носят на груди часики, приколотые золотой булавкой, из антресолей, которыми зовется в этом доме второй этаж, — 12 сентября, в 9 часов утра, ушла и не вернулась обратно стенографистка Екатерина Ивановна Молотова.

В доме барона Фредерикса много круговых коридоров, и у каждого коридора есть свой представитель.

В пределах своего коридора коридорный представитель является верховной властью.

За труд, который несет верховная власть, она пользуется, кроме почета, каким-нибудь значительным удобством — отдельным чуланчиком на замке или своим собственным ключом от выходной двери.

Когда извозчик едет на Старо-Невский, то как бы он ни был пьян, колеса его пролетки никогда не вертятся по направлению к Адмиралтейству. Мировой порядок никому не позволит исчезнуть из комнаты, из дома, из улицы, из города. так, чтобы этого никто не заметил.

Поэтому представитель коридора, в котором жила стенографистка Молотова, через четыре дня после того, как она ушла и не вернулась обратно, заявил о странном происшествии управдому. Управдом, которого все в доме называли Лукич, — пропитый до костей человек с сизыми усами, — закурил трубку.

Спустя четверть часа он для чего-то заглянул в домовую книгу, сплюнул, обругал свою хозяйку и, наконец, сообщил об исчезновении стенографистки в милицию.

Еще через два-три дня в дом барона Фредерикса явился квартальный надзиратель, чтобы на месте выяснить все обстоятельства, которые могли служить причиной незаконного события.

Он допросил соседок по комнате Екатерины Молотовой. Одна из них оказалась старушкой, торговавшей всякой рухлядью на Мальцовском

рынке и называвшей себя кружевницей.

Она поминутно смеялась в свой сухонький кулачок, была глуховата, носила очки на носу и на голове малиновый чепчик.

Другая была проституткой, по прозвищу "Кораблик".

Из показаний старушки в малиновом чепчике выяснилось:

1. Что Екатерина Молотова жила одна, сильно нуждалась и служила стенографисткой в одном из петроградских государственных учреждений.

2. Что никто ее, стенографистку Молотову, не посещал, кроме какого-то высокого человека в кожаной куртке и желтых сапогах со шпорами, который был у нее раза два-три за несколько дней до ее исчезновения.

3. Была ли она с этим человеком в каких-либо близких отношениях, — неизвестно, но в последнее свое посещение высокий человек со шпорами стенографистку Молотову, прощаясь, поцеловал и передал ей письмо.

Это свидетельница видела собственными глазами и об этом в тот же вечер сообщила даже по секрету своей знакомой Анне Власьевне Лопуховой, учительнице музыки, которая живет в первом этаже, в 17 номере.

4. Бывала ли где-либо Екатерина Молотова и где бывала преимущественно, об этом свидетельница ничего решительного сказать не могла.

Проститутка, по прозвищу "Кораблик", показала, что Молотова имела характер грубый и необщительный, что она много курила (по целым дням не выпускала папиросы изо рта), что по ночам она часто бредила (так что "Кораблик" даже

просыпалась от крика), но что за всем тем она никого не марьяжила, и хоть была хороша лицом, но вела себя как законная елдочка и по вечерам никуда не бегала.

Квартальный надзиратель, чувствуя неловкость, придержал шашку, задал еще два-три вопроса, но больше ничего не узнал.

Тогда он решил (и с этим согласились все присутствовавшие), что стенографистка Молотова покончила самоубийством.

Этим решением еще неокрепшего ума молодого квартального надзирателя петроградская милиция закончила розыски пропавшей стенографистки.

Только старушка в малиновом чепчике не была вполне уверена в том, что ее бывшая соседка уже отправилась туда, где ее не сумеет найти никакой уголовный розыск.

Она запамятовала на допросе одно незначительное обстоятельство, которое, может быть, дало бы кое-что в руки квартального надзирателя.

На другой день после исчезновения Екатерины Ивановны Молотовой старушка в малиновом чепчике нашла у дверей ее комнаты письмо. Она нацепила очки на нос и прочла это письмо.

Письмо гласило:

"Многоуважаемая Екатерина Ивановна, Александр Леонтьевич говорил мне, что вы Нуждаетесь в постоянная работа, которая обеспечила бы вашу жизнь максимально. Для дел Нашего союза, имеющих скоро расшириться в Значительной степени, необходима стенографистка. Если вы ничего не имеете против Подобное предложение, то передайте о вашем согласии Александру

Леонтьевичу и благоволите в четверг 13-го сего зайти по адресу, который он сообщит вам.

Уважаемый вами С.Качергинский".

2

Был второй час ночи. Пинета спал, уткнувшись лицом в подушку и по-детски свернувшись в клубочек.

Он чуть слышно посапывал и спал спокойно, хотя уже целую неделю ничего не ел, кроме хлеба, который уже не рассыпался на ладони от неудачной примеси и международной блокады.

Этот хлеб он получил от булочника на Петроградской стороне за то, что нарисовал ему вместо вывески большую французскую булку, которая вышла такой пышной, что так и хотелось ткнуть ее пальцем.

Последнее время он только тем и зарабатывал, что рисовал вывески для мелких лавочников на Петроградской стороне и Васильевском острове. Но с каждым днем заказы таяли.

Республика, вместо того, чтобы помочь Пинете, обложила вывески особым налогом, и французская булка, нарисованная неделю назад, была его последней работой. Он съел эту последнюю булку и спал, уткнувшись лицом в подушку и по-детски свернувшись в клубочек.

Ему приснилась отличная рисовая каша с маслом; каша пыхтела и лопалась, и каждая дырочка тотчас же наполнялась прозрачным маслом. Он облизнулся и открыл уже было рот, но в эту са-

мую минуту кто-то открыл дверь его комнаты и зажег спичку.

Спичка вспыхнула и погасла.

Пинета вздохнул во сне, открыл глаза и приподнялся на локте.

— Одну минуту, — сказал человек, открывший дверь.

Новая спичка вспыхнула, осветила снизу небритый подбородок и погасла.

— А, черт! — сказал человек с небритым подбородком. — Сашка, зажги же одну спичку, не горит!

— В чем дело?

Кроме изодранных брюк, рубахи, которую не на что было сменить, старых полотен и алюминиевого лекала, сохранившегося от того времени, когда Пинета был в институте гражданских инженеров, ему нечего было терять. Поэтому он нисколько не испугался, зевнул и сел на постели.

Вошедший зажег, наконец, спичку, отыскал электрический выключатель и повернул стерженек: лампочка не загорелась.

— Там лампочки нет, — объяснил Пинета, — да вы скажите толком, что вам нужно?

— Фонарь остался в машине, — сказал с досадой второй человек, тот, которого называли Сашкой; он каждую минуту зажигал новую спичку, и она горела до тех пор, пока не начинала жечь пальцы.

— Сашка, сходи за фонарем, — сказал первый. — Не беспокойтесь, инженер, мы пришли к вам по делу.

— Обыск, — подумал Пинета, — или воры. Вернее обыск.

Дверь снова отворилась, и при свете фонаря Пинета, наконец, рассмотрел своих посетителей.

Первый был толстый еврей небольшого роста. У него были пухлые губы и брезгливый еврейский нос; на голове сидела кожаная фуражка, сплющенная в блин. Такие фуражки носили когда-то в западных губерниях евреи-рыбники. И в самом деле, от него как будто пахло немного свежей рыбой.

Второй — высокий белокурый человек, с глазами, похожими на оловянные бляхи, был как будто выструган перочинным ножом и притерт, как стеклянная пробка.

Он был одет по-военному, в кителе, на плечах которого остались еще дырочки от погон, с портупеей через плечо, и напоминал гвардейского офицера.

— Вашу старушку мы заперли в комнате, инженер, и только что из уважения к вам не затемнили ее, честное слово, — сказал рыбник.

— Что же вам от меня нужно? — повторил Пинета.

— Нам нужно от вас прямо пустяков, — сказал рыбник, садясь на стул и устраиваясь на нем со всеми удобствами, — но из этих пустяков мы с вами найдем кой-чего интересного.

— Сидеть! — вдруг крикнул он, увидев, что Пинета протянул руку к своим брюкам, висевшим на спинке кровати.

Пинета опустил руку и посмотрел на него с удивлением.

Рыбник вытащил браунинг и, вскинув рукой, отвел предохранитель.

— Да какого черта вам от меня нужно? — взбесился Пинета. — Вы хотите, чтобы я говорил с вами в подштанниках? Говорите прямо и уберите, пожалуйста, револьвер.

Рыбник сунул револьвер в карман.

— Вот что. Я — Шмерл Турецкий Барабан, — сказал он так, как будто не сомневался в том, что Пинете известно это имя, — а это мой товарищ, Саша Барин.

Высокий посмотрел на Пинету равнодушно.

— Воры, — решил, наконец, Пинета.

— Дело заключается в том, — продолжал человек, назвавший себя Турецким Барабаном, — нам известно, что вы, инженер Пинета, хороший специалист по своему делу. Каждый человек имеет свою специальность: так вот, ваша специальность понадобится нам на некоторое время.

— Вам понадобится моя специальность? — переспросил Пинета. — Очень рад. Это любопытно.

— Поэтому складывайте ваш чемодан — только самое необходимое — и едем.

— Это чрезвычайно любопытно! А скажите... вам в каком же роде понадобится моя специальность?

— Барабан, довольно болтовни, — сказал белокурый человек, представленный Пинете, как Саша Барин. — Обо всем вы узнаете на месте, — сурово сказал он, обратившись к Пинете. — Одевайтесь.

— Не тревожьтесь, — добавил Барабан. — Оставь его, Сашка. Спокойствие! Терпение! Вы можете быть совершенно спокойны за вашу судьбу. Вашу хозяйку мы сейчас же выпустим. Напишите бедной старушке пару слов; не нужно заставлять ее искать вас понапрасну. Сашка, дай ему кусочек бумаги!

Барин подошел к столу и, не оборачиваясь к Пинете спиной, вырвал из блокнота, лежащего на столе, лист клетчатой бумаги.

— Наденьтесь! — сказал Барабан, — мы напишем ей маленькое письмо, вашей старушке.

Пинета натянул брюки, послушно сел к столу и взял в руки карандаш.

— Пишите, — сказал Барабан. — Дорогая моя старушка... Как ее зовут?

— Марья Александровна.

— Тогда лучше так: "Дорогая Марья Александровна! Я уезжаю на шесть-семь дней в провинцию. Не беспокойтесь за мое отсутствие. До свиданья. Ваш Пинета". Написали?

Пинета повернулся к нему, чуть-чуть улыбаясь.

— Ну, написал.

— Теперь, пожалуйста, укладывайте ваш чемодан и торопитесь, честное слово!

Пинета немного подумал, звонко хлопнул себя по лбу и чему-то рассмеялся.

— Так вот оно в чем дело!

Он вытащил из-под кровати корзину, бросил в нее подушку, одеяло, полфунта махорки, несколько карандашей и алюминиевое лекало, — это было все, что у него осталось.

— Очень любопытно, в самом деле, — сказал он, надевая серую блузу, запачканную краской, — как это вы так ловко догадались о моей специальности?

Барин хмуро посмотрел на него и указал на дверь рукою, вооруженной револьвером.

— Идите.

Они спустились по лестнице и вышли на улицу. Под ногами хрустел осенний лед на подмерзших лужах. Растерянная луна, как поплавок, ныряла в косматых облаках.

За углом стоял автомобиль, и Барабан сказал,

прикрывая за собою дверцу:

— Это дело стоит работы. Ого, это дело большого масштаба!

Первое время они ехали молча. С 10-й линии Васильевского Острова автомобиль повернул на Малый проспект и от фонаря до фонаря помчался к Тучкову мосту.

Барин вертел в руках папироску; Пинета уставился на него.

— Я забыл дома папиросы, — сказал он, заложив ногу на ногу. — Я надеюсь, что в том месте, куда вы меня везете, я найду достаточное количество папирос?

Барин вытащил из кармана золотой портсигар, на котором толпились монограммы, эмалевые слоны, мухи, и молча протянул его Пинете.

Пинета закурил, пощелкал языком и понюхал дым.

— Ничего себе. Я, впрочем, предпочитаю южные табаки.

— Ага, — равнодушно ответил Сашка Барин.

Автомобиль оставил за собой Тучков мост и полетел по проспекту Карла Либкнехта.

Под разбросанным светом луны, которая металась в облаках, не зная, куда деваться, вставали рядом с деревянными домишками, более приличными для уездных городов, пустыри, почерневшая зелень и огромные серые стены домов, каждая с каким-нибудь одним узким окном, которое светилось высоко, под самой крышей.

Барабан приподнялся и задвинул маленькие занавески на окнах. Полоски света, проскользнувшие сквозь щели, пробежали по груди и ногам Пинеты.

Пинете вдруг стало весело. Он осторожно притушил о каблук догоравшую папиросу и сказал, немного приподнявшись, оборотясь к Сашке Барину:

— У меня на голове есть, знаете ли, любопытная шишка.

Автомобиль подпрыгнул, и он на секунду прервал свое неожиданное сообщение.

— То есть я хочу сказать, что у меня на голове есть шишка, из-за которой я по наследственности страдаю острым любопытством. Например, сейчас мне очень хочется узнать, кто же вы, черт вас возьми, такие?

Сашка Барин скосил на него глаза и закурил новую папиросу.

— Мы — налетчики, — объяснил он довольно равнодушно.

— Мы организаторы, — поправил Барабан, — вы ничего не потеряете от знакомства с нами.

Машина повернула куда-то в переулок и стала сильно подбрасывать на ухабах.

— А вот еще вопрос, — сказал Пинета. — На какого дьявола понадобился вам инженер Пинета?

Больше никто не сказал ни слова; Пинета начинал уже подремывать, забившись в самый угол автомобиля, и рисовая каша с маслом в огромной суповой миске снова начала пыхтеть и лопаться перед ним, как вдруг машина вздрогнула и остановилась перед полуразрушенным домом.

Барин выскочил из автомобиля; Пинета вылез вслед за ним и огляделся.

Они были на пустынной улице, которая почти ничем на улицу не походила; это был, должно

быть, самый конец одной из захолустных улиц Петроградской стороны.

Пинета перебрал в уме улицы, выходившие на проспект Карла Либкнехта.

"Мы на Лахтинской — или, скорее всего, мы на Бармалеевой".

Пустырь, перед которым остановилась машина, был когда-то трехэтажным домом; перед ним был разбит небольшой садик, обнесенный решеткой. Прямо напротив пустыря стояло ободранное деревянное строеньице, походившее на сторожевую будку.

Шагах в двухстах от пустыря приземистыми деревянными домами кончалась улица.

Пинета взглянул на своих спутников: Барабан остался в автомобиле, наставлял своего молчаливого товарища и о чем-то советовался с шофером. До Пинеты долетело только одно слово,сказанное, видимо, шоферу:

— На гопу!

Автомобиль заворчал, вздрогнул и, сорвавшись с места, полетел обратно.

Сашка Барин подошел к Пинете и положил руку ему на плечо.

— Пройдите в ворота.

Они прошли на двор, покрытый кирпичами и размокшей штукатуркой, превратившейся в кашу из песка и извести, миновали арку и вышли во второй двор. В глубине двора стоял небольшой флигель с крытым подъездом; двери его были заколочены наглухо, и подъезд засыпан расколовшимся кирпичом.

Они обогнули флигель.

— Вот сюда, — сказал Сашка Барин, указывая

рукою на каменную лестницу, которая вела вниз, в подвал.

Пинета послушно спустился по лестнице. В подвале пахло прелой сыростью и было почти темно.

Барин зажег фонарь.

— Идите, — сказал он, подталкивая Пинету рукой, — там лестница.

Они поднялись по винтовой лестнице. Лестница вела во второй этаж, к двери, обитой черной клеенкой.

Барин постучал, и почти в ту же самую минуту из-за двери послышался неторопливый голос:

— Кто там?

— Отвори, Маня.

Женщина в пальто, наскоро наброшенном на плечи, отворила им дверь и, придерживая пальто рукой, отступила немного в сторону, чтобы пропустить вошедших.

Они вошли в кухню, довольно чисто прибранную.

— Что нового? — спросила женщина в пальто, поправляя волосы, упавшие ей на глаза.

— Ничего.

-—Что же, Барин, останешься или нет?

Барин, не отвечая, провел Пинету по коридору, отворил ключом дверь в полутемную комнату и сказал, поворачиваясь к нему:

— Здесь вы будете жить пока. Попробуете бежать — хуже будет.

Пинета остался один. Он поставил свою корзину под кровать и снова засмеялся чему-то. Начинало светать. Узкое окно маячило в утреннем свете.

Пинета стянул сапоги и одетый лег на кровать;

он долго припоминал одно слово, которое вертелось у него на языке и которое он никак не мог произнести. Наконец вспомнил и сказал про себя, набрасывая на ноги одеяло:

— Хаза!

3

Гражданская война, грохотавшая по России пулеметами от Баку до Кольского полуострова, не пощадила этого города, построенного на слиянии двух рек и обнесенного каменной стеною, которую в свое время с большим упорством долбил каменными ядрами Стефан Баторий.

Через реку был переброшен мост. Тотчас за мостом начиналась площадь — осенью на ней тонули неосторожные дети; за площадью шли пузатые железные ряды, старинные здания с каменными навесами вдоль фасада, за железными рядами снова площадь, на которой толпились когда-то стекольные магазины.

Стекла плохо выдерживают революцию, и в стекольных магазинах были выбиты стекла.

За площадью неуклюже скатывалась вниз улица; где-то за садами эта улица ударялась в тюрьму, походившую на четырехугольный каменный сундук.

В тюрьме — коридоры и камеры, в камере под номером 212 солдатская кровать, решетка, параша, огромная, как небо, и политический арестант Сергей Травин, который все послал к черту и спал целые дни, завернувшись с головой в одеяло.

"Пещера Лейхтвейса" была единственной кни-

гой, ходившей среди заключенных. Кроме Лейхтвейса, из рук в руки передавались буквари и полное собрание сочинений Смайльса — остаток тюремной библиотеки.

Смайльса особенно любили читать старые, проржавленные до костей уголовные; они учились жить по Смайльсу.

Сергей предпочитал ”Пещеру Лейхтвейса”.

Утром после равнодушного звонка открывалась дверь, и молодой смотритель в кожаных штанах, с рязанским лицом, вставлял нос в отверстие двери.

— Один?

— Один.

Нос ухмылялся, сверял тождество Сергея Травина с цифрой, начертанной мелом над дверным глазком, и удалялся, грохоча каблуками.

Сергей вскакивал, натягивал штаны и бежал по коридору за кипятком.

В коридоре было свежо, камень холодил босые ноги. У чанов с кипятком толпились, переругиваясь, арестанты.

После чая и уборки, за время которой самый опытный курильщик не успел бы выкурить папиросы, он снова бросался на кровать и лежал до полудня. В полдень рязанский нос и равнодушный звонок объявляли о прогулке.

Арестантский дворик был черным экраном, на котором перед Сергеем Травиным стремительно летели сентябрь, осеннее солнце и небо.

Прогулка кончалась через десять минут; потом снова окно, решетка, кровать, параша и арестант Сергей Травин, который все послал к черту и спал целые дни, завернувшись с головой в одеяло.

В 10 часов вечера он прочитывал одну страницу "Пещеры Лейхтвейса". Каждая перевернутая страница означала новый день. Он читал таким образом 156 страницу, в ней говорилось о том, что несчастная графиня Клэр попала, наконец, в пещеру благородного и злополучного Лейхтвейса, и сам Лейхтвейс плакал на этой странице горькими слезами. Он оплакивал свою погибшую жизнь.

Так проходили дни; коридорный был хохлом с сизыми усами, он говорил Сергею:

— Ой, ты ж сгынешь так, матери твоей сын, помяни мое слово!

Хохол был прав: так бы оно и случилось, если бы на 162 странице Сергей не получил письма. Это письмо заставило его совершить несколько поступков, свойственных Лейхтвейсу: он дважды громко захохотал, до кости прокусил руку, рассадил голову в кровь о дверной косяк и сделал несколько тысяч лишних шагов по комнате.

Письмо, подписанное Екатериной Молотовой, в кратких фразах извещало его о том, что Екатерина Молотова исполняет обещание, данное ею когда-то, уведомить его, Сергея Травина, о ее намерении с ним расстаться, просит не поминать ее лихом, никогда и нигде ее не искать и посылает ему пару теплого белья, гимнастерку и полфунта светлого табака.

На этом оканчивалось письмо; в коротеньком постскриптуме добавлялась просьба о том, чтобы он, Сергей Травин, поберег себя, не слишком огорчался и не вздумал кого-либо, кроме нее, винить во всем, что произошло.

В этот день Сергей так и не уснул ни на одну минуту — он шагал по камере и обдумывал план

побега.

Тюрьму он знал плохо; ему известно было, что большой тюремный двор с трех сторон замыкался зданиями и с одной стороны стеною; у входа в тюремный двор ему запомнилась полосатая николаевская будка, а в глубине двора, у входа в главный корпус, полуразбитая часовня.

В первые дни заключения Сергей, как всякий арестант, обдумал десятки разных планов побега; среди них были планы с переодеванием и гримом, план с обольщением сестры милосердия в тюремной больнице; каждый из них удался бы разве только Лейхтвейсу, и то при отсутствии часовых.

Наконец, был план, над которым всерьез задумывался не один Сергей Травин.

За стеною большого тюремного двора протекала река, в которой по целым дням барахтались мальчишки , и бабы полоскали белье.

По мудрой мысли местного губернатора барона Адлерберга, при котором строилась тюрьма, "стены означенной должны быть омываемы водами реки Плотвы, дабы уподобленная крепости святых Петра и Павла, в столице нашей Санкт-Петербурге, городская тюрьма наша истинным и устрашающим оплотом справедливого правосудия служила".

К ночи Сергей решил воспользоваться услугой, которую ему оказывал барон Адлерберг. С этим он заснул, и ему приснился человек с длинным, как адмиралтейская игла, носом. Этот человек грозил ему пальцем и сверкал глазами. Сергей схватил его за адмиралтейскую иглу и проснулся.

Он подбежал к окну. На дворе было пасмурно

и, должно быть, дул ветер. Он увидел стену, которую, согласно проекта барона, омывала река, и уборную, открытую сверху, без дверей, заставленную широкой доскою. В уборной сидел орлом конвойный, он держал винтовку одной рукой.

Таково было положение дел в сентябре 16 числа, в тот день, когда Сергей Травин, политический арестант, задумал побег по плану барона Адлерберга.

На другой день на прогулке он разыскал Ветрилу, тюремного истопника из уголовых.

Ветрила был с головы до ног пропитан керосином, носил роскошные горемыкинские бакенбарды, и его история была не сложнее мировой истории или даже несколько проще ее.

Сергей показал ему глазами на здание, прилегавшее к тюремной стене.

Это был цейхгауз, в котором держали теперь, кроме арестантского обмундирования, также керосин и дрова.

Ветрила посмотрел на цейхгауз, на всякий случай мигнул и погладил бакенбарды.

— Понял? — спросил Сергей.

Ветрила упомянул о матери.

— Самое главное привязать к трубе веревку, оттуда на стену и...

Ветрила немного подумал, посмотрел на Сергея недоверчиво и свернул козью ножку.

Они поговорили еще десять минут, и на следующий день Сергей Травин окончательно решил освободить камеру 212 от арестанта, который

спал 24 часа в сутки и с точностью машины Эмери читал героическую "Пещеру Лейхтвейса".

В этот день Ветрила, с опасностью для жизни и карьеры, замотал веревку вокруг трубы цейхгауза.

Потом он крякнул и смылся, как смывается пятно с клеенки.

Вместо него появился другой, новый Ветрила, от которого уже не пахло керосином; он был чуть повыше ростом и носил не горемыкинские, но скорее свойственные норвежским писателям бакенбарды.

Новый Ветрила с ленивым видом пошел к цейхгаузу, сплюнул, подтянул штаны и,войдя, плотно закрыл за собой дверь.

За дверью он сразу вырос на ладонь, посмотрел в замочную скважину и, сдерживая дыхание, поднялся на чердак.

Две крысы, каждая величиной с детскую голову, сидели на разбитом рундуке и мигали глазами.

Ветрила, потерявший на лестнице одну бакенбарду, просунул голову сквозь чердачное окно и вылез на крышу.

Крыша трещала под ногами, как нанятая.

Он ползком добрался до трубы, размотал веревку и, выставив свое второе лицо в небо, стал спускаться по глухой стене цейхгауза.

На другой стороне реки стояли пустые рыбные лавки; вверх по реке за мостом плыла задрипанная баржонка.

Сергей измерил на глаз, сколько придется плыть до другого берега, и выпустил из рук веревку.

Изодранное полотно болталось на высокой палке и летело в небо.

Огромный косматый мужик в клетчатых штанах и дырявом пиджаке сидел на корточках, равнодушно тер Сергею спину, сгибал и разгибал руки и ноги, бил кулаком в грудь.

— Беглый? — вдруг спросил он, увидев, что Сергей открыл глаза.

Сергей промычал что-то.

— Значит, ты — беглый арестант.

Мужик оставил, наконец, Сергея в покое, сел на какой-то чурбан и подтянул на высокой палке веревку.

Сергей попытался приподняться на локте, но не мог, — локоть скользил на мокрых досках.

— А вот что ты мне скажи, — продолжал мужик, — какой ты есть арестант — политический или уголовный? Если ты политический, так я тебя сей же час обратно в воду брошу.

— Уголовный, — пробормотал Сергей.

— Уголовный? — вдруг обрадовался мужик. — Да ну? Вот это здорово! Я сам уголовный! Я, брат, при царском режиме шесть лет в арестантских сидел! Как же! Если ты уголовный, так что же ты лежишь, как под иконой? Вставай, Иван, чай пить будем!

Сергей с трудом приподнялся и сел, уцепившись рукой за канат, привязанный к палке. Он был босой, штаны изорвались, рубаха висела лохмотьями на плечах.

Мужик посмотрел по сторонам, схватил его под мышки и поставил на ноги; у Сергея потемнело в глазах.

— Это твое счастье, — сказал мужик, — что сегод-

ня со мной моей бабы нет. Она бы тебе всыпала ядрицы.

Он вытащил из кармана целую доску кирпичного чая, отломал кусок, раскрошил его на огромной ладони и бросил в чайник.

Сергей наконец пришел в себя и отдышался.

— Послушай, дядя, — пробормотал он, — продай мне пиджак и достань где-нибудь штаны и шапку.

— Как же я могу продать тебе свой пинжак? — обиделся мужик. — Ах ты, сволочь этакая! А если этот пинжак у меня самая парадная одежда? Штаны, изволь, могу тебе продать! Штаны есть запасные.

Сергей покачался на одном месте и опять лег.

— Рубаху...

— Что ж тебе рубаха, — снова сказал мужик, — если ты в одной рубахе под забором замерзнешь, все равно как курица. Покупай пинжак!

Сергей встряхнулся, провел руками по лицу, несколько раз с шумом втянул в себя воздух и встал.

К вечеру того же дня, одетый в пиджак, через который легче всего было увидеть небо, и в клетчатые штаны, на которых легче всего было играть в шашки, Сергей, обойдя город кругом, добрался до вокзала.

Никто не задержал его.

Он остановился у паровоза, стоявшего недалеко от вокзала, и спросил у черного, как театральный негр, машиниста о том, когда отходит поезд в Петроград.

Машинист сплюнул на руки, растер слюну и показал на длинный ряд вагонов, еще не прицепленных, должно быть, к паровозу.

— В 11 ночи!..

4

К длинной плеяде имен славных архитекторов, строивших город, прибавилось еще одно. Это имя столько раз гремело пулеметами гражданской войны, столько раз летело к небу с раскрашенных плакатов, столько раз заставляло гореть одни сердца и каменеть другие, столько тысяч людей отправило гулять по чужедальним морям и столько тысяч по таким отдаленным странам, откуда даже дошлый еврей не найдет обратной дороги, — что нет нужды называть его.

У этого нового архитектора, который предпочитает строить памятники, заводы, электрические станции, — были жесткие руки. Он перетрясал города, а так как города наполнены домами, то наиболее дряхлые из них смялись и осели вниз, уступая жестокому напору. Дома рассыпались на кирпичи, из кирпичей складывали печки, а кирпичные печки, как известно, держат тепло гораздо лучше жестяных времянок.

Зимой кирпичи примерзали, и их вырубали топором.

Не только стекла, но и старики плохо выдерживают революцию, — стекла рушились, а старики умирали от огорчений.

В ослепшем доме жить страшно; у слепой стены, где еще так недавно важно обсуждались по вечерам политические события, где ребятишки играли в палочку-скакалочку и бросались мячами, — теперь случайный пешеход делал все, что по-

лагается делать в пустынном месте случайному пешеходу.

Крысы бежали с гибнущего корабля, и водосточные трубы убеждались в близкой кончине мира.

Милиция огораживала дом старыми двуногими кроватями или другой дрянью — как могилы огораживают решеткой.

Вода заливала подвалы, дом за год старел на двадцать лет, начинал походить на проститутку, и это подрывало его окончательно.

Ему ничего больше не оставалось, как рассыпаться своим кирпичным телом, — он умирал, нужно полагать, без сознания.

Но не каждый дом умирал без всякого сопротивления.

Были дома, построенные с расчетом на тысячелетие, они, старые вандейцы, уступили только фасад руке, потрясающей город.

Вот в таких домах и начиналась настоящая жизнь.

Пинета проснулся. Он раскрыл глаза, которые никак не хотели раскрываться, и сел на постели. В первую минуту он не мог вспомнить, что произошло с ним, потом вспомнил, вскочил, натянул сапоги и принялся осматривать свое новое жилище.

Комната, в которую его проводил человек по прозвищу Сашка Барин, была когда-то, по-видимому, кладовой. В таких комнатах в старинных барских домах хранили варенье и всякие сушеные

фрукты. Возле дверей висела некрашеная кухонная полка. Где-то под потолком маячило узкое окно.

Пинета встал на спинку кровати, подскочил и, уцепившись руками за подоконник, посмотрел через стекло. Окно выходило в коридор.

Он соскочил с грохотом. Несколько кусочков штукатурки упали на пол, и он тотчас же глазами отыскал место, откуда они вывалились: на противоположной от окна стене была когда-то проделана дыра для переносной печки.

Не успел он сдвинуть с места небольшой стол, стоявший в углу, чтобы добраться до этой дыры, соединявшей его, быть может, с потустенным миром, как дверь в его кладовую отворилась. Вошел толстый маленький человек в приплюснутой кожаной фуражке, тот самый, который накануне вечером назвал себя Турецким Барабаном.

— Извиняюсь! — сказал он, входя и протягивая Пинете короткую руку, которая как будто еще минуту назад держала леща или жирного налима.

— Пожалуйста! — весело ответил Пинета, пожимая руку.

Барабан сел на стул и вытащил из кармана затасканный кожаный портсигар.

— Курите! Или вы, кажется, еще не завтракали? Сейчас же прикажу подать вам завтрак!

Пинета с достоинством выпятил губы, сел на кровать и заложил ногу на ногу.

"Ага, значит, будут кормить..."

— К завтраку я предпочитаю тартинки.

— Тартинков у нас, извиняюсь, нет! — ответил Барабан.

Он постучал в стену кулаком и крикнул:

— Маня!

Никто ему не ответил.

— Она спит, — объяснил Барабан. — Маня!

— Паскудство! — вдруг заорал он таким голосом, что Пинета вздрогнул и посмотрел на него с удивлением.

Барабан подождал немного, вскочил и, подойдя к двери, сказал на этот раз почему-то совершенно тихим голосом и без всякого выражения:

— Маня.

Маня-Экономка была единственным человеком, жившим в хазе постоянно. Она носила кружевные передники, закалывала на груди белоснежную пелеринку и была самой спокойной и чувствительной женщиной на свете. Налетчики ее уважали.

— Маня, подайте инженеру чай и булки и сходите мне за парой пива... Нет, возьмите две пары пива!

— Вчера вы интересовались узнать, инженер, — начал он, обращаясь к Пинете, — кто мы такие, чем занимаемся и вообще все междруметия нашего дела.

— Поговорим после завтрака о наших междруметиях, — отвечал Пинета серьезно.

Барабан почувствовал, что над ним шутят, побагровел и хлопнул себя по коленке:

— Довольно! — закричал он, хватаясь за задний карман брюк, — ты еще не знаешь, с кем ты говоришь, елд, малява!

Тут же он погладил себя по жилету и пробормотал:

— Спокойствие! Терпение!

"Ах, черт его возьми, с ним, пожалуй, и шутить нельзя!"

Некоторое время они сидели молча.

Маня-Экономка принесла пару французских булок, холодный чай и четыре бутылки пива. Она посмотрела на Пинету с любопытством, поправила свою кружевную пелеринку и вышла.

Пинета поставил на колени чай и, не глядя на Барабана, принялся уписывать за обе щеки французскую булку.

— Мы, конечно, понимаем, — начал тот снова, слегка наклонившись всем телом вперед и даже притрагиваясь рукой к плечу Пинеты, — что мы должны кой-чего объяснить вам из нашего дела.

Пинета дожевал булку и залпом выпил чай.

— Объясните.

— Дело, видите ли, обстоит в следующем: мы не какая-нибудь шпана, которая по ночам глушит в темную случайных прохожих, мы также не простые маравихеры, то есть различные воры по разнообразным специальностям. Инженер, мы не фармазонщики, не городушники, мы также не простые налетчики! Мы — организаторы и берем дела только большого масштаба. Я не говорю, у каждого человека есть свое прошлое и настоящее по хорошему мокрому делу, но это только средство, инженер, и больше ничего.

Барабан замолчал и с удовольствием откинулся на спинку стула, как бы отдыхая после своей утомительной речи.

— Что же касается дела, которое мы собираемся предложить вам, то дело обстоит в следующем: нам требуется некоторая выработка по сейфам. Откровенно говоря, мы не взяли кассиров не потому, что это рискованная работа и не потому, что не нашелся подходящий шитвис! Очень просто:

по нашим сведениям кассирам не справиться с сейфами госбанка!

Пинета широко открыл глаза и привстал с кровати.

— С сейфами госбанка?

— Ну да, с сейфами госбанка! То есть, иначе говоря, у нас нет хорошего специалиста, который бы быстро и безопасно и легко в полчаса открыл бы сейфы госбанка. Все остальное для нас — пха! понимаете?

— Вот так штука, — сообразил Пинета, — теперь я начинаю понимать, почему меня увезли... Сказать — не сказать, сказать — не сказать, сказать — не сказать? Не сказать!

— Ну, что вы мне скажете?

— Так значит, - сказал Пинета, отдуваясь, как будто бы он только что решал трудную задачу, — дело в сейфах госбанка?

— Именно! — подтвердил Барабан, — дело именно в сейфах госбанка.

— Стало быть, — продолжал Пинета, — вы решили, что я — лучший специалист по сталелитейному делу и увезли меня для того, чтобы я устроил вам все технические приспособления для взлома сейфов госбанка?

— О, вы попали в самую точку!

Пинета почувствовал себя так, как будто заново начал жить.

— Отлично! Я не понимаю только, для чего вам было везти меня сюда! Об этом мы могли бы сговориться на моей квартире.

— Это мне начинает нравиться, — сказал Барабан, похлопывая его по коленке, — к сожалению, до сих пор мы не знали вас, инженер Пинета, —

в следующий раз мы будем просто предупреждать вас в письменной форме, ха, ха, ха!

Он откинулся на спинку кресла, взвизгнул и закатился хохотать до слез, отмахиваясь обеими руками и вздрагивая круглым, как футбольный мяч, животом.

Пинета терпеливо подождал, пока он кончит.

— Я знаком приблизительно с устройством сейфов госбанка. Они построены по образцу... по образцу... — Пинета задумался на мгновенье, — по образцу ливерпульских сейфов!

— Да, да, — подтвердил Барабан, все еще колыхаясь от смеха и вытирая носовым платком заплаканные глаза, — кажется, именно по образцу ливерпульских.

— Так вы полагаете, — начал снова Пинета, — что для этой работы мне потребуются какие-нибудь предварительные приготовления?

— Полагаю ли я так? — переспросил Барабан. — Не очень. Откровенно говоря, я совсем не специалист по кассирному делу. Может быть, вы справитесь со всем с этим на месте!

— А когда вы думаете начать самое-то дело?

Барабан посмеялся про себя и посмотрел на Пинету с иронией:

— Оставьте эти пустяки, инженер. О чем вы спрашиваете меня? Мы же не дети, честное слово! Мы же организаторы! Лучше скажите мне, сколько дней вам нужно на подработку?

Пинета задумался.

— Мне нужно дней пять-шесть, — ответил он и подумал: "черт возьми, это что же я делаю!" и тотчас ответил себе — "все равно, не умирать же с голоду".

— Но мне необходимо знать, — продолжал он, — во-первых, расположение электрической сети госбанка, во-вторых...

— Отлично, — отвечал Барабан, хлопнув его по коленке, — эти сведения мы вам доставим немедля.

— Во-вторых, — продолжал Пинета, — будьте добры купить... — он остановился на мгновенье и быстро закончил: — пятнадцать аршин лучшего гуперовского провода и катушку этого, как его... Румкопфа.

— Как фамилия?

— Рум... Румкорфа, — твердо повторил Пинета.

— И пятнадцать аршин гуперовского провода?

— Да, и ни в коем случае не меньше 15 аршин.

— Будет сделано.

— Это покамест все, — закончил Пинета, — а потом посмотрим.

— Все? — закричал Барабан. — Отлично. Это же Запад! Инженер Пинета! Что значит специалист!

Он откупорил бутылку пива и первому налил Пинете. Потом, перевернув бутылку вверх дном, он доверху наполнил свой стакан.

— За дело! — сказал он, мигая глазами, — за дело большого масштаба!

Они чокнулись.

Но Барабан выпил не сразу. Сперва он выпятил губы и, чуть прищурившись, долго дул на пузырчатую пену, стекавшую по граненому стеклу. Потом он слегка подался вперед, поджимая живот, и с любовью посмотрел пиво на свет. Наконец, положив руку на грудь, он сразу отхлебнул из стакана.

И пиво, похожее на жидкий янтарь, отчаявшись

в спасении, само полетело в рот Барабана.

Дыра от переносной печки — четырехугольный след, оставленный 18-м и 19-м годом, оказалась дверью в потустенный мир.

Едва только Барабан ушел, как Пинета приставил стол к стене, на которой сохранился этот след, взобрался на стол, уцепился за сломанный кирпич, торчавший из стены боком, и взглянул в потустенный мир.

Он увидел довольно большую комнату в два окна с закоптелым потолком и обрывками обоев на стенах. В комнате не было никакой мебели; кухонный стол стоял между окон; в углу, наискось от наблюдательного пункта Пинеты, стояла кровать.

Скосив глаза, насколько было возможно, Пинета увидел на кровати женские ноги в черных чулках и черных же парусиновых туфлях.

Пинета никогда не тяготел к монашескому образу жизни и был достаточно опытен, чтобы верно определить возраст обладательницы парусиновых туфель; нельзя сказать, чтобы он был недоволен соседством. Однако же, он не был уверен в том, что его соседка не принадлежит к союзу налетчиков, переселивших его накануне ночью с Васильевского острова на Петроградскую сторону, и поэтому не решился окликнуть ее.

Больше он ничего не открыл на горизонте потустенного мира.

Он соскочил со стула и принялся ходить по комнате с твердым намерением обдумать план действий, который должен был доставить ему превосходство над налетчиками.

Через несколько минут он уселся за стол, оперся на него локтями и заснул, уронив голову в руки.

Ему приснился Сашка Барин с его вежливым орлиноносым профилем гвардейского офицера.

— Я еду в Южную Америку, — сказал он Сашке Барину, — мне очень нравится, что в Южной Америке восход и заход начинаются одновременно.

— Поезжайте лучше на Стрелку, — отвечал Сашка Барин.

Он закурил, и дым поплыл вокруг Пинеты кругами.

— Зачем вы меня увезли? — спрашивал Пинета, тщетно пытаясь понять, что это говорит он — Пинета.

— Как зачем? — отвечал Сашка Барин, — да для того, чтобы вы ограбили этого ювелира!

— Какого ювелира? Ювелира Костоправа или Перчика?

— Уж это все равно какого. Лучше, знаете ли, Костоправа.

— Костоправа так Костоправа, — сказал Пинета. Он махнул рукой и проснулся.

Еще не раскрывая глаз, он услышал голос Барабана.

"Он с нею, в той комнате, рядом", — подумал Пинета.

Барабан сдержанным голосом уговаривал о чем-то свою собеседницу.

Пинета попытался вслушаться в то, что он говорил, и при первых же словах, которые он услышал, откинулся на спинку стула и открыл рот от удивления.

Барабан говорил о том, что он скучает, что

всякая работа стала ему нипочем, что он не находит никакого сочувствия у той, которой он это говорил.

— Когда вы понимаете, Катя? — сочувствия!..

Пинета приподнял голову и услышал, как женщина отвечала, слегка задыхаясь, но почти спокойно, что она скорее выбросится в окно, чем согласится на то, что ей предлагают, требовала, чтобы ее выпустили из этой ловушки сию же минуту, и соглашалась продолжать разговор только при одном условии:

— Скажите мне, участвовал в этом деле Александр Леонтьевич или нет?

Пинета снял сапоги, встал из-за стола и бесшумно занял прежний наблюдательный пункт, оставшийся от тяжелых времен 18-го и 19-го года.

На этот раз он увидел в соседней комнате девушку лет 22-х, которая сидела на кровати, продев руку сквозь железные прутья кроватной спинки, с силой сжимая эти прутья, и грызла зубами недокуренную папиросу.

Недалеко от нее, спиной к Пинете, стоял человек, в котором Пинета без всякого труда узнал Турецкого Барабана.

Пинета услышал продолжение разговора:

— Фролов, ого! Вы не знаете еще, что это за воловер!

Девушка откусила мокрый конец папиросы и принялась крутить из него шарик. Пальцы у нее дрожали.

— Вы все лжете о деньгах!

— Чтобы я так жил, как все, — чистая правда! — отвечал Барабан. Он для убедительности даже пристукнул себя кулаком в грудь.

— Он не получал от вас никаких денег за это. Просто разлюбил...— Девушка еще раз с металлическим стуком откусила конец папиросы... — И больше ничего!

— Ей-богу, — сказал Барабан, — и такого мерзавца разве можно любить? Это же просто подлец, честное слово!

— Экая жалость! — подумал Пинета, — что же он от нее хочет, старый пес?

— Разве он стоит вашей любви, это паскудство? — убеждал Барабан. — Он уже теперь гуляет с другой. Ха, разве он помнит о вас, Катя?

Пинета видел, как крупные капли пота выступили у него на шее. Барабан как будто немного растерялся, сделал шаг вперед и схватил девушку за руку.

— Как вы смеете!

Она свободной рукой ударила его по лицу, вырвалась и убежала в противоположный конец комнаты. Теперь Пинета мог бы дотронуться до нее рукою.

Барабан побагровел и с яростью ударил кулаком о спинку кровати.

— Разобью! — вдруг закричал он хриплым голосом, размахивая рукою.

Пинета с грохотом соскочил со своего наблюдательного пункта. Все стихло в соседней комнате.

Только дверь распахнулась с шумом и снова захлопнулась.

Спустя несколько минут Пинета снова заглянул в дыру для времянки: его соседка горько плакала, взявшись обеими руками за голову.

— Не плачьте, — сказал Пинета, — тише. Мы с вами удерем отсюда, честное слово, не стоит плакать.

5

Вокзал плавно подкатился к поезду, вздрогнул и остановился неподвижно.

Пар последний раз с хрипом прокатился меж колес и задохся.

Люди пачками выбрасывались на платформу, кричали, целовались, бранились и тащили узлы, чемоданы, корзины к выходу. У выхода стоял контролер с лицом Бонапарта. Контролер проверял билеты с таким видом, как будто занимался делом государственной важности.

Сергей соскочил с подножки и пошел вдоль платформы к паровозу.

Фуражка с истрепанным козырьком лезла ему на глаза; он был серый, как крот, и походил на человека, который потерял что-то до крайности необходимое и теперь ищет без конца, хоть и знает, что никогда уже не найдет.

Дойдя до паровоза, он остановился и задумался, потирая рукою лоб.

Из-под паровоза проворно вылез черный, весь в копоти и смазочном масле, мальчишка. Мальчишка чистил паровоз, гладил его по тупому носу, протирал замусоренные глаза; он выгибался как акробат, чтобы достать до самых укромных мест, балансировал на одной ноге уж больше из озорства, чем по прямой необходимости. Рожа его сияла черным блеском. Он увидел Сергея и заорал, размахивая тряпкой:

— Эй, шпана, чего уставился!

Сергей посмотрел на него ничего не понимающими глазами.

— Скажите, пожалуйста, мальчик, как отсюда пройти на Первую роту?

Мальчишка вместо ответа залез в какую-то дыру и оттуда выставил Сергею отлакированный зад.

Сергей вдруг хлопнул себя по лбу.

— Да что же это я! Нужно идти, бежать, искать Фролова!

Он всунул билет Бонапарту и быстро выбежал на улицу. Рикши смотрели на него с презрением. Начинался дождь.

Сергей поднял ворот пиджака, насадил по самые уши фуражку и отправился по Измайловскому проспекту. Измайловский проспект был гол и мрачен.

Полотна бродячих ларьков намокли, посерели, старухи, которые со времени основания города торгуют на Измайловском проспекте, тоже намокли, повесили сморщенные носы и засмолили короткие трубочки.

У одной из них, тотчас за мостом, Сергей купил пачку папирос, сунул ее мимо кармана и прошел дальше.

Старуха выползла из-под своего навеса, равнодушно посмотрела ему вслед и положила папиросы обратно.

Спустя четверть часа он добрался до Первой роты, отыскал дом под номером 32 и постучал в дверь, на которой было написано смолою "дворницкая".

Сонный дворник объяснил ему, что прежде

Фролов жил в пятнадцатой квартире, а теперь переехал в двенадцатую квартиру, первый подъезд налево, третий этаж.

Сергей поднялся по лестнице и дернул за звонок.

— Что нужно?

— Отворите, пожалуйста. Здесь живет товарищ Фролов?

— Здесь.

Унылый мастеровой с мандаринскими усами впустил его в кухню.

— Могу я его увидеть?

— По коридору вторая дверь, — хмуро отозвался мастеровой, — еще не встал, должно быть.

Сергей рванул ручку двери и вошел в комнату.

Высокий человек в синих жандармских штанах со штрипками лежал на постели, уткнувшись лицом в подушку. В комнате стоял тугой запах табака, селедок и еще какой-то дряни.

Сергей подошел к нему и ударил его по плечу.

— Вставай!

Фролов перевернулся на другой бок. Сергей потащил его за руку и посадил, подбросив под спину подушку.

— Что? Кто это? Черт возьми! Ты? Сергей?

Он торопливо соскочил с постели и натянул на ноги высокие желтые сапоги со шпорами.

— Очень рад тебя видеть. Черт возьми! Ты свободен?

— Свободен.

Сергей подошел к нему вплотную и сказал, притопнув ногой от нетерпения:

— Идем! Вот что, послушай... У меня нет с

собой этого... револьвера. Не можешь ли ты достать пару револьверов, таких, чтобы не давали осечки?

Фролов опустил глаза и почему-то подтянул пояс.

— На черта тебе револьверы?

— На черта мне револьверы? Нужно! Послушай, у тебя ведь всегда были револьверы.

— Изволь.

Фролов сунул руку под подушку ("У него револьвер наготове", — подумал Сергей) и вытащил оттуда браунинг.

— Бери, но только... Сергей, ты что — бежал из тюрьмы?

— Не твое дело.

— Да ты скажи, может быть, тебя спрятать нужно?

— К черту! — закричал бешеным голосом Сергей, — едем!.. Или тебе нужно этих... как там, секундантов?

Фролов с треском сел на стул, вытянул ноги и захохотал так, что Сергей даже испугался немного.

— Ты что, со мной стреляться вздумал? Ты с ума сошел, честное слово! Послушай, теперь на дуэлях не дерутся. Ну, едем, черт с тобой!

Фролов вдруг посмотрел на него и принял серьезный вид.

— Сергей, ты, наверное, жрать хочешь?

— Едем!

— Ну, заладил — едем, едем. Поедем через час, над нами не каплет. Пожри немного, а то промахнешься. Разве голодному можно на дуэль... Что ты!..

Фролов вдруг захлопотал, зажег где-то за стеной примус, достал стаканы, заварил чай и через несколько минут принес яичницу.

Сергей ел с жадностью.

Фролов сидел против него на кровати, пощелкивал по сапогам откуда-то взявшейся тросточкой и курил толстую папиросу.

"Неужели убежал из тюрьмы? Из-за... Не может быть! Из-за девчонки?.. Знает..."

— Ты что, ко мне прямо с вокзала?

— Не твое дело, откуда!

— Чудак, да я просто так спросил.

Фролов потушил папиросу о каблук, посмотрел на Сергея исподлобья и задумался на одну минуту.

— Сергей, я тебя давно не видел. Никак с 18-го года. Расскажи же, чертов сын, как ты жил?

Сергей кончил есть и, не отвечая, схватился за фуражку.

— Поедешь ты или нет, говори прямо?

Фролов тоже вскочил и остановился перед ним, придвинувшись к нему вплотную.

Теперь он смотрел на него с ненавистью, сжав зубы.

— А ты думаешь, я испугался, мать твою так! Едем!

Оба спустились по лестнице, сторонясь друг друга.

Фролов крикнул извозчика:

— На Острова!

Ехали молча. Фролов, дымя папиросой, глядел на серые стены домов, вдоль улиц, которые

вдруг открывались за каждым углом, читал вывески: ”Продукты питания”, кафе ”Кавказский уголок”.

На одной вывеске, висевшей криво, он прочел только одно слово ”качества”.

Фролов засмеялся, повторил про себя это слово и с испугом обернулся к Сергею:

”Не услышал ли...”

Сергей сидел, забившись в самый угол пролетки. Он снял фуражку и много раз проводил рукой по голове, как будто с усилием припоминая что-то. Время от времени он машинально расписывался у себя на колене: ”С.Травин...С.Травин...С.Травин...” и ладонью в ту же минуту как бы стирал эту подпись.

Мимо них потянулись какие-то красные здания, стало совсем пусто, потом снова пошел дождь.

С.Травин обернулся к А.Фролову и сказал, сжимая рукою браунинг:

— Можно здесь.

— Что ты, совсем с ума сошел. Где же ты здесь стреляться будешь? Скоро приедем.

Он ткнул извозчика в спину.

— Подгони, дядя.

Дождь усилился. Извозчик вытащил откуда-то из-под сиденья кожаный фартук, накинул его себе на спину и погнал лошадь во всю мочь.

Красные здания вскоре остались позади, мимо полетели какие-то деревянные домишки с огородами, наконец, пролетка перекатилась через мост и поехала по лесной дороге.

— Здесь, — сказал Фролов.

Оба одновременно соскочили с пролетки.

— Ты нас здесь подожди, дядя, — сказал Фролов.

— Да долго ли ждать-то?

— Недолго... Или вот что... поезжай-ка с богом,я тебе заплачу.

Они отправились по узенькой тропинке вглубь леса.

Желтые листья падали на них и ложились под ноги. Мокрые сучья задевали по лицу. Деревья редели.

Наконец, Фролов остановился и обернулся к Сергею.

— На сколько шагов?

— На сколько хочешь. На десять шагов.

— До результата?

— До результата.

Фролов обломал толстую ветку и от дерева до дерева провел барьер. Потом сделал десять шагов по направлению к Сергею.

Он сосчитал громко до десяти и суковатой палкой провел барьер противника.

— Кому первому стрелять? — спросил Сергей.

— Стреляй ты, если хочешь. Твоя выдумка.

— Ты вызван; стало быть, первый выстрел за тобой.

— Иди ты к чертовой матери.

Фролов вытащил из кармана коробку спичек, взял две спички и надломил одну из них.

— Целая — первый выстрел.

Сергей с закрытыми глазами нащупал спичечную головку, быстро вытащил спичку и открыл глаза.

— Целая, — сказал Фролов чуть-чуть хрипловатым голосом. — Нужно написать записки, что ли?

— Какие записки?

— ”Прошу в моей смерти...”

— Ах да! У тебя есть бумага и карандаш?

— Есть.

Сергей быстро написал на клочке бумаги: "Прошу в моей смерти никого не винить. Сергей Травин".

Фролов сделал то же самое.

Они сошлись и, не глядя один на другого, молча показали друг другу свои записки.

— Стрелять по команде "три", — сказал Фролов, — осмотри браунинг, не выронил ли ты дорогой обойму?

Сергей посмотрел на него в упор: Фролов был бледен, на скулах у него играли жесткие желваки.

— Фролов, ты... Неужели ты не знаешь, за что?

— Знаю. Из-за твоей девочки. Становись к барьеру. Считаю... Раз...

Сергей остановился на черте, медленно наводя на него револьвер.

— Два...

Фролов почти отвернулся от Сергея, согнутой правой рукой защищая корпус.

— Три.

Сергей нажал курок. Раздался сухой и легкий треск, и ветка над головой Фролова треснула и надломилась. Кусочек коры сорвался с дерева и упал к его ногам.

— Мимо...

Фролов повернулся к Сергею всем телом и с силой раздвинул как будто связанные губы.

— Теперь ты считай, — сказал он.

Сергей для чего-то переложил револьвер в левую руку.

— Раз... два... три!

Одновременно с коротким револьверным трес-

ком он почувствовал в левом плече боль, как будто от пореза перочинным ножом.

Он невольно вскрикнул, просунул руку под пиджак и дотронулся до порезанного места.

Рука была в крови.

Фролов сунул револьвер в карман и сделал шаг по направлению к Сергею.

— Ничего нет, — сказал Сергей, побледнев и сжав кулаки. — Становись к барьеру. Я стреляю. Считай.

Фролов пожал плечами и вернулся обратно.

— Я буду считать, — сказал он, — но только... Может быть... А, впрочем, пустяки. Считаю: раз...

Сергей поднял браунинг и с ужасным напряжением принялся целить между глаз противника.

— Два...

Он вдруг изменил решение и начал водить револьвером по всему телу Фролова. Он направлял браунинг на живот и видел, как живот втягивался под черным дулом, он направлял браунинг на грудь, и грудь падала с напряженным вздохом. Наконец, он вернулся к исходной точке: револьвер уставился между глаз и остановился неподвижно.

— Три!

Сергей нажал курок.

Фролов сделал шаг вперед, взмахнул обеими руками, как будто отмахиваясь от чего-то, и упал лицом вниз, в мокрые листья, в землю.

Ноги его в высоких желтых сапогах со шпорами вздрогнули, подогнулись и вновь выпрямились, чтобы не сгибаться больше.

Сергей бросил браунинг в траву, подбежал к нему и перевернул тело: пуля попала в левый глаз — на месте глаза была кроваво-белесая ямка.

Он поднялся с колен и несколько минут стоял над убитым неподвижно, сдвинув брови, как будто стараясь уверить себя в том, что все это — дуэль и смерть Фролова — произошло на самом деле.

Где-то далеко на дороге загромыхала телега.

Сергей снова бросился к мертвецу и принялся расстегивать на нем френч.

Френч никак не расстегивался.

Наконец расстегнулся, и Сергей вытащил из бокового кармана записную книжку, карандаш и бумажник. Бумажник был набит продовольственными карточками и вырезками из газет.

В записной книжке Сергей нашел три письма.

Первое письмо было набросано на клочке бумаги.

Сергей прочел:

"... Сенька вчера купил со шкар четыре паутинки. Если можешь, дядя, пришли мне липку. Сижу под жабами на Олене. Не скажись дома, дядя, брось своих бланкеток, задай винта до времени. Скажи Барабану, что на прошлой неделе раздербанили без меня. Жара, дядя. Здравствуй..."

Сергей не понял ни одного слова, сунул обрывок бумаги в карман и развернул второе письмо. С первого взгляда он узнал почерк Екатерины Ивановны. Екатерина Ивановна писала Фролову, что ждала его накануне до поздней ночи, упрекала в том, что вот уже третий раз он ее обманул, звала его к себе, обещала рассказать о том, как она теперь плохо спит по ночам, какие глупые сны ей снятся про Фролова, как будто бы он стал хромать и лицом похудел ужасно.

Сергей с ненавистью посмотрел на склоненную

голову Фролова. Труп свесил голову на грудь, ноги раздвинулись, царапая землю; он равнодушно косил на Сергея выбитым глазом.

Сергей отвернулся от него и огляделся вокруг: никого не было поблизости, солнце скользило между стволами почерневших берез и полосами ложилось на примятую траву лужайки.

Он старательно, с какой-то особой аккуратностью сложил пополам письмо Екатерины Ивановны и положил его в боковой карман пиджака. Третье письмо было написано затейливым почерком, с завитушками, пристежками и множеством больших букв, которыми начиналось чуть ли не каждое слово. Сергей прочел:

"Уважаемый Павел Михайлович.

Некоторые затруднительные Обстоятельства требуют от Меня просить вас не отказать в нижеследующей Просьбе. Не откажите 23-го июля сего года в 7 часов Вечера положить в крайнее Левое окно Грибовского пустыря, находящееся на Песочной улице 1025 р.65 к. золотом в Запечатанном конверте. Извиняюсь за эту Назойливость, которого трудно избегнуть в Подобного рода Делах.

Позвольте также Уведомить Вас, что в случае которого конверта на месте Не окажется, то Мы никак не можем, к искреннему Сожалению, дальше сохранять вашу Драгоценную жизнь.

В случае Же, если вы доведете вышеуказанную Мысль до сведения мильтонов, то Мы никак не ручаемся за Жизнь И вашей Глубокоуважаемой Супруги.

С почтением Турецкий Барабан."

На конверте было написано красным карандашом: ”Дяде — для передачу по Назначения”.

Внизу за подписью стояла печать.

Сергей вгляделся в печать: это была церковная печать церкви Гавриила архангела.

Он снова огляделся вокруг, отыскал глазами небольшой пенек, поросший мхом, и уселся на этот пенек, схватившись руками за голову и напрасно стараясь собрать разбегающиеся мысли.

”Так значит Фролов... вор... или нет, скорее... этот... как называется... налетчик. Но если он — налетчик, если она была с ним, так значит... так значит... так значит... Не может быть”.

Он стал ходить по лужайке, заложив руки за спину, в одной руке крепко сжимая записную книжку Фролова.

”Так где же она?” — сказал он сам себе, остановившись в раздумье и потирая рукою нахмуренный лоб.

Раскрытый бумажник, лежавший на траве возле трупа, обратил на себя его внимание.

Он поднял бумажник, сунул его в карман френча, снова застегнул френч, стер линии, служившие барьером, снова положил труп Фролова лицом вниз, в землю, отыскал брошенный в траве браунинг.

С силой разжимая пальцы руки, уже начинающей коченеть, он вложил в нее револьвер, достал бумажник и, собирая в строку танцующие перед глазами буквы, снова прочел о том, что Фролов в своей смерти просит никого не винить.

Тут только он заметил, что все время не выпускает из рук записной книжки Фролова.

Он заглянул в эту записную книжку, прочел на

оборотной стороне переплета кроваво-красную надпись "Memento mori" и увидал под надписью плохо нарисованный череп с двумя костями.

Он подумал немного, хотел было положить книжку туда, откуда он ее взял, но вместо этого положил ее в карман своих шашечных штанов.

Никого не было видно кругом: он опустил ворот пиджака, нахлобучил на уши фуражку и зашагал между деревьев на городскую дорогу.

6

Особым распоряжением в 22-м году все дома были вновь учтены и перенумерованы.

На месте угловатого фонаря с резными нумерами появился фонарь, похожий на китайский веер.

Но учет миновал пустыри и полуразрушенные здания. Таким образом хазы выпали из учета, из нумерации, из города. Они превратились в самостоятельные республиканские государства, неподведомственные Откомхозу.

За полуразрушенным фасадом засел бунт против нумерации и порядка.

Этот бунт был снабжен липой, удостоверяющей личность республиканца.

Нельзя решиться на большое дело без делового разговора. Мелкая шпана уговаривается на Васильевском — в "Олене", в Свечном переулке, в гопах, разбросанных по всему городу.

Но мастера своего дела скрываются в хазу, единственное место, где честный налетчик может сговориться о деле, пить, спать и даже любить, не

кладя нагана под подушку.

В хазе совещаются, обсуждают планы на работу, пропивают друзей, идущих на жару — опасное дело.

В 22-м году ненумерованный бунт, скрывшийся за полуразрушенным фасадом, часто бывал штабом бродячей армии налетчиков; штаб руководил борьбой и давал боевые задания.

Добродетель уничтожалась ураганным огнем, и порядок отступал в тыл.

В 22-м году хороший налетчик еще не поддавался регистрации.

Эти времена теперь вспоминают мертвецы, расстрелянные порядком, и у них дрожат истлевшие сердца, и кости ударяются одна о другую.

— Уважаемые компаньоны! Наше последнее дело потребовало неотложно быстрое совещание, больше того, нужно уже ускорять всю механацию, пора!

Шмерка Турецкий Барабан ударил кулаком о стол и побагровел от гнева.

— Вы уже знаете, что этот проклятый жиган Васька Туз сгорел из-за какой-то говенной покупки. В чем дело? Почему нарушают работу, вы — горлопаны, вы — прават-доценты! Разве так работают, разве работают на стороне, когда вас ждет дело большого масштаба? Что же вы молчите? Отвечайте!

Никто не отвечал; все молчали; каждый работал на стороне.

Барабан продолжал, успокаиваясь:

— Но не в том-то дело. Подработки происходят,

как нужно. Вчера мы увезли инженера. Барин, расскажи об инженере.

Сашка Барин поднял голову — узенькая красная полоска от высокого воротника кителя осталась у него на подбородке. Он медлительно отложил в сторону недокуренную папироску и начал:

— Инженера Пинету мы увезли для подработки по сейфам. Барабан наколол его как хорошего специалиста. Вчера Барабан говорил с ним, и он обещал сделать все, что надо; он берется приготовить в пять-шесть дней, если ему доставят все, что нужно для работы. На мой взгляд, этот инженер может оказать нам услуги насчет телефонной станции.

Барин замолчал, снова всунул в рот папироску и достал из кармана зажигалку.

— Аз эр из клуг, бин их шейн[1], — сказал Барабан с презрением, — эту предпоследнюю пусть он оставит для нас. На это мы справимся без инженера Пинеты. Пятак, что нового у тебя?

Сенька Пятак был франтоватый мальчишка лет 22-х. Он носил черные усики, вздернутые кверху, и ходил в брюках с таким клешем, что нога болталась в нем, как язык в колоколе.

Веселый в пивнушке, в кильдиме, на любой работе, он терялся на этих собраниях, которые устраивал Турецкий Барабан. Турецкий Барабан всегда любил торжественность и парламентаризм.

Пятак кратко отчитался в своей работе: он сказал не больше двадцати пяти слов, из которых ясно было, что все, порученное ему на прошлой неделе, он выполнил, что на телефонную станцию

---

1 Если он умен, то я красив.

пробраться может когда угодно, что телефонистка Маруся третий день на него таращится и "старается для него маркоташками".

— Дело идет на лад! — объявил Барабан и застучал волосатым кулаком в стену.

— Маня, дай нам пива.

— Дело идет на лад! — повторил он через несколько минут, расплескивая по столу пиво. — Студент, что нового у тебя?

В самом углу комнаты сидел обтрепанный человек в изодранном пальто с каракулевым воротником и в новенькой студенческой фуражке. Он был прозван Володей-Студентом за то, что во время работы всегда носил студенческую форму.

— Ничего нового. Работаю по-прежнему. Сарга кончилась.

— Сарга кончилась! — передразнил тот, — каждый день у тебя сарга кончается!

Володя-Студент обиделся, почему-то снял фуражку и привстал со стула.

— Да ты что, смеешся, что ли? А нужно мне вкручивать баки сторожам. Нужно поить-то их или нет? Попробуй-ка, прицениcь к самогонке.

— Хорошо, об этом мы с вами переговорим после, Студент. Вы тут кой-чего протрепали с вашей гамыркой. Так не работают, имейте это в виду.

Володя-Студент окончательно обиделся, сплюнул на пол и принялся свертывать огромную козью ножку.

— Отличное дело, протрепал. Если я протрепал, так пусть с ними хоть Пятак возится.

— Молчать, Студент! — Барабан побагровел и стукнул по столу так, что пивные стаканы со зво-

ном ударились один о другой. — Кто тут балбес, ты или я? Ты забыл, что такое хевра, сволочь, паскудство!

Барабан вдруг успокоился, выпил пива и сказал, с важностью выдвигая вперед нижнюю губу:

— Да, это верно. Деньги нужны. Сколько у меня еще есть? У меня еще есть на пару пива! Значит что? Значит, нужно работать.

Он помолчал с минуту и продолжал, проливая пиво на жилет, который как будто пережил на своем веку всю мировую историю.

- Но ни в коем случае не идти на это самим. Нужно пустить шпану. Вы знаете, о чем я говорю? Я говорю о двух адресах: во-первых, ювелир Пергамент на Садовой, во-вторых... Пятак знает во-вторых.

— На Бассейной, что ли? — пробормотал Пятак, который решительно ничего не знал ни о первом, ни о втором адресе.

— Нет, не на Бассейной, а на Мильонной. У кого? У одного нэпача. Это нужно будет сделать в течение ближайшей недели. Саша и Пятак, это вы возьмете в свои руки.

— Об этом нужно сговориться со шпаной, — снова повторил он.

Пятак вдруг вскочил и с жалостным видом хлопнул себя кулаком в грудь.

— Мать твою так, Барабан, да не филонь ты, говори толком! Есть работа, что ли? Навели тебя? На Мильонной?

— В чем дело? Ну да, нужно сделать работу по двум адресам.

Он снова перечислил эти адреса, загибая на правой руке сперва один, потом другой палец.

— Во-первых, с ювелиром Пергаментом на Садовой, во-вторых, с одним нэпачом на Мильонной.

Пятак внезапно успокоился и снова молча уселся на то же место.

— Между прочим, — сказал Барабан, поднеся руку ко лбу и как будто вспомнив о чем-то, — я предлагаю прежде всего почтить вставаньем память Александра Фролова, по прозвищу Дядя. Покойный был нашим дорогим другом, умер в расцвете своей плодовитой деятельности. Сколько раз я говорил ему:"Дядя, оставь носиться с часами, брось свои любовные приключения, будь честным работником, дядя". Теперь его нашли со шпаллером в граблюхах. Конечно, его погубила женщина. На нем ничего не нашли, вечная тебе память, дорогой товарищ.

Барабан снова пролил пиво на живот, но на этот раз старательно вытер живот огромным носовым платком.

— Еще хорошо, что не зашухеровался со своим бабьем, — заметил Пятак, — тоже интеллигент, малява!

— Пятак, оставьте интеллигенцию в покое! — вскричал Барабан, — я учился на раввина, я всегда был интеллигент, и интеллигенция тут не при чем. Интеллигенция — это Европа, это...

Барабан со звоном поставил бокал на стол.

— Оставьте, Пятак, это грызет мне сердце.

Пятак, смущенный, вытащил коробку папирос с изображением негритенка и принялся закуривать.

— Собрание кончено, — сказал Барабан. — Почему не пришел Гриша?

— Он, кажется, на работе, — отвечал Барин, —

третьего дня я видел его в Олене. Говорил, что все идет удачно.

— Собрание кончено, — повторил Барабан, — можно идти. Не засыпьте хазы. Студент, завтра ты получишь, сколько тебе нужно. Саша, ты можешь остаться со мной на одну минуту?

Пятак и Володя-Студент ушли.

Сашка Барин сидел, заложив ногу за ногу, опустив голову на грудь и блестя точным, как теорема, пробором.

Барабан подсел к нему и спросил, легонько прихлопнув его по коленке.

— Ну, что ты мне скажешь, Саша Барин?

— Относительно чего? — ответил тот, равнодушно покачивая ногою.

— Не притворяйся, Саша. Я говорю про девочку.

— Девочка скучает.

— Саша, ты помнишь, что ты мне обещал?

— Помню. Да что мне с ней делать, если она о тебе и слышать не хочет?

Шмерка Турецкий Барабан встал, снова начиная багроветь.

— Приткну! — вдруг сказал он, с бешенством сжимая в кулаки короткие пальцы. — Накрою, как последнюю биксу. Она меня еще узнает.

— Не стоит беситься, Барабан. Дай ей шпалер, она сама себя сложит. Лучше пошли к ней Маню-Экономку. Может быть, ее Маня уговорит. Чего она тебе далась, Барабан, не пойму, честное слово!

Барабан сел в кресло и вытащил из заднего кармана брюк трубку. Он долго и старательно набивал ее, стараясь не просыпать табак на коле-

ни, наконец, закурил и сказал, полуобернувшись к Сашке Барину:

— Не будем больше об этом говорить. Ты должен меня понять, Саша!

7

Сергей Травин шел по Лиговке в изодранном пиджаке и нахлобученной на самые уши фуражке, немного покачиваясь из стороны в сторону и, как солдат, махая в такт шагам одной рукою. Другая болталась в грязном платке, подвязанном под самую шею. Он шел вдоль забора, заплатанного ржавой жестью. Двое рабочих сидели друг против друга на деревянных чурбанах и пилили трамвайный рельс, поминутно поливая рассеченную сталь кислотою.

Сергей остановился возле них и долго с бессмысленным вниманием смотрел, как они работали.

Один рабочий был еще мальчик, лет 16-ти, другой — старик с бабьим лицом, в изодранной кондукторской фуражке.

— Ну и что же? — сказал Сергей, сам не ожидая, что он сейчас что-то скажет, — ну и ни черта вам не перепилить, пожалуй.

Рабочие молча продолжали свое дело, попеременно наклоняясь друг к другу размеренными движеньями; они походили на игрушку — кузнеца и медведя, ударяющих по деревянной наковальне своими деревянными молотками.

Сергей повернулся и пошел дальше, растерянно блуждая по улице глазами.

Заплатанный жестью забор сменился обшар-

панным домом. У подъезда два безобидных каменных льва скалили зубы. Над львами висел кусок картона, на котором был нарисован сапог со свернутым набок голенищем.

— Принимаю заказы. Сапожник Морев, — прочел Сергей.

Он еще раз почти неслышно повторил все это про себя, как будто с тем, чтобы непременно запомнить.

— Сапожник Морев. Именно Морев.

Он поднял брови, прошел несколько шагов, остановился, отправился дальше, пересек Обводный канал и вдруг снова остановился, хлопнув себя по лбу и вспомнив, наконец, что ему напомнила эта фамилия.

— Вот оно в чем дело. Memento mori! Череп с костями. Где она, эта записная книжка?

Он принялся пересматривать карманы пиджака, вытащил письма, сунул их обратно и, наконец, нашел записную книжку Фролова — маленькую тетрадочку, переплетенную в кожаный переплет.

Он оглянулся вокруг, повернулся к мосту и, облокотившись о перила, принялся читать записную книжку: он читал с напряженным вниманием, не пропуская ни одной строки.

Он прочел:

"1. Любовь бывает только раз в жизни.

Де Бальзак.

2. На прошлой неделе работали с Сашей на Песках. Купили бинбер. Саша хотел отначить для Кораблика — не дал. Бинбер продали в Олене на блат.

3. Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла,

Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты, Манечка, ушла!

Сергей перевернул страницу: дальше шли какие-то рисунки. Двое людей с револьверами за поясом несли в руках знамя; на знамени было написано печатными буквами:

Гамля, жаба, двадцать пять
Дай на шпàллер, дай сыграть!

На следующей странице Сергей прочел стихотворение ''Под душистою веткой сирени''.

За стихотворением шла краткая заметка:

''Сегодня, 27-го июня, Пятак записал на Елагином какого-то брица. Смылся''.

Вслед за заметкой Сергей прочел длинную выписку из какого-то переводного романа:

''Дорогая Антуанетта. Я хочу одним словом рассеять все твои страхи. Слушай: если я тебя брошу, я буду достоин тысячи смертей. Отдайся мне окончательно. Я дам тебе право меня убить, если я изменю. Я сам напишу эту бумагу, в которой изложу некоторые мотивы, по которым будут вынуждены меня убить; я объявлю также мои последние распоряжения. Ты будешь владеть этим завещанием, каковое узаконит мою смерть, и можешь, таким образом, отомстить мне, не боясь ни людей, ни бога''.

Далее без всякого перехода следовало замечание:

''Буй сработал перацию на Васильевском. Купил порт.''

Бурей жизнь моя изрыта,
Дух исканий помертвел,

Хляет смерть, и в ней сокрытый
Жизни налетчика предел.

* * *

Слышу возглас похоронный.
Росхлись, мазы! И вперед!
Рвите грудь мою, вороны,
Пусть будет все наоборот!

* * *

Разошлись больные нервы
Пред работой на беду.
Жизнь моя! Милашка — стерва!
Я на мокрое иду!..

Сергей вдруг отступил на шаг и, размахнувшись, швырнул записную книжку в Обводный канал.

Потом он оборотился и пошел дальше по Лиговке, немного покачиваясь из стороны в сторону и, как солдат, махая в такт шагам здоровой рукой.

Старушке в малиновом чепчике, той самой, что называла себя кружевницей, выдался счастливый день: во-первых, она нашла серебряное колечко с затейливой буквой М, во-вторых, ее соседка, известная злыдня, сегодня ошпарила себе руку.

Поэтому старушка в чепчике сидела на ступеньках четвертого подъезда дома Фредерикса, рассматривала затейливую букву на колечке, смеялась в кулачок и мурлыкала про себя:

''Пусть Новый год
С собой несет
Игры, подарки...''

хотя Новый год по справедливости должен был принести старушке в чепчике три аршина земли на Смоленском кладбище.

Так она пела и грелась на солнце, когда Сергей Травин, растерянно поглядывая вокруг себя глазами, на которые лучше всего было одеть синие консервы, подошел и молча остановился перед нею.

Старушка хотя и заметила страшные глаза человека с подвязанной рукой и в нахлобученной на самые уши фуражке, но ничего не сказала и продолжала мурлыкать свою песенку.

— Не знаете ли вы, — спросил Сергей, обратив, наконец, вращающиеся глаза на старушку в чепчике, — где здесь живет Молотова, Екатерина Ивановна?

Старушка прервала перечисление предметов, которые она хотела бы получить на Новый год, и отвечала:

— Молотовой нет.

— Как нет? Она не живет здесь?

— Живет-то живет, да сейчас нет.

— Ничего, я подожду ее. Какой номер ее комнаты?

— Она ушла, — сказала старушка в чепчике, начиная смеяться в кулачок, — третью неделю не приходит.

Сергей затряс головой и схватил ее за руку.

— Как третью неделю? Уехала? Одна? Да говорите же, что же вы молчите!

— Ушла, не уехала, — повторила старушка в чепчике, смотря на Сергея с удовольствием, — ушла и не вернулась обратно. Надо полагать, пропала окончательно.

— Не оставила ли она чего-нибудь? Записки или

адреса?

— Ничего она нам не оставила. Кто ж ее знает? Девица одинокая, — ушла, да и не вернулась.

— А все-таки , может быть... что-нибудь осталось?

— А остался от нее шиш, — сказала убежденно старушка в чепчике, — примус один, да и тот сломанный.

— А все-таки — позвольте мне пройти в ее комнату. Или там уже кто-нибудь другой живет?

— Никто не живет. Пустая комната.

Старушка в чепчике встала, вытащила откуда-то из-под юбки ключ и молча показала его Сергею.

Они вошли в подъезд и поднялись по лестнице.

— Будет темно, — сказала старушка в чепчике, — держитесь рукой за стены.

Они свернули за угол и несколько минут в полной темноте кружились по лабиринтам дома Фредерикса. Наконец старушка в чепчике остановилась перед одной из дверей, выходивших в круговой коридор, и вставила ключ в замок.

— Вот здесь она и живет.

Сергей остановился на пороге и с напряженным вниманием оглядел комнату Екатерины Ивановны.

Комната имела такой вид, как будто хозяйка ее с минуты на минуту должна была вернуться.

На ночном столике лежала открытая книга, подушки на кровати были смяты, и одеяло отброшено; штора окна была отдернута наполовину.

Сергей вошел в комнату.

— Может быть, вы разрешите, — сказал он тихим голосом, — посмотреть здесь ее письма, книги?

— Пожалуйста, посмотрите, — сказала старушка

в чепчике, — а только ничего не найдете.

Он подошел к письменному столу, на котором в беспорядке разбросаны были книги, взялся за корешок, потряс над столом каждую из них, в надежде, что откуда-нибудь выпадет письмо или записка, и ничего не нашел; тогда он попытался выдвинуть ящик стола. Ящик легко выдвинулся; он был полон всякой рухлядью — тряпочками, лентами, даже соломенная шляпа была затиснута куда-то в самый угол.

Но среди рухляди стали попадаться бумаги. Тогда он сразу высыпал все, что было в ящике, на стол и наткнулся на связку писем, перевязанных простой тонкой веревкою.

Едва только он развернул одно из них, как его поразил до странности знакомый почерк.

Он взглянул на подпись, прочел: "твой Сергей", с размаху швырнул письма на стол, повернулся и пошел к двери.

— Я ничего не нашел здесь, бабушка, спасибо вам.

Старушка подошла к нему поближе.

— А вы Екатерине Ивановне будете брат или другой родственник? Я вижу, что вы очень интересуетесь ее судьбою.

Она посмеялась в кулачок и продолжала:

— Я вам могу все рассказать, если хотите. За один раз тридцать копеек.

— Как это тридцать копеек?

— Меньше никак, никак не могу.

— За какой же один раз?

— За одно гаданье. Я очень, очень, гадаю на картах.

— Нет, бабушка, спасибо за услугу.

Сергей сунул ей какие-то деньги и вышел; но не успел он отойти и десяти шагов по коридору, как старушка позвала его обратно.

— Молодой человек!

— Что вам, бабушка?

— Нужно уж вам сказать: на другой день, как ушла Екатерина Ивановна, я нашла в ее комнате письмецо. Должно быть, она его, уходя-то, и обронила. Вот это письмецо у меня имеется.

Старушка снова полезла куда-то под юбку и вытащила оттуда небольшое письмо, без печатей и марок, переданное, должно быть, из рук в руки.

Сергей молча взял у нее письмо и пробежал его глазами: это было предложение поступить на службу в какой-то союз в качестве стенографистки. Имя Фролова попадалось в письме два раза.

Сергей прочел до конца и вдруг вскинулся как бешеный.

Он в одну минуту вывернул карманы своего пиджака, отыскал среди бумаг, взятых у Фролова, письмо с вымогательством 1025 рублей от какого-то Павла Михайловича и его глубокоуважаемой супруги и принялся сравнивать оба письма с быстротой, от которой строки метались и прыгали в глазах.

Оба письма были написаны одной рукой.

— Они ее утащили, мерзавцы! — проворчал он, серый, как крот, от ярости.

Сунув все бумаги в карман, он повернулся и вышел.

Старушка в чепчике проводила его внимательным взглядом, снова посмеялась в кулачок и вернулась на свое место.

У нее сегодня счастливый день: во-первых, чело-

век с подвязанной рукой дал ей много денег, во-вторых, она нашла серебряное колечко с буквой М, а в-третьих, ее соседка, известная зльдня, до локтя ошпарила себе руку.

8

— Клей!

— Да ну? Посый?

— Не посый, так я бы с тобой говорить не стал!

— Врешь!

Сашка Барин нахмурился.

— Я с тобой в пустяках работал?

— Ну, ну. На сдюку, что ли?

— Я с тобой не на сдюку работал?

— А как шевелишь, на сколько дело ворочает? На скирью стекленьких будет?

— Поднимай выше.

— На чикву?

Барин покачал головой и с большим вниманием начал рассматривать свои ногти.

— На пинжу? На сколько же, черт побери?.. Неужто...

Барин наклонился к нему через стол:

— На лондру стекленьких!

Тетинька открыл рот, стукнул зубами:

— Труба! А где?

— Где? — это я тебе скажу на Бармалеевой. Один ювелир... Ну как, идет?

Тетинька замолчал и стал задумчиво сощелкивать с колен хлебные крошки.

— Жара!

— Подо мной без жары еще не работали.

— Погоди, Сашка. Мы подумаем!

— Кто это мы?

— Да я со Жгутом!

— Я твоего Жгута дожидаться не буду. Будешь работать, так приходи сегодня вечером на Бармалееву. Нет, так...

Сашка Барин прошел к дверям и у самых дверей столкнулся с вертлявым мальчишкой. Мальчишка носил длинную кавалерийскую шинель и в руке держал тросточку.

— Вот и Жгут!

Жгут, не здороваясь, пошел к столу, сбросил фуражку и выплюнул изо рта папиросу.

— Слышали, братишки?.. Гришка Савельев засыпался.

Барин вернулся, закурил и сел, положив ногу на ногу.

— На квартире! Пришли и взяли! Лягнул кто-то... Теперь плохо, пожалуй, стенку дадут.

Жгут побегал по комнате, хлопнул себя по лбу и закричал:

— А про Кольку Матроса слышали? Я его вчера в Народном Доме встретил; он открыто признал — хвастал, е.... его в душу мать. Говорил, что всех продаст.

Жгут подошел к Сашке Барину.

— Не скажись дома, Сашка, он ведь про вашу хевру знает!

— Ничего не знает. Воловер.

— Он говорил, что скоро начальником бригады будет, меня звал на службу в угрозыск.

Тетинька выругался по матери, Сашка Барин равнодушно посмотрел на Жгута своими оловянными бляхами.

— Жгут, — сказал Тетинька, — есть работа. Барабан нахлил.

— Малье!

— Если малье, так сегодня вечером приходи на Бармалееву. Там договоримся. Дело посое.

Барин кивнул головой и вышел.

— Аристократ, конечно, и сволочь, — сказал Тетинька, подмигнув глазом на двери, — но фартовый же парнишка, ничего не скажешь, честное слово!

Пустыри, хазы, ночлежные дома города, 200 лет летящего черт знает куда своими проспектами, иногда поднимаются на стременах. Наступает время работы для фартовых мазов, у которых руки соскучились по хорошей пушке. Шпана, до сих пор мирно щелкавшая с подругами семечки на проспектах Петроградской стороны и Васильевского острова, катавшаяся на американских горах в саду Народного дома, проводившая вечера в пивных с гармонистами или в кино, где неутомимый аппарат заставлял американок нежного сложения подвергаться смертельной опасности и быть спасенными Гарри Пилем, любимым героем папиросников, — теперь оставляет своим подругам беспечную жизнь.

Зато в гопах в такие дни закипает работа: в закоулочных каморках, отделенных одна от другой дощатыми перегородками, барыги скупают натыренный слам, наводчики торгуют клеем, домушники, городушники, фармазонщики раздербанивают свою добычу. Гопа гудит до самого рассвета, и если бы ювелир Пергамент в такую ночь встал с постели и провел два часа на Свечном переулке, так он соорудил бы целый арсенал под прилавком сво-

его магазина.

Первым со скучающим видом вошел Барин, за ним Тетинька и Жгут.

Барин вытащил наган и приблизился к прилавку. За прилавком стоял пожилой еврей, который, судя по внешнему виду, верил в Бога и аккуратно платил налоги.

— Ключ!

Из второй комнаты, в глубине магазина, выбежал молодой человек с пробором.

Он зашел было за прилавок, потер руки, поклонился, но тут же увидел наган Сашки Барина и побледнел так, как будто ему за это хорошо заплатили.

— Ключ!

Пожилой еврей затрясся, замигал глазами, ущипнул себя за подбородок и опустил руку в карман пиджака.

Жгут перевернул на стеклянной двери дощечку с надписью: "Закрыто".

Ключ с трудом влез в замочную скважину и отказался повернуться.

— Не запирается! Не тот ключ!

Сашка Барин оборотился к двери, и тогда пожилой еврей, верящий в Бога, сорвался с места. Серебряная вилка полетела в окно и воткнулась в подоконник.

— А, шут те дери! — заорал Тетинька, вытаскивая револьвер, — выходи из-за прилавка, сволочь!

— Зекс! — сказал Барин.

Он подошел к хозяину и приставил наган к животу, на котором болталась цепь с брелками.

— Последний раз говорю, дадите ключ или нет?

Рука вторично опустилась в карман, и на этот

раз ключ повернулся дважды.

— Теперь пройдите, пожалуйста, в соседнюю комнату, — вежливо заметил Барин.

Молодой человек с пробором открыл рот и окаменел; Тетинька дал ему пинка, он завизжал поросенком и, механически шагая, отправился в соседнюю комнату.

Пожилой еврей уже сидел там, закрыв лицо руками, качался из стороны в сторону и говорил по-еврейски.

Тетинька утвердился на пороге с револьвером в руках и начал утешать своих пленников.

— Ничего, ребята! Тут ни хрена не поделаешь, бывает! Дело наживное. Очистили — и никаких двадцать. А вы еще вилкой бросаетесь, сволочи! Рази можно?

— Не мои вещи, не мои вещи, — бормотал еврей.

— А рази можно чужими вещами торговать? Что ты!

Барин быстро и аккуратно укладывал драгоценности в небольшой чемодан. Жгут набивал карманы часами и кольцами; через несколько минут он тикал с головы до ног на разные лады.

— Готово.

Барин остановился на пороге соседней комнаты.

— Ложитесь!

— Ложитесь, вам же лучше будет, малявые! — подтвердил Тетинька.

Молодой человек с пробором вскочил и лег на пол с таким видом, как будто это доставляло ему большое удовольствие.

— Лицом вниз!

Пожилой еврей со стоном грохнулся на пол.

— Кажется, того... — сказал Тетинька.

— Если вы закричите или подниметесь с пола раньше, чем через полчаса, — сказал Барин, — так... Впрочем, вставайте, черт с вами, и помогите вашему старику! Он кажется, умирает.

Человек с пробором впал в транс и только тихо посапывал.

— Ну, шут с ними! — сказал Тетинька, — айда!

Они вышли, закрыли за собой дверь и заставили ее конторкой.

Жгут завертывал в клочок бумаги часовые инструменты, стекла.

— Жгут, ты засыплешься из-за этой дряни! Айда!

Ключ повернулся в замке сперва изнутри, потом снаружи.

Первым вышел Жгут. За ним Тетинька и Барин.

На углу они постояли немного, закурили, поговорили о погоде и разошлись в разные стороны.

9

На углу Рыбацкой улицы, против пустыря, на котором все собаки Петроградской стороны познают радость жизни, стоит ресторан Прянова.

В этот ресторан каждую ночь приходят с дамами военморы в удивительных штанах, лавочники в пиджаках и косоворотках и просто так, неизвестные люди. Эти люди предпочитают носить пальто с кушаком и фуражку с золотыми шнурами, надвинутую на глаза или сброшенную на затылок.

Если никому не известный человек, как всякий человек, хорошо знает все, что было вчера, то он никогда не уверен в том, что его ожидает сегодня. Поэтому в карманах его пальто на всякий случай

лежат еще две-три шапки: беспечная кепка, строгий красноармейский шишак и хладнокровная, как уголовный кодекс, панама.

Военморы тащат из кармана бутылочку, пьют ерша и, полные морского достоинства, до поздней ночи играют на биллиарде.

Лавочники слушают музыку и терпеливо, подолгу выбирают подходящую для короткой встречи подругу.

Просто так, неизвестные люди садятся по двое, по трое где-нибудь в уголку и говорят о том, что Васька Туз сгорел, а Соколов продает, о том, что Седому посчастливилось найти посую хазовку на Васильевском и что лягавые ходят за Паном Валетом Шашковским.

Внизу на улице возле ресторана Прянова гуляют барышни в цветных платочках, повязанных по самые глаза. Они гуляют от одного кинематографа до другого, от Молнии до Томаса Эдисона и обратно, лущат семечки, рассматривают снимки боевика в 24 частях, поставленные под стекло витрины, скучают и ищут друга на час, на ночь, на год, на целую вечность.

К полуночи, когда гаснут кинематографические огни, проспект Карла Либкнехта погружается в темноту, — только ресторан Прянова еще сверкает, шумит, волнуется, и биллиардные игроки гулкими,как револьверный выстрел ударами пугают кошек, уже сменивших собак и, подобно собакам, испытывающих на заброшенном пустыре живейшее из жизненных наслаждений.

Тогда начинается жаркая работа для милиционеров. Посетители Пряновского ресторана, нагрузившись вволю, начинают сомневаться в реальности и

целесообразности всей вселенной: они начинают крушить все вокруг, и иная барышня из сил выбивается, чтобы спасти ночь, уговорить буйного друга и увести его от беспощадного, как мировой закон, мильтона.

Сергей Травин бродил по городу.

Он искал в ночлежных домах, в пивных, в самых глухих притонах человека, имя которого — С.Качергинский — стояло в письме, полученном от старушки в малиновом чепчике и прозвищем которого — Турецкий Барабан — было подписано письмо за церковной печатью. Любой агент сказал бы, что у него губа не дура, потому что за этим же самым человеком в течение года безуспешно охотился уголовный розыск по делам, перед которыми похищение какой-то стенографистки было пустою шуткой.

Сергея не знала шпана.

Его считали, не без оснований, за лягавого, и при появлении его в гопах на Обводном канале, на Свечном 11 — тотчас умолкали или начинали говорить о достоинствах Кораблика перед Машкой Корявой, о погоде, о кинематографе, о политике, притворяясь либо простыми папиросниками, либо молчаливыми служащими трамвайного парка.

Однажды в чайной на Лиговке Сергей рискнул показать какому-то клешнику, с которым разговорился по-дружески и вместе пил чай, письмо за подписью Турецкого Барабана.

Клешник внимательно прочел письмо и посмотрел на Сергея, чуть-чуть сдвинув брови:

— Чего?.. Наводишь?

— Я хочу узнать, не скажете ли вы мне, где найти этого самого человека, который подписал письмо?

Клешник вскочил и, ни слова не говоря, побежал к двери.

Уходя, он обернулся к Сергею и сказал, скривив рот и грозя ему кулаком:

— Что же ты, лярва, думаешь, что я своих продавать буду?..

Как-то ночью Сергей забрел в ресторан Пряно-ва, поднялся наверх и сел за стол, прямо напротив зеркала.

Из зеркала на него посмотрело лицо, которое он не узнал и которое стоило продать за николаевские деньги.

Он пересел за другой столик и спросил пива.

Ресторан был полон.

Под картиной, изображающей не то сосновый лес осенью, не то гибель Помпеи, расположилась компания подгулявших торговцев, которыми распоряжался толстый, багровый человек с обвислыми усами.

Багровый человек одновременно ругал официантов, шутил с барышнями и с удивительным искусством подсвистывал струнному оркестру.

Недалеко от них, за круглым столиком, сидели трое парнишек лет по 15-ти, задававших форсу и игравших под больших.

Один из них, заложив ногу на ногу, каждую минуту кричал струнному оркестру:

— Наяривай, наяривай! — и открывал круглый, как яйцо, глаз.

Двое других спорили друг с другом о достоинствах какой-то Лельки Зобастенькой, курили без

конца и беспрестанно пили пиво.

Говорили все разом, и смешанный говор изредка прорезывала мелодия знаменитой ”мамы”.

Веселенькие цветочки прыгали на обоях, с золоченых карнизов спускались какие-то кудрявые гардины, на стене, прямо напротив Сергея, было прибито объявление:

”Согласно постановления администрации
Сквернословие воспрещается.
С виновных в таковом будет взиматься
штраф”.

Внизу в уголку было приписано мелкими буквами:

”Коли так, так и х... с вами”.

Сергей приглядывался к своим соседям.

Рядом с ним сидели два молчаливых посетителя, которые, не обращая никакого внимания на все, что происходило вокруг, спокойно тянули пиво, изредка обмениваясь друг с другом двумя-тремя словами.

Оба курили: один, степенный, лет 35-ти, курил трубку; другой, одетый под военмора, в фуражке с щегольским козырьком, держал в руках сигаретку.

Сергей допил свое пиво и пересел поближе к соседям.

— Разрешите, — сказал он, вытащив из коробки папиросу и наклоняясь с папиросой в руках к тому, что курил сигарету.

Тот молча дал Сергею прикурить.

— Вы позволите мне здесь посидеть, — сказал Сергей, — там, знаете ли, ужасно бьет в уши оркестр.

Человек с трубкой едва заметно показал на

него глазами своему товарищу.

— Пожалуйста, садитесь.

Некоторое время все трое молча тянули пиво.

Подгулявший торговец с отвислыми усами держал за жилетку какого-то маленького человечка и кричал во весь голос:

— Нет, ты мне скажи, если я к твоей жене приду, она мне что?.. Она мне даст или не даст? Вот ты, например, на железной дороге производишь хищения! Так по этому поводу она должна мне дать или не должна?

Куривший трубку прижал пальцем потемневший пепел и спросил, обратившись к товарищу:

— Этого как фамилия, не знаешь?

— Этот с Ситного, мучной лабаз на углу Саблинской, — ответил тот.

— А вы как, тоже торговлей занимаетесь? — спросил Сергей.

Старший чуть-чуть повел глазами, постучал пальцем по столу и отвечал:

— М-да. Торгуем. Мебельщики.

"Знаем мы, какие вы мебельщики", — подумал Сергей.

— Как теперь торговля идет? Теперь многие возвращаются обратно в Питер, должно быть, снова обзаводятся мебелью?

Старший пососал трубку и ответил спокойно:

— М-да. Ничего. Не горим. Хотя покамест больше покупаем.

Младший чуть-чуть не захлебнулся пивом, поставил стакан на стол и взял в рот немного соленого гороха.

"Принимают меня за агента", — подумал Сергей.

Он перегнулся через стол и спросил словами,

которые усвоил себе во время своих скитаний по петроградским кабакам:

— А клея нет?

Старший вынул трубку изо рта.

— Как?

— А клея, спрашиваю, не предвидится?

— Это что же такое значит клей? — спросил старший с таким видом, как будто ему сказали что-то даже оскорбительное, пожалуй, — клей нужно не у мебельщиков, а у москательщиков спрашивать.

"Не дается, — снова подумал Сергей, — принимает за агента".

Старший подозвал официанта, расплатился и поднялся со стула, пыхтя трубкой; младший мигом вскочил и насмешливо раскланялся с Сергеем.

Сергей остался сидеть, следя за ними глазами; оба прошли в соседнюю комнату — в биллиардную.

На столе лежали пивные бутылки, какой-то гарнир на жестяной тарелочке, блюдечко с горохом.

Сергей заплатил за пиво; встал из-за стола с намереньем уйти от Прянова; в одно мгновенье ему опротивели веселенькие цветочки на обоях, струнный оркестр, багровый человек с отвислыми усами.

Однако не успел он сделать и двух шагов, как кто-то хлопнул его по плечу:

— Ну, дружочек, что заработали сегодня?

Он обернулся: перед ним стояла девушка лет 22-х, в клетчатой мужской кепке, надвинутой низко на лоб. В руке она держала тросточку и похлопывала ею по высоким красным ботинкам с острыми каблучками.

— Ну, одолжите папироску!

Девушка села на стул и потянула его за рукав.

— Садитесь.

Сергей послушно уселся.

— Я давно на вас смотрю; у вас, миленький, очень симпатичные глаза. Что ж это вы такой скучный? Выпьемте лучше пива, чем скучать!

— Одну минуту, — сказал Сергей, — не знаете ли вы случайно, кто это вот тот высокий с трубкой, там, около окна, видите, выходит из биллиардной?

— Вот тот? Это один такой человек.

— Какой это такой человек?

— Ну да! А вам зачем это знать нужно, а?

— Просто так. А кто же он такой, этот человек?

Девушка перегнулась к нему через стол и спросила шепотом:

— А вы кто? Лягавый? Скажите мне, я никому не скажу.

— Нет, я не лягавый.

Сергей заказал пива, вытащил коробку с папиросами и предложил закурить.

Девушка взяла две папироски, одну закурила сейчас же, другую положила куда-то за козырек своей кепки. Она не сидела на месте, вертелась, вскакивала каждую минуту и смотрела в зеркало, выставив подбородок.

— А как вас зовут, барышня?

— Сушка.

Она засмеялась, села рядом с ним и заложила ногу за ногу. Коротенькая потрепанная юбчонка задернулась, и маленькая нога в высоком красном ботинке открылась до колена.

— Пейте, пожалуйста, пиво, — сказал Сергей.

— Мерси.

Она отпила немного, поставила бокал на стол.

Оркестр гремел, затихал, гремел снова и все чаще плакал о том, что плохо жить без пальто и без теплого платочка, когда настанут зимние холода, столь чувствительные в нашей северной столице.

— Вот теперь у нас плохой оркестр играет, — говорила Сушка, следя глазами за длинным скрипачом, который извивался, как ярмарочный змей, вместе со своей скрипкой, — а вот весной играл маэстро Ридель, так многие из-за одного оркестра приходили.

Она увидела, что Сергей смотрит мимо нее, куда-то поверх клетчатой кепки, в зеркало, мимо зеркала — на золоченые карнизы, мимо карнизов — в темные оконные стекла.

— Скажите, миленький, почему вы такой скучный? Вы мне скажите, я и раньше заметила, что вы скучали.

— Нет, какой я скучный, я веселый, — сказал Сергей, — пейте, пожалуйста. Так вы, значит, здесь часто бываете?

— Ну что же — пейте да пейте! Расскажите мне лучше причину.

— Какую причину?

— Экой же вы несговорчивый! Ну, дайте мне вашу руку, — я умею гадать по линиям рук. Сейчас расскажу все, что с вами случилось.

Она взяла руку Сергея и деловито запыхтела папироской.

— Я у одной хиромантки когда-то служила в компаньонках, вот она меня и выучила. Ой, какая у вас нехорошая рука!

— Почему же нехорошая?

— Потому что у вас линия жизни непервоначальная.

— Как это так — непервоначальная?

— Мне вас даже очень жаль, миленький, вам что-то не везет последнее время.

Сергей вдруг вскочил и отнял у нее руку.

— Ну ладно, довольно.

Сушка тоже встала и, небрежно похлопывая тросточкой по своей истрепанной юбчонке, подняла голову и лукаво заглянула ему в лицо.

— Брось, не скучай по ней, фартицер! Я тоже топиться хотела, когда меня мой студент бросил. И ничего. Видишь, до сих пор гуляю!

Сергей отступил на шаг и посмотрел на нее с таким видом, как будто перед ним стояла не проститутка Сушка, а доктор тайной магии Бадмаев или граф Калиостро.

— Откуда вы знаете, что она меня бросила?

— А что, правда или нет?

— Правда.

— Хм, откуда знаю? А ты думаешь, фартицер, что вас мало таких по бар...ышням шляется?

Сергей молча уселся против нее.

— Знаете что, барышня, бросим этот разговор, выпьем лучше пива. Или, может быть, портвейну?

Сушка пыхтела папиросой и напевала сквозь зубы:

Мальчик девочку любил
И до дому проводил,
И у самого крыльца
Ланца дрица а-ца-ца!
Вот идет девятый номер,
На площадке кто-то помер,
Тянут за нос мертвеца,

Ланца дрица а-ца-ца!

Сергей пил портвейн из стакана. Он один выпил почти всю бутылку — цветочки на обоях вдруг врезались в глаза с удивительной отчетливостью, потом сплелись, расплелись и свернулись.

— Слушайте, барышня... — Сергей для убедительности даже стукнул себя кулаком в грудь. — Не в том , понимаете ли, дело, что бросила... Я бы, может быть, и сам ее бросил... Если бы... А, долго рассказывать! Пейте лучше портвейн.

Он опустил голову на грудь и закрыл глаза.

— А теперь, когда я его...

Он сжал кулаки с такой силой, что ногти врезались в ладони.

— Да я бы сразу ее забыл, если бы я ей все сказал! А я не могу сказать, потому что она пропала!

Сушка поставила локти на стол и слушала его с вниманьем.

— Куда же она пропала?

— Неизвестно куда. Никаких следов. Пропала, как дым.

— Выпейте теперь сельтерской, — посоветовала Сушка.

— Послушайте, барышня... Я вам одну вещь покажу... А вы мне скажите, что эта вещь означает; то есть не вещь, собственно говоря, а письмо. Самое настоящее письмо и подписано, знаете ли... Нет, не скажу.

Он оглянулся вокруг себя, внезапно начиная трезветь.

— Или вот что... пойдемте куда-нибудь отсюда и там... я вам его покажу.

Сушка кивнула головой.

— Идет. Только знаете что... я сперва выйду, а вы потом расплатитесь. Я вас внизу на улице подожду.

Она встала, чуть-чуть покачиваясь, прошла между столиков, мимоходом заглянула в биллиардную, как будто ища кого-то глазами, но тотчас же отвернулась и начала спускаться по лестнице.

Сергей подозвал официанта, расплатился и, держась руками за все, что попадалось по пути, добрался до выхода.

Спускаясь по лестнице, он увидел, что Сушка отворяет выходную дверь.

Он спустился вслед за нею и на последних ступеньках вплотную столкнулся с давешним человеком в фуражке с лакированным козырьком, одетым под военмора.

Человек, на которого он наткнулся, воротился назад, посмотрел на Сушку, которая спешила перебежать улицу, приподнимая короткую юбчонку, потом на Сергея, сплюнул сквозь зубы, заложил руки в щегольские штаны и присвистнул каким-то особенным свистом.

10

"19 сентября в 1 час дня в больнице Жертв Революции скончался агент уголовного розыска Н.И.Рюхин, который несколько дней тому назад был ранен налетчиком в одном из домов Фурштадтской улицы".

— Этого, кажется, Пятак накрыл!

"Смерть последовала после операции извле-

чения из области живота агента Рюхина застрявшей там пули. Незаметный герой умер на своем служебном посту, его сразила пуля этого негодяя-бандита.

Покойный Н.И.Рюхин определенно отличался особым усердием в исполнении возложенных на него оперативных заданий.

Не пора ли взять в железные рукавицы эту паразитарную братию?"

Сашка Барин бросил газету на окно и, не слушая, о чем говорил, картавя, Турецкий Барабан, закурил папиросу и задумался.

Он был недоволен: с тех пор, как Барабан замарьяжил эту девчонку, дела идут все хуже и хуже.

Хевра начинает трещать, Пятак работает на стороне, дело с госбанком загнивает. Напрасно не отдали на сдюку последнюю работу — было чисто сделано. Нужно сплавить девчонку, или Барабан потеряет последний форс.

— Уважаемые компаньоны! Рыхта для госбанка должна была потребовать достаточное время. Мы сделали подработки, как нужно.

— В чем раньше было дело? Дело раньше было в том, чтобы найти хороший шитвис, но, во-первых, сейчас нельзя подобрать хороших кассиров. Откровенно говоря: мальчиком нельзя же открыть сейф. Тогда я сказал, что я недаром учился на раввина. Мы будем работать по новейшей системе, за нашей спиной — Запад.

Шмерка вытер вспотевший лоб платком и продолжал:

— Я сказал: пусть нам дорого встанет такая ла-

боратория, не нужно забывать, что нас ждет дело большого масштаба. Хевра не проиграет от такой постановки дела.

Пятак сидел против него с растерянным видом. Его клонило ко сну, и он с трудом раздвигал слеплявшиеся веки.

— Компаньоны! — продолжал Барабан, закладывая пальцы за пуговицы своего жилета. — Сработать госбанк — это не портняжить с дубовой иглой, компаньоны. Для этого нужно иметь под рукой — цивилизацию!

— Я говорю! — меня не интересуют бумаги, которые завтра будут — пха, и которые вы можете достать, наставив шпалер на лоб. Нам нужно рыжевье! Нам нужна наховирка! Подавайте нам звонкую монету!

— Ладно, отлично, — равнодушно сказал Барин, — на какой день мы назначим работу?

— Мы назначим работу на пятницу, — в четверг в госбанк будут сданы деньги кожтреста. Они пролежат только один день, — это мне известно досконально.

— Послушай, Барабан, — Барин говорил медленно, ровным голосом, — ты уже истратил деньги, которые получил от меня и Тетиньки за ювелира на Садовой?

— В чем дело? — спросил Барабан, — тебе нужны деньги, Сашка? Или, быть может, ты сам хочешь вести работу?

— Я спрашиваю, — спокойно повторил тот, — истратил ли ты деньги, которые мы передали тебе на прошлой неделе?

— Я не истратил эти деньги! — передразнил Барабан, — а как ты думаешь, откуда я знаю, что в чет-

верг в госбанке будут деньги из кожтреста, и где именно они будут лежать? Это стоит денег или нет? Мне нужно платить кожтресту или нет? Меня критикуют, а? Мне не доверяет хевра!

Пятак наконец отогнал сон, раздвинул слипшиеся веки и соскочил с окна.

Он заложил руки в щеголеватые штаны и прошелся по комнате.

— Какого рожна тебе нужно от него, Сашка? — сказал он со злобою, — чего ты пялишь на него лупетки, сволочь? Он плохо работает, Барабан? А в прошлом году, когда ты уговорил штымпа, он тебя не выручил? Ему бабки для дела, он после отчитается во что пошло, а ты хевру поганишь, жиган! А еще фай называется!

Барин чуть-чуть побледнел, медленно поднялся со стула и вдруг, подпрыгнув, одной рукой схватил Пятака за ворот его матросской блузы, другой ударил его в лицо.

Кровь брызнула из рассеченной скулы.

Пятак, оскалив зубы, кинулся на него, но тут же остановился на мгновенье, чтобы вытащить из-за пояса нож.

Барабан сорвался с места и бросился между ними.

— Довольно, — закричал он с гневом, — довольно этих глупостей! Ха! Это еще новое дело!

Пятак отошел в сторону, пряча нож. Он вытирал рукою кровь на разбитой скуле. Минуту спустя он вышел и тотчас же вернулся снова с папиросой в зубах.

— Мы делаем дело! — объявил Барабан, садясь на прежнее место. — Спокойствие! Терпение! Барин, я отчитаюсь перед хеврой, когда угодно! Пя-

так, я не нуждаюсь в адвокатах! Я сам знаю, что я делаю, и то, что я делаю, не могут изменить ни мои защитники, ни мои прокуроры! Баста, на этом покамест оставим пустяки, недостойные серьезных людей!

Он помолчал несколько минут.

— Дело обстоит в следующем, — продолжал он, — я остановился на пятнице. Да, именно в пятницу! В четверг мой инженер, между прочим, также закончит все приготовления.

Барабан замолчал, потемнел и как будто только теперь обиделся на подозрения Сашки Барина.

— Вот если угодно, — сказал он с обидой в голосе, — отличный случай. Вы хотите реабилитации? Вы получите ее! Я вам докажу, Барин, могут ли в моих делах быть какие-либо междруметии. Я больше не хочу полагаться на одного меня. Пусть сам инженер расскажет о том, как он сделал это! Я его выдумал, этого инженера, и, пожалуйста, отлично, проверяйте меня!

Он выбежал в коридор и спустя несколько минут вернулся с Пинетой.

Пинета был бледен, но весел. Он с комической важностью вошел в комнату и отвесил каждому из налетчиков в отдельности низкий поклон.

— Очень рад вторично с вами встретиться, — сказал он, протягивая Барину руку, — необыкновенно рад! Живешь-живешь один-одинешенек и вдруг встречаешь знакомого, даже хорошо знакомого человека.

Барин посмотрел на него с удивлением, но, впрочем, с неожиданным для него радушием пожал протянутую руку.

— Пинета, — громко сказал Пинета, подходя к Пятаку.

Пятак нехотя ухмыльнулся, схватил руку, смутился и принялся закуривать.

Пинета был настроен очень весело. Барабан не успел еще начать демонстрацию своей блестящей выдумки, как Пинета подсел к нему совсем близко и по-приятельски хлопнул его по коленке.

— Ну, а ты как поживаешь, старичок?

Барабан молча снял с колена руку Пинеты, посмотрел на него внушительно и начал:

— Я уже говорил вам об инженере Пинета — лучшем специалисте по сталелитейному делу.

Пинета кивнул головой с одобрением.

— Действительно — лучший специалист.

— Мы пригласили инженера для того, чтобы он сделал нам в моментально то, что даже хороший шитвис не сделает в два часа с половиной. И он берется это сделать, как человек, понимающий, что такое есть настоящее дело.

— Я берусь это сделать в моментально, честное слово! — весело подтвердил Пинета.

— Прошу не перебивать, — продолжал Барабан, — сейчас он расскажет нам свой проект, но это, конечно, это же мой проект — проект вскрытия ливерпульских сейфов в госбанке.

Он оборотился к Пинете с покровительственным видом:

— Говорите, инженер, не стесняйтесь!

Пинета встал и снова отвесил низкий поклон налетчикам.

Он вдруг стиснул зубы, сжал руки в кулаки и перестал смеяться.

— За двадцать пять лет, которые я прожил, — начал он, делая шаг вперед и подходя к Барабану

ближе, — я встречал очень много бездельников, которые притворялись настоящими людьми. Но такого макового бездельника, как вот этот толстый еврей, я не встречал ни разу.

— Он сошел с ума, — спокойно определил Барабан. — Бедняга, у него, наверное, есть старые родители.

— Вы думаете, что вы налетчики? — закричал Пинета, потрясая сжатыми кулаками. — Портачи!

Барабан откинулся немного назад и посмотрел на Пинету серьезно.

— Что вы хотите этим сказать?

— Портачи! — повторил Пинета с удовольствием. — Вы думаете, что вы увезли инженера Пинету, Михаила Натановича?

— Именно так, — подтвердил Барабан.

— Портачи! — в третий раз повторил Пинета, — вы увезли художника Пинету. Инженер Пинета — мой дядя — в прошлом году умер!

Все замолчали. Пятак было засмеялся, но тотчас же умолк и только свистнул от удивления.

— Инженер Пинета в прошлом году умер? — переспросил Барабан. — Что значит умер?

— Умер, как все умирают, — так это и называется; если бы вы тогда меня не увезли, так и я бы, пожалуй, умер. От голода.

— Он сошел с ума, — закричал Барабан, — гоните его! Этого не может быть! Не может быть, чтобы инженер умер!

Барин встал и не торопясь подошел к Барабану. Он наклонился к нему через стол, спокойно следя, как краска сбегала с лица, которое стиралось перед ним, как мел стирается губкой, и сказал, опустив углы губ и всматриваясь в Барабана с презрением:

— Эх ты... задница овечья!

Барабан, не поднимая головы, блеснул исподлобья глазами, снова побагровел, вытащил из заднего кармана револьвер и с силой, которой от него нельзя было ожидать, вдруг ударил Пинету в лоб рукояткой револьвера.

Пинета взмахнул руками и без крика свалился на пол. Тогда Барабан сорвался с места, с яростью закричал и ударил Пинету ногой в лицо.

И этот новый удар как будто сбросил с рук Барабана веревку. Он схватил табурет и принялся с размаху бить им по телу, которое под каждым новым ударом послушно отбрасывалось назад.

Он топтал Пинету ногами и бил по лицу до тех пор, покамест лицо не превратилось в красный блин с закрытыми глазами.

Тогда Пятак схватил его за руку и сказал, становясь так, чтобы защитить Пинету от новых ударов:

— Будет!

И схватив Пинету под мышки, он вытащил его из комнаты, проволочил через коридор и с помощью Мани-Экономки уложил на кровать.

— Его Барабан измордовал, — ответил он на расспросы Мани, — ты за ним тут походи, пожалуйста, он будет настоящий фай, помяни мое слово!

Он вернулся обратно и, еще не дойдя до комнаты, в которой так неожиданно был разыгран Турецкий Барабан, услышал горячий разговор. Он сразу же узнал ровный и вежливый голос Сашки Барина.

— О чем тут говорить? Ясно, конечно, что дело не в этом Пинете. Дело в том, что в последнее вре-

мя ты склевался и потерял голову. Твое личное дело, Барабан, возиться со всякими девчонками, но чтобы это не касалось работы! Или черт с тобой, бросай хевру и открывай гопу на Обводном.

Пятак засмеялся и отворил двери.

Барин по-прежнему сидел на том же самом месте; он забросил ногу за ногу, курил и при каждом слове кривил гладкие, как бы отполированные губы. Барабан стоял перед ним, потупив голову, как нашаливший мальчик; он весь обвис, утомился и посерел.

— Я у тебя тогда спрашивал, какого дьявола нам нужен этот инженер? Когда мы приехали, я на лестнице спросил — знаешь ли ты человека, которого нам нужно взять? — "Цивилизация, современная техника, Запад!" — вдруг передразнил он хрипловатым картавым голосом, расставив немного ноги и закинув голову совершенно так, как это делал Барабан, — "меня не интересуют бумаги, давайте нам наховирку и звонкую монету!"

Пятак подошел к нему сзади, дернул за рукав и глазами показал на Турецкого Барабана.

Тот все еще не поднимал головы, но снова начал багроветь, почему-то начиная со лба, на котором выступили крупные капли пота.

Барин вгляделся в него, замолчал и принялся тащить из кармана своих офицерских брюк портсигар.

Барабан перевел затрудненное дыхание и поднял голову. Он был почти спокоен.

— Ладно, довольно разговоров, — сказал он, поглядев на обоих налетчиков так, как будто ничего не случилось.

— Работа назначена в пятницу?

Он стукнул кулаком по столу и закончил:

— Так значит работа будет сделана в пятницу!

11

Сушка жила на Васильевском Острове, на -ом переулке, у старой финки Кайнулайнен.

Это была старая высохшая финка, которой ничего не платили за комнаты, даже не уговаривались о плате и только удивлялись тому, что хотя она вовсе ничего не ест, но живет и даже страдает желудком.

Финка не жаловалась, не плакала, но каждый день писала по-фински открытки и опускала их в почтовый ящик, из которого уже более двух лет не вынимались письма...

Сергей шел за Сушкой, чуть пошатываясь, прищуривая то один, то другой глаз так, чтобы свет от фонаря разлетелся тонкими стрелами, и внезапно раскрывал глаза так, чтобы фонарь снова повис над улицей неподвижным и тяжелым шаром.

— Черт меня возьми, куда я иду за этой б...? Мне нужно скрываться, уйти в нору, в подворотню, в землю.

Он взял свою спутницу под руку и заглянул в лицо. Сушка шла, опустив голову, похлопывая тросточкой по своей ветхой юбчонке.

— Сушка! Как тебя зовут?

— А тебе на что это знать, миленький?

— А кто это тебя окрестил Сушкой?

— Мой типошничек.

Какая-то густая сырость вдруг поползла Сергею за ворот пиджака, спустилась по спине и разошлась

по всему телу. Он задрожал, поднял ворот и заложил руки в рукава.

— Брр... холодно. Что же это такое типошничек?

— Ну, пойдем, пойдем, тут мильтоны шляются.

Они прошли освещенные улицы, — тротуары почернели, дома слились в огромные сплошные ящики с беспомощными мигающими окнами.

"Может быть, за мной следят? Может быть, кто-нибудь идет за мной (он обернулся), а сейчас спрятался вот там, вот в той подворотне?"

— Вот уж никак бы я не поверила, — сказала Сушка, что есть такой человек, который не знает, что такое типошник.

— Да ты мне скажи, что это такое?

Сушка замедлила шаги и притянула его поближе.

— Это мой ... зуктер. Ну, понимаешь?

— Зуктер? Зуктер так зуктер, шут с ним. А хороший он у тебя?

— У меня?

Сушка остановилась перед каким-то поганеньким задрипанным домишкой и застучала в ворота.

— У меня, брат, зуктер — прямо знаменитый человек. Его весь Петроград знает.

— А как его зовут?

Завизжал замок, и заспанный дворник впустил их во двор.

— Сюда, сюда, — говорила Сушка, таща его за рукав.

Они поднялись по лестнице, и Кайнулайнен впустила их в кухню.

Сергей поднес руку к лицу; ему вдруг невыносимо, до дрожи, захотелось спать. Он зевнул с со-

дроганьем и спросил почти про себя, с усилием разнимая слипшиеся глаза:

— Чем же он знаменит, твой зуктер?

— Эка дался тебе мой зуктер! Он... ну... ну, мебельщик.

Они были уже в комнате, когда Сергей услышал это слово, сказанное минуту тому назад.

Он вскинул брови, и тут же перед ним возникли кудрявые гардины, жестяные тарелочки, одесская мама и голос человека, курившего трубку:

— М-да. Торгуем... Мебельщики.

Он схватил Сушку за руки.

— Как? Что ты говоришь? Мебельщик?

Сушка наконец рассердилась на него.

— А тебе что за дело? — спросила она, вырывая руки и глядя на него сердито, — ты что, подрядился, что ли, допрашивать? Лягавый ты, что ли?

Сергей опомнился.

— Послушай, Сушка... Я хотел показать тебе письмо.

Он расстегнул пиджак, вытащил письмо, найденное им на мертвом Фролове, и, перегнув пополам, показал Сушке печать церкви Гавриила архангела.

Сушка нахмурила брови, вытащила изо рта папироску, немного побледнела и сказала, приглядевшись к печати и забрасывая ногу на ногу:

— Ну, а чем ты мне докажешь, что ты не легавый?

Сергей посмотрел на нее с отчаяньем. Он сел на кровать и опустил голову на руки.

— Ну, слушай, я тебе расскажу... черт с ним, все равно, только бы отыскать ее...

Сушка вскочила, принесла разбитое блюдечко

вместо пепельницы, сунула в него окурок, закурила новую папироску и приготовилась слушать.

Сергей сразу начал говорить, говорить, говорить безостановочно, шагая по комнате.

Он говорил как будто читая по книге, забывая о том, что Сушка и не знает вовсе того, о чем он ей говорил, ходил из угла в угол, останавливаясь, чтобы взмахнуть рукой, и снова начиная ходить.

— Не в том дело, не в том дело, что прислала письмо, — ну что же, я и правда когда-то просил известить, сказать! Не в том дело, что ушла к другому, все равно к кому, даже к нему, к Фролову, к налетчику, как я это неделю тому назад узнал, а то, что он ее продал, понимаешь ли, продал?

— Лягавый! Лягавый! Да какой же я лягавый, когда мне самому скрываться надо; я — арестант, политический арестант, меня, может быть, по всей России ищут, — ну, не убьют, конечно, но ведь ищут, чтобы арестовать! И арестуют в ту же минуту.

— Подожди, как ты назвал, Фролов, что ли?

— Ну да, Фролов, налетчик, понимаешь, нашел у него в записной книжке (и в книжке тоже есть, видно, наверное, несомненно, что он — налетчик), нашел три письма, одно от нее, другое через Фролова какому-то человеку, письмо с шантажом. Вот оно, это самое, что я показывал, — с печатью. Ну, может быть, не налетчик, все равно, вор, грабитель. Или убийца? Наверное, наверное, убийца.

Он остановился и взмахнул рукой, как бы отбросив Сушке в лицо последнюю фразу.

— Чем же, черт возьми, я докажу тебе, что я не лягавый? Ах да, хорошо, я покажу письма!

Он принялся рыться в боковом кармане своего

пиджака, выбросил на стол груду каких-то затрепанных бумажек, нашел письмо Екатерины Ивановны, то самое, которое он получил от нее в тюрьме, и положил его перед Сушкой.

Сушка развернула письмо, но не стала читать, а продолжала слушать.

— Что же мне было делать? — говорил Сергей, безостановочно шагая по комнате, — должен был приехать, непременно должен. Просила не беспокоиться, поберечь себя, не винить... Кого не винить? Ее? Я ее ее ни в чем винить не буду, только бы найти, чтобы сказать, объяснить, да нет, хоть ничего не сказать, а только увидеть, узнать, что она жива.

Сушка все еще не читала письма, облокотилась на стол и задумалась, потирая рукою лоб, собранный в мелкие морщины.

— Я знаю, что продал, именно продал, — снова заговорил Сергей, — потому что нашел у нее письмо, понимаешь, подняла какая-то старуха у дверей, в коридоре; в нем он, Фролов, два раза упоминается и должен был сообщить адрес. Он должен сообщить адрес! Это неспроста, что именно он. Почему же в письме не указан адрес? Вот, прочти, кем подписано, посмотри фамилию, не знаешь?

Сергей сел, снова вскочил и начал оттягивать ворот рубахи, который вдруг почему-то показался ему невероятно узким.

— Послушай, фартицер, — да подбодрись, не склевывайся, найдется, — заметил ты того, что встретился с тобой у Прянова в подъезде? Я видела, что ты встретился с ним, когда я перебегала улицу. Вот он и есть мой типошник. Он из той хев-

ры, от которой письмо, то, с печатью, понимаешь? Это одна хевра, одна, понимаешь? Да я тебе сейчас ничего говорить не буду... Я все узнаю, что нужно.

Сушка откусила и сплюнула мокрый конец папиросы, покусала ногти и снова задумалась.

— Ну да! И еще у меня в той хевре подруга есть, зовут Маней-Экономкой. Она тоже скажет, что знает. Но прямо скажу тебе, фартицер, что это трудное дело. Одно слово:Барабан!

— Барабан? Ну да, Барабан подписал письмо. Одним почерком написаны оба, и то, с шантажом, и к ней, — один человек писал, потому-то я и догадался. Его-то именно я и ищу целую неделю. Кто он, где его найти, ты его знаешь?

Сушка задумчиво постукивала пальцами по папиросной коробке.

— Ну, знаю. Вот что, фартицер! Приходи ко мне в четверг, часов в 10 вечера. Но прежде... Подожди, у тебя мать есть?

— Нет, у меня...

— Что?

— Никого нет! Один! А зачем?..

— Никого, ни сестры, ни брата?

— Никого, она только и была; да нет, не в том, видишь ли, дело...

— Ну ладно, бог с тобой. Я тебе и так поверю. А ведь бывают такие накатчики, я-то не встречала, но знаю, что бывают; наговорит с три короба, письма пишет, а потом...

Сергей как-то сразу осел, утомился, побледнел. Он снова присел на диван, не слушая, что говорила Сушка, согнулся и даже закачался от невероятного желания уснуть, даже не уснуть, а хотя бы закрыть глаза, ничего не видеть и не слышать.

Сушка еще не кончила рассказывать ему о том, какие уловки иной раз подкатывают лягавые, как он уже спал, уткнувшись головой в спинку дивана и беспомощно бросив руки вдоль согнувшегося тела.

Сушка прервала себя на полуслове, встала, заглянула ему в лицо и раза два прошлась по комнате, прищуривая глаза и как будто примеряясь к чему-то.

— Маня-Экономка — свой человек. Маня поможет, не выдаст, но Пятак?.. Ох, если узнает Пятак.

Она еще раз поглядела на Сергея.

— Жалко все-таки! — и поправила свесившуюся на пол руку.

Потом она разделась, вскочила в одной рубашке, бросила на Сергея какое-то изодранное пальто с торчащей во все стороны подкладкой, закурила папиросу и, наконец, улеглась в постель, закрывшись с головой одеялом.

12

До выполнения задуманного дела хороший налетчик ничего не пьет. Он по опыту знает, что на работу нужно идти с ясной головой, чтобы в случае опасности не растеряться и спокойно встретить все, что может встретить человек, который никогда не опускает предохранителя на браунинге и которому нечего терять, кроме жизни, а жизнь для хорошего налетчика запродана наперед, он почти всегда уверен в том, что когда-нибудь попадется.

Вот почему он может сгореть, но никогда не по-

теряет голову и не упустит случая задорого продать свою жизнь, за которую ни один человек, кроме верной марухи, не даст ломаного пятака старой императорской чеканки.

Но на этот раз Шмуэль Турецкий Барабан изменил своему обыкновению.

Он пил и с ним вся хевра пила в трактире "Олень" на Васильевском острове.

Они сидели за столом в малине, небольшой комнате в два окна, которая обычно служила для уговора о работе и где содержатель "Оленя" принимал особо важных посетителей, которые по особым причинам предпочитали малину Шпалерке или стене, к которой идут налево.

В малине стояла мягкая мебель и были раскрашены стены.

На одной стене грациозно сплетались три грации, пожилые уже женщины с суровым выражением на лицах. Эти грации в причинных местах были еще раз подмалеваны посетителями малины.

На другой стене катилась пивная бочка, на которой сидел толстый, весь в складках иностранец, опрокинувший в рот кружку с пенистым пивом.

Обычно, из опасения, чтобы не накрыл угрозыск, рядом с малиной, в узеньком полутемном коридорчике, стоял на стреме трактирный мальчишка. Теперь не было никого. Барабан, который любил пить на свободе, снял мальчишку с его поста и отворил двери настежь.

— Хевра пьет, и пусть весь "Олень" знает об этом!

За круглым столом, накрытым скатертью с княжеской меткой, на котором стояли графины с водкой, ветчина, зажаренная так, что звонко

хрустела на зубах, швейцарский сыр с дырками величиной в голубиное яйцо и маринованные грибы, круглые и скользкие, как рыбий глаз, — сидели Барабан, Сашка Барин, Володя Студент и барышни.

За стеною в трактирной зале был слышен шум, стук посуды, глухой говор, гармонисты разливались и ревели Клавочку, кто-то хохотал, свистел и топал ногами.

Здесь, в малине, пили молча, как будто делали важное дело, которое нельзя было нарушать пустыми разговорами.

Даже барышни приумолкли; впрочем, они были как будто только для того, чтобы не нарушать обычаев "Оленя".

Барабан сосредоточенно пил водку. Он был небрит и с коммерческим видом закладывал свои толстые пальцы за проймы жилета.

Сашка Барин, надевший для пьяного дня черный офицерский галстук, молча оглядывал круглый стол своими оловянными бляхами.

К полуночи пришел Пятак, как всегда, одетый под военмора.

С его приходом многое изменилось.

— Ха, братишки! — заорал он, — выпиваете? Я тоже, если говорить правду, выпил. Но только я больше через маруху пью, а вы чего? Ну ладно, коли так, так налейте и мне...

— Пфа, — он покрутил головой и объяснил одним словом: — марафет.

Барышни облепили Пятака. Он целовал одну, подталкивал другую и хватал за разные чувствительные места третью. Наконец, веселый и пьяный, добрался до стола и сел, положив ноги на

соседний стул.

— Что же это вы молчите, братишки, а? — снова заорал он. — Девочки, танцевать! Где Горбун? Горбун, сукин сын! Позовите мне Горбуна! Моментально на месте устроим Народный дом.

Одна из барышень опрометью выбежала из комнаты искать Горбуна.

Горбуном звали любимца публики, здешнего оленевского исполнителя чувствительных романсов.

— Ого, он хочет устроить здесь Народный дом, — сказал Барабан, — это — предприятие. Пятак, эй, возьми меня в компанию!

— Становись, — кричал Пятак. — Володя Студент, становись, устроим качели!

Он двинул Володю Студента плечом, стал к нему спиною и крепко сплел его руки со своими.

— А ну, кто кого перекачает? Начинай. Раз!

И Пятак присел к земле с такой силой, что Володя Студент взлетел на воздух.

В следующую минуту он сделал то же самое, и теперь Пятак, в свою очередь, болтая ногами в воздухе, изобразил качели Народного дома.

— Ррраз! — сказал Пятак.

— Два! — отвечал Володя Студент.

— Ррраз!

— Два!

— Ррраз!

— Два!

Так они поднимали друг друга до тех пор, покамест Володя Студент охнул и в полном изнеможении потребовал водки.

Пятак бросился на диван и отер пот, который катился у него по лицу градом.

— Перекачал!..

В это время покачиваясь, с важностью, которая так свойственна всем горбунам, в комнату медленно вошел любимец оленевской публики, маленький человек в длинном сюртуке с огромным горбом спереди и с волосатыми, как у обезьяны, руками.

Вслед за ним вошел огромный человек с цитрой, который как будто несколько стеснялся своего высокого роста. Это был аккомпаниатор Горбуна и его бессменный товарищ.

— А, Горбун пришел! — заорал Сенька Пятак, отнимая ото рта графин с водкой и ставя его на стол почему-то с большими предосторожностями.

— Номер второй! Горбун, исполняй "Черную розу"!

Горбун заложил руку за борт сюртука, отставил ногу назад и стал таким образом в позу.

Он для чего-то вытер платком руки, слегка поклонился и начал не петь, а говорить романс глухим, сдавленным, трагическим голосом.

Хевра слушала. Барабан сложил руки на животе, приподнял голову и моргал от удовольствия глазами.

Черную розу — эмблему печали
При встрече последней тебе я принес,

говорил Горбун, с некоторой хищностью раздувая ноздри:

Полны предчувствий, мы оба молчали,
Так плакать хотелось, но не было слез!

Он опустил голову, сложил руки на груди и за-

молчал с видом приговоренного к смерти; но тут же подался вперед, с отчаянием поглядел на всех присутствующих и продолжал:

Помнишь, когда ты другого любила...

Пятак, который успел заснуть на диване, внезапно проснулся от какого-то слова, произнесенного с шипеньем, и потребовал другой жанр.

— Стой! — крикнул он, — я дальше без тебя знаю. Братишки, пусть он нам споет "Мы со Пскова два громилы!"

— Как это два громилы? — спросил Горбун тонким голосом, совсем не тем, которым он говорил свой романс, — что вы?

— А что?

— Разве мы можем исполнить такой романс? Что ты на это скажешь, Христиан Иваныч?

Большой человек крикнул "нет" таким голосом, как будто он взял хитрую ноту, по которой настраивал свою цитру и снова замолчал.

— Не хотите? — грозно заорал Пятак, вскакивая с дивана, — не хотите, блошники? Так и х.. с вами, мы сами споем! Братишки, покажем ему, как нужно петь хорошие песни! Девочки, подтягивай! Начинай!

Он поставил одну ногу на стол, приложил руку к груди и затянул высоким голосом:

Мы со Пскова два громилы
Дим дирим, дим, дим!
У обоих толсты рыла
Дим дирим, дим, дим!
Мы по хазовкам гуляли
Дра ла фор, дра ла ла!

И обначки очищали
Им-ха!

Через несколько минут вся хевра, даже Турецкий Барабан, пела так, что в малине дрожали стены.

Вот мы к хазовке подплыли
Дим дирим, дим, дим!
И гвоздем замок открыли
Дим дирим, дим, дим!
Там находим двух красоток
Дра ла фор, дра ла ла!
С ними разговор короток
Им-ха!

Только Сашка Барин, пересевший от стола на диван, курил и молчал, поджимая губы.

К нему подсела было барышня в высоких ярко-красных ботинках, с черной ленточкой на лбу, но он оттолкнул ее и продолжал молча следить за Пятаком, который, разойдясь вовсю, вскочил на стол и, размахивая руками, дирижировал своим хором.

Барабан с тревогой посматривал на Барина:

— Ой, Сашка имеет зуб к Пятаку!

Вот мы входим в ресторан
Дим дирим, дим, дим!
Ванька сразу бух в карман
Дим дирим, дим, дим!
Бока рыжие срубил
Дра ла фор, дра ла ла!
Портсигара два купил
Им-ха!

Эй, буфетчик-старина,
Дим дирим, дим, дим!
Наливай-ка, брат, вина
Дим дирим, дим, дим!
Вот мы пили, вот мы ели
Дра ла фор, дра ла ла!
Через час опять сгорели
Им-ха!

Пятак заливался вовсю, на шее у него трепетал кадык, он обнял двух барышень и вдруг, вложив два пальца в рот, свистнул так, что у всей хевры зазвенело в ушах, а барышни бросились от него врассыпную.

— Стой! — кричал Пятак уже хрипнущим голосом, — шабаш! Кто гуляет? Хевра гуляет! Где хозяин? Давай еще номера! Танго! Хевра, братишки! Пускай нам дают танго! Народный дом! Барышни! Угощаю! Поднимите руки, кто еще не шамал!

Он позвал трактирного мальчишку, велел ему накрыть отдельный стол для барышень и повалился на диван в изнеможении.

Минуту спустя он уже расталкивал Турецкого Барабана, который вдруг впал в задумчивое и созерцательное настроение, лил пиво в фуражку Володи Студента и старался, чтобы одна из девочек изобразила собою перекидные качели Народного дома.

Из коридорчика, соединявшего малину с трактирной залой, появились, взамен Горбуна и его товарища, два новых артиста.

Это были знаменитые оленевские тангисты — Джек и Лилит — оба одетые в черное с нарочитой, прямо щегольской скромностью; он в гладкой

блузе с глубоким мозжухинским воротом, она — в простом кружевном платье с воланами и длинными рукавами.

— Тангуйте, — кричал Пятак, — аргентинское танго! Мандолину! На мой счет! Лопайте, барышни!

Из толпы, теснившейся в узком коридоре, вытолкнули худощавого человека с бойким хохолком на голове и мандолиной под мышкой.

Музыкант сел, ударил по струнам косточкой, и тангисты, почти не касаясь друг друга, приподняв головы и глядя друг другу в глаза, сделали несколько шагов по комнате, поворотились обратно, расстались, и Джек склонился перед своей подругой с удивительной для "Оленя" скромностью.

Барабан все еще с тревогой следил за Сашкой Барином.

— Ой, будет плохо Пятаку! Загнивает хевра.

— Будет! — кричал Пятак. — Теперь я! Теперь мой номер! Сушка! Барышни, позовите Сушку! Сейчас мы с ней исполним свое танго!

— Эй ты, смерть ходячая, — кричал он Джеку, — ты думаешь, я хуже тебя танцую! Сейчас мы, шут те дери, исполним такой танец...Сушка! Да где же она? Я же с ней пришел! Девочки!

Девочки почему-то молчали. Музыкант последний раз ударил косточкой по струнам и закончил танго.

Среди полной тишины Барин встал со своего места и медленно, ничуть не торопясь, подошел к Пятаку.

— Тю-тю, — вдруг сказал он, подмигнув одним глазом.

Пятак уставился на него с недоумением.

— Чего?

— Сушка-то тю-тю! — пояснил Барин, — другого кота нашла!

Должно быть, об этом в "Олене" говорили уже давно, потому что едва эти слова были произнесены, как все закричали разом.

Барышни пересмеивались. Володя Студент засвистал, музыкант с хохолком почему-то ударил по струнам.

— Что ты сказал?! — Пятак вдруг протрезвел, сделал шаг вперед и схватил Барина за руки.

— Я сказал, что Сушка твоя тю-тю. С другим котом гуляет!

— Псира!

Пятак отступил назад, нащупывая в заднем кармане штанов револьвер. Девицы с визгом посыпались от него. Барабан вскочил, готовый вступиться в драку.

— Оставь пушку! — спокойно сказал Барин, — это все знают. Что, марушечки, я правду говорю?

— Стой, не отвечай! — бешено закричал Пятак. — Если правда... Я сам! Я сам узнаю!

Он быстро сунул револьвер в карман, повернулся и выбежал из малины. Никто его не удерживал. Он пробежал трактирную залу и, бормоча что-то про себя, спустился по лестнице.

Он ушел, и все понемногу разбрелись из малины. Ушли артисты, изображавшие Народный дом, разбежались понемногу девочки, и за круглым столом остались только Турецкий Барабан, Сашка Барин и Володя Студент.

— Сволочь ты, Сашка, — сказал Барабан, — сволочь и паскудство. Ну к чему разыграл Пятака? Ведь перед работой пьем, перед делом большого

масштаба пьем, мазы.

Барин ничего не ответил.

Пили почти молча, как будто делали важное дело, которое нельзя было нарушать хохотом и пустыми разговорами.
Хевра пила и думала о том, что на завтра нужно заряжать револьверы, что можно сгореть, но нельзя потерять голову, что нужно стараться задорого продать свою жизнь, за которую ни один человек, кроме верной марухи не даст ломаного пятака старой императорской чеканки.

13

Было еще не так поздно, часов 11 или 12 ночи, когда Пятак выбежал из "Оленя". Вокруг "Оленя" стояли извозчики, на углу пьяный, ласковый матрос объяснял милиционеру, который крепко держал его за руки, устройство военно-морских судов, вокруг них собралась толпа папиросников.

Папиросники гоготали.

Пятак выбежал из трактира без шапки и вспомнил об этом только у третьего от 7-й линии квартала, и то только потому, что стал накрапывать дождь.

Пройдя несколько, он повернул в переулок. Он шел теперь, заложив руки в карманы штанов, посвистывая.

Баба, закутанная в изодранный зипун, с палкой в руках стояла у подворотни.

Пятак прошел мимо бабы и остановился посреди двора, подняв вверх голову.

Прямо над головой было небо, на котором плавало какое-то грязное белье, гонимое осенним вет-

ром, под небом — крыша, под крышей слева от водосточной трубы — окно Сушки.

Пятак выругался: окно было освещено.

— Возвратилась, стерва!

Он отыскал за углом, рядом с помойной ямой, вход (где-то высоко горела угольная лампочка, которая догорала и никак не могла догореть) и поднялся по лестнице.

Финка Кайнулайнен отворила ему двери, сообщила, что у Сушки гости, и ушла, оставив Пятака в такой темноте, что, кажется, ее можно было схватить руками.

Он чиркнул спичкой. Спичка осветила коридор, который лучше было не освещать, обиделась и погасла.

Пятак зажег другую и отыскал комнату Сушки: тоненькая полоска света проходила между дверью и полом.

Он приложился глазом к замочной скважине и ничего не увидел: либо скважина была заложена бумагой, либо кто-то сидел очень близко к двери.

Зато он услышал разговор, который постарался запомнить.

— Ты мостик через Карповку знаешь, у газового завода? Ну, Бармалеевку знаешь?

— Бармалеева? Это за Подрезовой?

— Там на углу возле мостика ты подожди. Я с Маней уговорилась, понимаешь. С подругой, которая в той хазе живет. Она тоже жалеет.

— Послушай, — заговорил мужской голос, — а что же... а как ты скажешь про меня?.. Скажи, что знакомый, или ... Или нет, скажи — Сергей Травин, она знает, кто я и все про меня...

— Да пустяки! Не все ли равно, кто? Небось, са-

ма убежит, как стреляная.

Кто-то прошелся по комнате, и Пятак снова приложился глазом к замочной скважине: он увидел широкую мужскую руку, схватившуюся за спинку стула.

— Только бы удалось, только бы удалось, черт возьми. А там я... Послушай, Сушка, а тебе за это?

— На углу Бармалеевой, мать твою так, — вдруг сообразил Пятак, — на углу Бармалеевой?

Он скрипнул зубами.

— На Бармалееву хазу капает, стерва!

Мужская рука снялась с замочной скважины, и Пятак увидел Сушку: она стояла перед комодом, над которым висело небольшое зеркальце, и надевала свою полосатую кепку.

— Боюсь я одного человека, — услышал Пятак, — да что же с вами, шибзиками, поделаешь? Надо уже вам помочь!..

Пятак в темноте передернул плечами и подкрутил острые черные усики.

— Ну, погоди же, псира! — подумал он, ощупывая нож за поясом, на котором держались его матросские штаны, — узнаешь ты, каково продавать мазов.

— Ну, теперь айда!

— А что если... она не захочет идти, когда узнает, что это я ее буду ждать... Может быть, не говорить имени, — сказать просто: один из друзей или...

— Эй, склевался ты, фартицер! Да подбодрись же! Ничего не скажу, скажу — свой человек, и никаких двадцать.

Пятак услышал короткий стук повернутого выключателя. Только что он успел отскочить и,

отбежав подальше по коридору, спрятаться за каким-то не то чуланчиком, не то сортиром, как Сушка вместе со своим собеседником вышла из комнаты. Пятак подождал две-три минуты, вылез из-за своего прикрытия, добрался до кухонной лестницы и благополучно миновал выгребную яму.

На улице под первым же фонарем он узнал в спутнике Сушки того самого человека, которого несколько дней тому назад встретил с нею в ресторане Прянова. Он вспомнил Барина и как будто снова услышал медленный и насмешливый голос:

— Сушка-то тю-тю! Другого кота нашла!

— Да ведь какого кота! Не простого... — Пятак сжал кулаки, — а лягавого.

Шел мелкий промозглый дождишка. Почти никого уже не было на улицах. Бородатые, с палками в руках, сторожа перед каждым домом вырастали из мокрого тротуара.

Сушка со своим спутником свернули на набережную Невы.

Пятак прятался за углы, в подворотни, в подъезды и шел за ними.

— Сушка продает Бармалееву хазу?! Убью лярву, своими руками убью!

Биржевой мост внезапно открылся во всю длину, как будто кто-то взял его двумя руками за фонари и разом вытянул за два передние фонаря до Зоологического переулка.

Пятак перебежал от Биржи на другую сторону и спрятался в тень, отбрасываемую маяком: он четко различил на мосту две фигуры, под светом фонаря отбросившие длинные тени на деревянный

тротуар.

В ту же минуту эти две темные фигуры сорвались с места и побежали так, как будто кто-то с оружием гнался за ними.

Пятак выбежал на мост.

Едва только он прошел несколько шагов, как услышал тяжелый, прерывистый звук цепей.

— Мост! А! Мост поднимают!

Те, за которыми он следил, перешли мост и стали спускаться к набережной с той стороны Невы.

Он побежал бегом, но не успел пробежать и двадцати шагов, как увидел, что деревянная часть моста медленно начинает подниматься.

Он остановился на одну секунду, но тут же с бешенством притопнул ногой и снова пустился бежать. Цепи скрипели, и с каждым оборотом машины мост начинал пухнуть и коробить деревянную спину.

Он, наконец, добежал до пролета, которым оканчивался разорванный надвое мост.

Под ним скрипели цепи, и видны были какие-то железные уступы, оси и визжащие блоки; еще ниже смутно блестела белесая, подслеповатая вода. Пятак остановился еще на одно короткое мгновение, увидел вдалеке темные фигуры, которые вступили уже в свет фонарей, где-то на Кронверкском проспекте, и перевел дыханье.

В следующее мгновенье он, как будто сбрасывая всю свою силу в напряженные ноги, уже летел вниз. Перед ним неясно мелькнули темные очертания машин и светлая полоса воды; он упал на носки, едва удержался на ногах и несколько мгновений простоял неподвижно, взявшись рукой за голову и только чуть-чуть покачиваясь из стороны в

сторону.

Потом он потащил было из кармана смятую папиросную коробку, нашел окурок, сунул его в рот и поискал спичек.

Спичек не нашлось; он выругался, выплюнул окурок и побежал по мосту бегом.

Сушка и ее спутник шли вдоль Народного дома. Немного погодя они свернули на Сытнинскую площадь, и больше у Пятака не оставалось никаких сомнений.

— Продала! А, хоть бы встретить кого-нибудь на Белозерской. Хоть бы Барабан знал!

Он никак не мог обдумать, что нужно делать, как предупредить эту неожиданную опасность; когда прошли Белозерскую, и он не встретил никого из мазов, он решил действовать своими силами.

Покамест он остановился в подворотне где-то за Малым проспектом, пощупал, на месте ли нож, быстро пересмотрел обойму браунинга и поднял предохранитель; он не знал, с кем ему придется иметь дело.

— У лягавого, наверное, не одна пушка в пальте!

Он потуже затянул ремень на штанах, сунул браунинг в карман и вышел из подворотни: Сушка одна перебегала улицу.

— Ах, мать твою так, уходишь!

Он, больше не остерегаясь, бросился за ней.

Сушка быстро шла по Бармалеевой. У фонаря она остановилась, закурила папиросу и пошла дальше. Она напевала ''Клавочку'':

Он сел на лавочку
И вспомнил Клавочку,
Ее глаза и ротик, как магнит,

Как ножкой топает,
Как много лопает,
Как стул под Клавочкой жалобно трещит!

Пятак вдруг остановился.

— Я тут хляю за ней, а он тем временем... Ах, курва, да что же это я!

Он бросился назад.

Никого не было на пустынной, как будто вычумленной улице.

Чернели полуразвалившиеся стены на пустырях. Дождь перестал, и сквозь разорванные тучи снова начала высовывать свой синий рог луна. Шагах в двухстах, на проспекте Карла Либкнехта, дребезжала на мокрых камнях пролетка.

Пятак пробежал до Малого и остановился; он знал, что тот, кого он искал, ждет Сушку где-нибудь недалеко. Он несколько раз прошел туда и обратно, заглядывая во все углы, во все подворотни. Никого не было.

Тогда он побежал назад, к Бармалеевой хазе.

Не успел он добраться до полуразрушенной решетки, которая окружала пустырь, как увидел. что Сушка воротилась обратно.

Он заметил, что она переоделась, сменила свою полосатую кепку на длинную шаль и шла как-то несмело, поминутно оглядываясь и ища кого-то глазами.

Пятак отошел в сторону и остановился у деревянного домишки, похожего на сторожевую будку. Справа от него виден был мост через Карповку.

Пятак вжал голову в плечи, передернул плечами и достал нож.

Женщина минуту постояла возле хазовой решетки, точно поджидая кого-то; все движения ее стали как-то неуверенны и несмелы.

Несколько минут она оставалась на том же месте, потом быстро перебежала дорогу и пошла по Бармалеевой.

Пятак пропустил ее мимо себя, вышел из-за своей засады, догнал двумя шагами, взмахнул рукой и, внезапно оскалив зубы, ударил ее ножом в спину между лопаток...

Сергей остался ждать во дворе полуразрушенного дома на Малом проспекте.

Он присел на груду камней, возле какой-то канавы, пролегавшей тотчас же за разбитой стеною.

Беловатый рассыпчатый кирпич, бесшумно раздававшийся под ногою, покрывал двор.

Сергей сидел перед надтреснутой стеною с темно-серыми пятнами, походившими на театральные рожи с изогнутыми ртами.

Какие-то пустяки все лезли в голову; очень явственно стучало сердце.

Он долго потирал лоб, стараясь вспомнить что-то необходимое, нужное сию минуту, без всякого замедления.

Это необходимое было лицо Екатерины Ивановны, которое вылетело у него из головы, из глаз, и ушло куда-то, откуда его вернуть было невозможно.

Вместо лица Екатерины Ивановны все лезли на глаза театральные рожи.

Снова пошел дождь. Он снял свою фуражку, и маленький, протертый сквозь сито дождь с уверенностью и как бы с чувством собственного достоинства стал падать на голову, круглую, как биллиардный шар.

Прошло минут двадцать, как ушла Сушка.

Надоело ждать; он вскочил и принялся ходить по двору, заглядывая в темные стекла, топча осколки стекла, разбитый кирпич.

Заброшенный сарай скривился на сторону, дверь повисла на одной петле. Сергей толкнул ее ногой, и она проскрипела ржавым басом.

Прошло еще с полчаса. Он, наконец, потерял терпение и выглянул из пустыря: никого не было видно.

Он прошел через ворота, загнул за угол и вышел на Бармалееву.

Шагов за двадцать он различил темную фигуру какого-то человека; издалека он принял его за матроса.

Человек шел по другой стороне улицы, заложив руки в штаны и как будто высматривая кого-то.

Он был без шапки, ворот матросской блузы был приподнят и, должно быть, зашпилен булавкой.

— Уж не меня ли он высматривает?

Человек в матросской блузе остановился в тени деревянного строения, которым кончалась Бармалеева улица. Немного погодя из-за решетки, окружавшей пустырь, на другой стороне улицы показалась женщина в длинной шали, накинутой на голову.

Человек в блузе пропустил ее мимо, сделал шаг за нею.

Еще минута, и Сергею показалось, что его голова оторвалась от тела и, как бы взбесившись, полетела по воздуху. Он услышал отчаянный женский крик, который он узнал, и от которого у него ушло, провалилось, упало черт его знает куда, сердце.

Он бросился бежать и, еще не добежав, увидел, что матрос наклонился над женщиной, закутанной в шаль, и качал головой, как будто с сожалением:

— Ах, так это ж не она, не Сушка!

В следующую минуту матрос исчез, как будто растаял в воздухе.

Сергей добежал и ничком повалился на землю. Еще прежде чем добежать, он знал почти наверное, что женщина, лежавшая лицом вниз возле сторожевой будки, была Екатерина Ивановна.

14

Рот был сжат и казался узким, как карандашная линия, глаза открыты, и в них еще стояли слезы — все это Сергей разглядел под светом луны, выставившей на несколько минут свои рога из-под изодранных облаков.

Он вскочил на ноги и с бешенством царапнул себя по лицу руками.

— Помогите!!

Тут же он как будто испугался своего громкого голоса, снова стал на колени и принялся для чего-то поддерживать руками запрокинутую голову Екатерины Ивановны.

Голова легко перекатывалась в руках, и через несколько минут стало казаться, что она отдели-

лась от тела.

Он снова вскочил и с испугом огляделся вокруг себя; но тут же он как будто позабыл все, что случилось, озабоченно потер лоб и прошелся так, как бы раздумывая, туда и обратно, от одного дома до другого.

— Помогите, — сказал он еще раз и вдруг бросился к Екатерине Ивановне, схватил ее, поднял на руках и понес, крепко прижимая к себе.

Он прошел, спотыкаясь и с трудом ступая потяжелевшими ногами, не более десяти шагов, как увидел высокого человека в полупальто, которое в темноте казалось женской юбкой, одетой на плечи.

Человек стоял у телеграфного столба и с нерешительным видом глядел на Сергея.

— Помогите!

Человек в полупальто повернулся и бросился бежать опрометью. На углу Малого он трусливо поглядел назад и исчез.

— Да как же это, черт возьми! Что же делать?

Сергей присел на тумбу, не выпуская из рук негибкого тела, которое вдруг показалось ему похожим на куклу.

— И голова вертелась в руках совершенно как у куклы. И глаза...

Он произнес эти слова вслух и испугался этого.

— Что ж, я с ума схожу — ведь нужно же помочь, ведь ранили, должно быть, кровь идет!

Он осторожно ощупал грудь, руки, лицо, провел рукой по спине и вдруг вскрикнул и вытащил руку.

Рука была в крови, на кончиках пальцев остались следы крови.

— Только бы донести, чтобы помочь, перевязать, остановить кровь!

Он снова вскочил и на этот раз бегом пустился бежать по Бармалеевой.

Улица зашаталась, покатилась вниз, дома, как сломанные декорации, накренились над ним, крыши заслонили небо.

Он добрался, наконец, до проспекта Карла Либкнехта и здесь под первым же фонарем снова заглянул в лицо Екатерины Ивановны.

Лицо внезапно показалось ему отвратительным — нижняя челюсть отвалилась, слюна залила подбородок, один глаз закрылся.

Он положил тело на землю, возле тумбы, и увидел, что весь испачкался кровью, — повсюду, на груди, на руках, даже как будто на подбородке были темные пятна. Он порылся в карманах, вытащил заскорузлый платок и принялся старательно вытирать руки. Пятна сразу отошли, затерлись.

— Помогите же, черт возьми, ведь нужно же перевязать сейчас же, немедленно!

Откуда-то из-за угла выплыл милиционер.

— В чем дело, гражданин?

Сергей молча вытирал руки и, оттянув край пиджака, смотрел, есть ли на нем пятна.

— В чем дело, гражданин?

— Да нет, ну, в чем же дело?.. — отвечал Сергей.

— Гражданин, в чем дело, что с этой гражданкой?

— Я не успел добежать, понимаете, как тот в матросской блузе... Я кричал, но никого не было. Один встретился было...

Милиционер быстро нагнулся к Екатерине Ивановне, дотронулся до нее рукой.

— Мертвая, что ли?

Он выпрямился, испуганно схватился рукой за кобуру, болтавшуюся у него на поясе и пронзительно свистнул.

— Да нет же, какая мертвая! Ранили, нужно помочь, перевязать, у вас должен же быть бинт под рукой, дежурный бинт, понимаете?

Второй милиционер подбежал к ним с угла Лахтинской и остановился, придерживая рукой шашку.

— Этого надо в дежурку... Мертвая.

Первый милиционер посмотрел на Сергея и взял его за плечо.

— Извозчик!

Сергей пошатнулся и попытался снять с плеча руку милиционера.

— В дежурку? В какую дежурку? Чудаки, вы думаете, это я? Поймите вы, что кто-то в блузе, я не успел добежать, как он... А я уже не мог помочь, ведь я же нес ее на себе, не мог даже поддержать голову.

Милиционер посадил его в пролетку. Он сел и продолжал говорить с горячностью.

— Карпухин, эту придется, должно быть, в Петропавловскую, — сказал милиционер.

— Поезжай, — добавил он и ткнул извозчика локтем в спину.

— Стойте, а как же она? — закричал Сергей. — Поймите же вы, черт возьми, что нужно перевязать рану!

— Сидите смирно, гражданин, — отвечал милиционер.

Сергей закинул голову, вытянул шею и закрыл глаза.

— Оружие есть? — вдруг спросил милиционер.

— Ни о чем я с вами не буду говорить, — раздраженно сказал Сергей, если вы могли оставить без всякой помощи... Куда вы меня везете?

— Оружие есть? — с испугом повторил милиционер.

Он вытащил револьвер одной рукой, а другой мельком ощупал одежду Сергея.

— А-вввв, — вдруг завыл Сергей, — не везите меня, говорю вам, это тот, в матросской блузе... Разве я стал бы... Да я ее искал по всему городу...

Извозчик остановился.

Милиционер вытолкнул Сергея и сам соскочил с пролетки.

— Идите вперед!

Они поднялись по лестнице и прошли через полутемный, захарканный коридор.

В коридоре Сергею, как час назад у Сушки, вдруг нестерпимо захотелось спать. Он потянулся, зевнул.

— Да вить ни продавали ничиво, — сказал из угла чей-то густой голос, — ничиво, ни капильки, вить гли сибя гнали, исключительно гли сибя, ей-богу.

Милиционер оставил Сергея в коридоре, а сам скрылся за дверью.

— А что до того, что гражданину Коврину, так вить кливита, ей-богу, все кливита, — продолжал голос, — гражданин Коврин, он и непьющий, он совсем у бабки покупал, он же сволочь, ей-богу. Он рази может так пить?

Милиционер вернулся снова, взял Сергея за плечо и молча втолкнул его в комнату.

Комната была какая-то клоповая, задрипанная

и вся увешанная инструкциями и приказами.

За столом сидел участковый надзиратель, небольшой, коренастый, похожий немного на калмыка, впрочем, с вежливым и даже участливым лицом.

Он писал что-то с деловым видом, старательно выводя буквы.

Сергей прочел вверх ногами:

— Протокол.

Участковый надзиратель поднял на него глаза и спокойно промолвил:

— Как ваша фамилия, гражданин?

— Да нет же, не в том дело, как фамилия. Ведь убили ее, понимаете! Или нет, еще может быть, и не убили!

Сергей вдруг взволновался и двинулся куда-то; но не успел он и на шаг отойти от стола, как участковый надзиратель повторил:

— Как фамилия?

— Травин.

Сергей побледнел и ударил себя в лоб рукой.

— Что я сделал! Ведь Травин же, в самом деле Травин!

Но тут же добавил, как будто назвать имя было совершенно неизбежно, когда названа фамилия.

— Сергей. Сергей Травин.

— Сергей Травин, так, — промолвил надзиратель. — Документы имеются?

— Документы? Да нет, у меня и не может быть никаких документов. Ведь я...

"Только бы не сказать, не сказать, не сказать, что бежал, что скрываюсь".

— Что вы?

— Нет, ничего.

Надзиратель медленно отодвинул от себя протокол и уставился на Сергея с вниманием.

— Травин? Сергей Травин?

Он помолчал с минуту, двинул пером по бумаге и вместо того, чтобы приказать отвести арестованного в дежурку, неожиданно для себя самого продолжал спрашивать.

— Ну, хорошо. Так, значит, документов у вас не имеется. Так. А как зовут женщину, у трупа которой вы были задержаны?

Слово "труп" показалось Сергею похожим на деревянную круглую колотушку, которой разбивают мясо.

— Труп! Да нет же! Я еще когда ехали на извозчике, хотел сказать, что бывают такие случаи, когда оживляют, понимаете ли, оживляют! Каким-то образом сжимают в руке сердце, и оно начинает биться.

— К сожалению, труп, — вежливо сказал участковый надзиратель, — так как же зовут эту женщину?

— Молотова, Екатерина Ивановна.

— Молотова, Екатерина Ивановна, — записал надзиратель, — какая профессия и сколько лет?

— Не знаю, сколько. Стенографистка.

— Стенографистка, отлично; а где же она проживает, вам известно?

— Да ее украли, понимаете? Продали ее этому Барабану! То есть я не уверен, что именно ему, именно Барабану, но думаю, да, думаю, что ему!

Надзиратель вскочил и во все глаза посмотрел на Сергея.

— Ба-ра-ба-ну! Какому Барабану?

— Ну да, Барабану! Он налетчик, вы должны

были знать это имя! Я хотел даже одно время обратиться к вам, но...

Надзиратель сел с треском и, разбрызгивая чернила, с ужасной быстротой принялся писать что-то.

Через минуту он снова обратился к Сергею, стараясь говорить вразумительно и спокойно.

— Гражданин, успокойтесь. Успокойтесь, гражданин! Скажите мне, известно ли вам местопребывание этого человека, которого вы назвали Барабаном?

— Известно! Впрочем, нет! Не совсем известно. Должно быть, где-то на Бармалеевой. За Малым проспектом. Там у них эта... как называется?.. Ну же!.. Да! Хаза.

Надзиратель снова подскочил.

— Хаза?!

— Ну да, хаза! Там они держали ее, понимаете ли, ее, Екатерину Ивановну. Я искал ее по городу больше недели, бегал по притонам, по ночлежным домам, наконец нашел, должен был увидеть, увести с собой, и вот... Вы знаете ли, я еще не успел добежать, как он подошел к ней, два шага, не больше, и ударил в спину.

— Кто он?

— Не знаю, кто! Какой-то в матросской блузе, ворот зашпилен.

— Подождите... — Надзиратель снова принялся выводить аккуратные буквы. — Так... искал стенографистку Молотову... так... подбежал человек, одетый, по показаниям задержанного, в матросскую блузу, и ударил в спину...

— Каким оружием ударил?

— Не знаю. Вся спина... в крови.

— А откуда же вам известно, что эта женщина была задержана у себя налетчиком Барабаном?

— Откуда известно? Да из письма же! Из письма, которое я нашел у нее в комнате, в доме Фредерикса.

— Где? Так! В доме Фредерикса! Имеется у вас это письмо?

В эту самую минуту Сергей вспомнил, что письмо, которое он взял у старушки из дома Фредерикса, подписано фамилией Качергинского, а вовсе не прозвищем Барабан.

— Имеется у вас это письмо?

— Н... нет. Я его оставил...

— Где?

— Дома.

— Позвольте узнать, — участковый надзиратель ласково наклонился к нему, — где вы имеете местопребывание? Я прошлый раз позабыл об этом спросить.

— Я? Я тут остановился, на Литейном.

— Номер дома позвольте?

— Номер дома? — Сергей назвал первую попавшуюся цифру, — двадцать три.

— Литейный двадцать три, — с готовностью как бы подтвердил надзиратель. Он пересмотрел протокол: — Значит, вы показали, что разыскивали эту самую стенографистку и, наконец, узнали, что она находится в помещении, занимаемом Барабаном на Бармалеевой улице. Так. А от кого же вы это узнали?

Сергей вдруг посмотрел на него со злобой.

— Послушайте, оставьте меня! Я совсем разбит, я больше не могу, честное слово, не могу выдержать. Кроме того, я не скажу вам, от кого я

это узнал. Я дал честное слово.

— Нет, вы не волнуйтесь, пожалуйста, — сказал надзиратель, — может быть, вы курите? Разрешите, я вам предложу папироску. Так. Значит, дали честное слово. Так и запишем: дал честное слово.

Он немного помолчал и потом продолжал спрашивать, сам закуривая папиросу.

— А где же вы были в момент совершения убийства?

— Я? Недалеко! Шагах, может быть, в двадцати, не больше. Я ждал ее, понимаете ли, один человек устроил это, чтобы она вышла, ну бежала, что ли, оттуда, из хазы, ночью. А меня оставили ждать на углу Малого.

— Так, так, так. Стало быть, эта самая хаза-то на Бармалеевой за Малым. Запишем... гражданин Травин... Травин, экая знакомая фимилия... н-ну, ладно, так... Травин показал, что в момент совершения убийства он находился в двадцати шагах, на углу Малого проспекта... А вам и видеть его так же случалось?

— Кого?

— Да этого самого Барабана.

— Да нет же. Я же говорил, что из письма, только из письма о нем знаю.

— А других прозвищ, кроме Барабана, не знаете?

— Знаю, кажется, его фамилию... Там было еще одно письмо... впрочем нет, просто говорили, что фамилия Качергинский.

— Качергинский?

Участковый надзиратель даже потемнел, кровь прилила к лицу.

Он вскочил и выбежал в соседнюю комнату.

— Оперативный отряд! Да! Кутумова! Да, да!

Сергей посмотрел на стол, заваленный бумагами, на стены в клоповых запятых. Позади него, засунув руку за пояс, стоял и таращил глаза молодой безусый милиционер.

— Много, да, да, много, опасный налетчик, — говорил в соседней комнате надзиратель, — а это уже как вам будет удобно, товарищ! Проверьте, да, разумеется, проверьте, потому что сведения случайные.

Он вернулся и снова сел за стол.

— Так. Отлично. А вот, между прочим, вы упомянули о том, что эта самая стенографистка, которую убили, каким же образом она попала на Бармалееву улицу?

Сергей отвел глаза от клоповой стены, встрепенулся и снова начал говорить, говорить с убедительными жестами, наклоняясь через стол к участковому надзирателю.

— Как это, каким образом? Не знаю. В том письме, которое я достал, только приглашенье занять место, понимаете ли, место стенографистки, ведь стенографистка она отличная, ну и это письмо подписано Качергинским. Я потому и стал догадываться, что ее украли, понимаете, ведь она к себе домой не являлась больше двух недель, и это там, на Лиговке, в милиции должно быть известно.

— Так. Вероятно, известно. А вы как же, гражданин Травин, давно уже живете в Петрограде или приехали только для того, чтобы разыскать эту стенографистку?

— Я? да нет, я... приехал сюда. Я не живу здесь постоянно.

— А где же вы проживаете постоянно?

Сергей замолчал. Надзиратель постучал косточками пальцев по столу и повторил вопрос.

— Я приехал из Тамбова, — сказал, наконец, Сергей, — да, из Тамбова.

— Ах, из Тамбова? Так. Запишем: из Тамбова. А какого числа вы приехали?

— Недели две или три, не знаю. Да не все ли равно, какого числа, вот вы спрашиваете о пустяках, а я мог бы пока помочь раненой.

— Убитая уже отправлена в Петропавловскую больницу, — сказал надзиратель, — вы можете быть на этот счет совершенно спокойны, гражданин Травин! Ах да! Травин, именно Травин!

Он пощипал складки между бровями и задумался, как будто стараясь припомнить что-то.

Сергей посмотрел на него в упор и вдруг ему снова показалось, что его голова полетела по воздуху, а тело падает к ногам безусого милиционера.

Надзиратель встал и прошелся по комнате туда и назад.

— Поди-ка, позови ко мне товарища Поппе, — сказал он милиционеру.

Тот вышел и через минуту явился с маленьким человечком в штатском платье.

— Товарищ Поппе, у вас имеется сообщение П-ого Гепеу о задержании бежавшего оттуда арестанта?

— Да-с, — отвечал маленький человек в штатском.

Сергей закрыл глаза: все рухнуло, он стоял в каком-то необыкновенно узком коридоре и дрожащими руками держался за трещину в стене, за клоповую запятую на обоях.

— Товарищ Поппе, — снова спросил надзиратель,

— вы не помните, как фамилия этого арестанта?

— Нет-с, никак не припомню сейчас, — отвечал человечек в штатском.

— Так будьте добры, разыщите-ка мне эту бумажку и принесите сюда.

Надзиратель снова закурил и принялся снимать со своей форменной куртки пылинки, волоски.

— Так вы приехали из Тамбова? М-гм. А как же случилось, что с вами нет никаких документов?

Сергей даже и не слышал, о чем его спрашивают.

— А чем же вы занимались в Тамбове?

Человечек в штатском принес бумажку и подал ее через стол квартальному надзирателю.

— Мыг, ымыг, мыни, мыним, — прочел тот, — так... предлагается вам... Сергея Травина... мыгы, мыгым, мыгым, — так, задержать...

— И подписи, — сказал он, значительно поглядев на Сергея, — и надлежащие подписи. Так значит...

Он замолчал на мгновенье.

— Так значит, вы арестованы. Ничего не могу поделать. М-да. Это вы самый и есть бежавший арестант. Что вы на это скажете?

Сергей отвернулся от него.

— Ничего вы мне на это не скажете, — с удовлетворением сказал надзиратататель, — а ведь оригинальный, честное слово, оригинальный случай!

15

— К сожалению, — сказал приказчик, ласково глядя на Пинету, вам придется переменить голову. У нас нет ни одной фуражки, которая подходила бы к вашей голове.

— Мама, неужели придется переменить голову? — спросил Пинета.

— Здесь нет ничего такого экстраординарного, — отвечала мама, — мне известны даже такие случаи, когда меняли не только голову... но и другое. Да, да, нечего смеяться, — и другое.

На улицах огромные каменные тумбы и свет снизу, через какие-то особенные стеклянные решетки.

Мама вела Пинету за руку по улицам, в небе качалась круглая голова, похожая на ярмарочные воздушные шары.

Снова магазин.

— Будьте так добры, гражданин, — сказала мама, почему-то раздувая ноздри, — подходящую голову. Видите ли, дорос до седых волос и теперь не подходит фуражка.

"До каких седых волос? — подумал Пинета, — я же вчера, я же третьего дня родился".

Приказчик принес голову какого-то турка или перса. Голова походила на утиное яйцо.

— Вот, пожалуйста, подходящего размера.

— Да, это подходящего размера, — определила мама.

— Мама, как же это, ведь это какой-то турок! Не могу же я в самом деле менять голову на голову какого-то грязного турка!

— Никакие не турки, — отвечала мама, — пожалуйста, заверните мне эту голову.

— Прекрасная голова, — заверил приказчик, — голова масседуан, агратан, за пять копеек с бархатом. Вы будете довольны, уверяю вас!

Снова улицы, улицы, улицы.

"В чем же, черт возьми, дело, — подумал Пинета,

— зачем же менять голову! Черта с три, ведь можно же переменить фуражку".

Улицы исчезли. Потолок и узкое окно мелькнули перед ним, и он снова закрыл глаза.

Кто-то постучал в двери: раз, два, три!

— Войдите! — закричал Пинета хриплым со сна голосом.

Он провел рукой по лбу и, наконец, очнулся.

— Кто там! Войдите!

Никто не входил. Пинета прислушался: стучали в соседнюю дверь.

Должно быть, никто не открывал, потому что спустя несколько минут Пинета услышал мужской голос.

— Откройте же. Откройте же, наконец!

— Это Барабан, — догадался Пинета.

— На одну минуту, — говорил Барабан, — для делового разговора, честное слово, для делового разговора.

— Да откроешь ты или нет, стерва! — вдруг заорал он, разозлившись.

Пинета снова закрыл глаза; его как будто качало из стороны в сторону; сквозь сон он услышал, как дверь трещала под ударами.

— Ее здесь нет! — закричал Барабан. — Убежала? Выпустили? Хамы, разбойники!

Перед Пинетой вырезалось четкими буквами: убежала.

Он тихонько повторил про себя: "убежала" — попытался приподняться и сесть на постели, но снова со стоном упал назад и как будто ушел в темную комнату без окон и дверей, куда уж никак не мог проникнуть даже громкий человеческий голос.

Второй раз Пинета очнулся часов в шесть утра. Кто-то камнем бросил в стену его комнаты. Немного погодя тот же звук повторился с большей силой.

— Стреляют, что ли?

Он сполз с постели и, держась руками за все, что попадалось на пути, добрался до двери, хотел постучать, но потерял равновесие и свалился на пол.

Тут же на полу он от боли с силой вытянул ногу; нога пришлась прямо в дверь, и дверь отворилась.

"Забыли запереть, — подумал Пинета, — должно быть, все разбежались".

Он прополз несколько шагов по коридору и добрался до соседней комнаты, той, которую раньше занимала его соседка.

И здесь дверь была отперта. Пинета встал, держась рукой за стены, добрался до окна и расплюснул нос о стекло.

Он увидел во дворе человека, который лежал на земле, за грудой камней.

На нем была шинель с красным воротником и фуражка с красным околышем.

Воротник и околыш в одну минуту объяснили Пинете положение дел.

Человек поднимал вверх голову и старательно целился из винтовки по нему, Пинете.

Раз! — стекло разлетелось со звоном.

Пинета, шатаясь, отошел в сторону и сел на стул.

Разбитое стекло еще долго звенело у него в ушах каким-то особенным звоном...

Часов в шесть утра Пятак, обшарив все блатные места и не найдя никого из своей хевры, вернулся назад, вбежал во двор, бросился в подвал, влетел вверх по лестнице и плотно задвинул за собой тяжелый засов.

Он остановился посреди кухни и выругался по матери.

— Мильтоны! Мильтоны идут. Вставайте!

Маня-Экономка стояла перед ним в одной рубашке и тряслась от страха.

— Барабан здесь? Да говори же ты, сволочь! Барабан!!

Пятак выскочил в коридор и лицом к лицу столкнулся с Барабаном.

— Где? Откуда идут?

— С Большого! Чуть не сгорел! Поздно! С Газовой заложили!

Барабан хмуро посмотрел на него и сложил было губы, чтобы свистнуть.

— Стой! А с Карповки?

— Черт его знает, Карповку! Окружают!

Барабан свистнул.

Он свистнул не напрасно; дом, в котором находилась хаза, стоял в самом конце Бармалеевой улицы.

Слева можно было уйти по Газовой, справа по набережной Карповки; если оба выхода были заложены, оставалось пробираться через пустыри на переулок. Барабан выбросил из кармана кожаный портсигар и с яростью схватил папиросу зубами.

— Маня, — сказал он, — Маня, беги через пустыри на переулок. Посмотри, есть ли там мильтоны и бегом возвращайся назад. Что у нас есть?

— А! — закричал он вдруг, ударяя по столу ру-

кой с такой силой, что вся рука налилась кровью.
— У нас мало... У нас мало патронов!

Он замолчал и оглядел всех, кто был в комнате. Барин, только что вставший с постели, одетый, как всегда, так, что ни один крючок его офицерского кителя не оставался незастегнутым, был немного бледнее, чем обычно.

Он чему-то улыбался и крутил толстую, как шпингалет, папиросу.

Пятак, отдышавшись, прилаживал к окну оторванный ставень.

Володя Студент стоял отвернувшись, пристально разглядывая какую-то царапину на руке.

— Ну, — сказал Барабан, сжимая руки так, что на ладонях остались овальные следы от ногтей. — Ну! Теперь выбирать! Теперь уже выбирать! Что же? Отстреливаться или сдаваться?

Барин поднял глаза и с презрением пыхнул папироской.

Пятак заложил руки в штаны и выругался.

Студент обернулся, двинулся было куда-то, но остался на месте.

— Значит, — сказал Шмерка и замолчал. Он глубоко вздохнул и вытащил из кармана револьвер.

— Пятак, ты будешь стоять справа, там, где лежит этот мальчишка! Барин и я — в столовой.

— Студент, ты, — Барабан схватил его за руку и дернул к себе, — да ободрись, малява! — Ты стреляй из кухни.

— Ну! — повторил он, — что она не приходит, эта стерва?

— Ну!

Пятак отодвинул ставню и заглянул в окно.

— Идут.

Еще через две минуты в дверь застучали.

— Отворите! Милиция!

Пятак длинно и мастерски выругался.

Барабан подошел к самой двери и крикнул:

— Уходите вон, хамы!

Пинета все покачивался на стуле из стороны в сторону.

Он качался с закрытыми глазами, как мусульмане, когда они творят свой намаз.

Он был сильно избит, руки и ноги горели, как будто их со всех сторон облепили горчичниками, в голове звенело.

Кто-то закричал позади него:

— А, фай, здравствуй! Ну что, отдышался?

Пятак подбежал к окну, глянул и отскочил назад в ту же минуту.

— Вот тебе, баунька, и Юрьев день, — проворчал он, — чуть ли не целую бригаду притащили, бездельники!

— Это вы о чем... говорите? — пробормотал Пинета.

Он говорил как будто про себя, но Пятак услышал и обернулся.

— Что, брат!! Амба! Амба, братишка! Пой отходную! Гореть!

И в подтверждение того, что дело — амба, что придется гореть, пуля с треском ударила в оконную раму.

— Шалишь, лярва, — яростно ворчал Пятак, тоже как будто про себя, — не дадимся, елды! Не возьмешь!

Он схватил с кровати подушку и заткнул ею еще раньше разбитое пулей окно.

Бережно вытащив из кармана обойму от браунинга, он принялся вщелкивать в нее патроны.

Набив обойму, Пятак стал на колени перед окном и приподнял снизу подушку.

Подоконник служил ему опорой, он просунул браунинг между подушкой и рамой и начал ту работу, которую каждый налетчик считает нужным выполнить перед смертью.

Пинета творил свой намаз и думал: ”Бригада... Наверное, угрозыск”.

Он написал на стуле: угрозыск, и прочел назад — ”ксызоргу”.

— А налетчиков? Один, два, три, много четыре. Плохо!

Пятак отстреливался; глаза у него заблестели, волосы свалились на лоб; он стрелял из браунинга; запасной наган торчал у него из кармана штанов.

”Плохо, — думал Пинета, — убьют! Вот сволочи! Бригада! Все на одного, один на всех!”

Он кое-как встал, подошел к Пятаку сзади и положил руку на плечо:

— Послушай, — сказал Пинета довольно тихим голосом, — дай-ка мне второй револьвер! Черта ли они на нас целой бригадой нападают!

Пятак обернулся к нему и рассмеялся, несмотря на то, что пули били вокруг него в стену одна за другой.

— Фай, честное слово, — вдруг весело закричал он, — я говорил, что фартовый парнишка!

Пуля со звоном ударила в раму, и новое, верхнее стекло посыпалось в комнату.

Пятак отбежал, вытащил из кармана наган и протянул его Пинете.

— Помогай, братишка! Да что уж, все равно гореть! Х.. на кон, братишка, тут и он — Антон! Гореть!

Пинета заглянул во двор; теперь уже не один, а человек двенадцать в фуражках с красным околышем залегли за камнями, в пустыре, недалеко от остатков кафельной печи, которая как будто молилась день и ночь, подняв к небу обломки труб, похожие на руки.

Только винтовки и фуражки кое-где торчали из-за камней.

Высокий человек в овальной шоферской фуражке бегал между ними, распоряжаясь, должно быть, осадой хазы.

Пинета долго целил в этого человека из своего нагана, но наган отказывался повиноваться.

Он нажимал курок по-всякому — и указательным, и средним пальцем, и двумя пальцами сразу, — наган не стрелял до тех пор, покамест Пятак не крикнул, что нужно прежде отвести курок. Пинета отвел курок и снова прицелился в овальную шоферскую шапку.

Рука у него дрожала, он никак не мог навести мушку; наконец навел. Человек в овальной шапке перевернулся на одном месте, упал, тотчас же вскочил и остановился неподвижно, как будто его тут же вбили ногами в землю. Потом снова упал.

Один из милиционеров выполз из своей засады, схватил его за плечи и, опрокинув на себя, потащил в сторону.

На месте шоферской шапки через две-три минуты появился человек в полной форме милиционе-

ра с портупеей через плечо.

— Их тут сколько угодно и еще два, — пробормотал со злобой Пятак.

Пинета в недоумении сел на стул и опустил вниз руку с наганом.

Ножка у стула надломилась, он прислонился плечом к стене, измазал пиджак известкой, озабоченно почистил его и снова подошел к окну.

— Эй, поберегись, братишка! — крикнул Пятак.

Последние остатки стекол посыпались в комнату.

— Залпом стреляют, бездельники!

Пятак вынул из браунинга пустую обойму и снова начал набивать ее пулями, которые он тащил теперь прямо из кармана штанов.

Набив обойму, он вывернул карман и яростно сплюнул.

— Пропало наше дело, братишка! — крикнул он Пинете. — Во, брат! — он повертел в руке обойму, — последняя!

— Наплевать, отобьемся, — отвечал Пинета, не вставая, впрочем, со стула и даже не поднимая руки с наганом. Все это — и маленькие люди, спрятавшиеся на дворе за грудой камней, и свист пуль, и воронки на стенах, и Пятак, вщелкивающий патроны в обойму, — казалось ему какой-то игрою — в хоккей или другой игрой с замысловатым названием, которое он никак не мог припомнить.

— Хо, хо! — закричал Пятак с восхищеньем, — отобьемся? Ого! Вот так парнишка! Отобьемся, говоришь? Отобьемся так отобьемся!

Тут же он со злобой скривил губы, быстрым движеньем подтянул штаны и огляделся вокруг

себя почти с отчаяньем; бежать было некуда.

Оставалось одно: снова стать на колени перед окном, просунуть браунинг между подушкой и рамой и до последнего патрона делать ту работу, которую каждый хороший налетчик считает нужным сделать, прежде чем сгореть и закурить свою последнюю папиросу.

Барабан и Сашка Барин отстреливались от мильтонов со стороны Бармалеевой.

Комната, которую Барабан назвал столовой, ничем не напоминала столовую; даже обеденного стола в ней не было.

На дверях висели изодранные суконные портьеры, в углу стояла кирпичная печка, рядом с нею разбитый рояль, на почерневшем от дыма потолке было написано зонтиком или палкой "Лохматкин хляет", у окна, немного отступая вдоль по стене, Барабан и Сашка Барин с двумя наганами и одной винтовкой держались против отряда милиции.

Внизу, за обломками решетки, когда-то окружавшей дом, засели два десятка людей с винтовками, которые могли стрелять с утра до вечера и до нового утра беспрерывно.

Они курили, смеялись и не торопясь играли свою игру, в которой им вперед отдавалось 24 фигуры. У них были жены, дети и до 12-ти часов свободного времени ежедневно.

Против них с третьего этажа с двумя наганами и одной винтовкой защищали себя двое людей, у ко-

торых не было ни жен ни детей и на всю остальную жизнь оставалось очень мало, не более трех часов времени, которое измерялось количеством патронов, а не часовой стрелкой.

Барабан был спокоен так, как будто еще не прошли далекие времена, когда он готовился быть раввином, как будто он сидел за столом в пятницу, а не отстреливался от целого отряда милиции.

Время от времени он задумывался и начинал напевать про себя какую-то песню.

Он напевал:

Соня на балкон стояла
Ун ди ших гешмирен,
Вот подходит миленький,
Зовет ее шпацирен.

В этом месте он стрелял, внимательно вглядывался, как будто желая увидеть, достиг ли его выстрел цели, и продолжал петь, качая головой:

Я по-русски не говорю,
Только по лошн койдеш,
Я с тобой гулять поеду
Только на один хойдеш.

Он заглянул в окно и закричал Барину, который в ту минуту прицелился, выбрав чей-то неосторожный околыш для своего нагана:

— Стой, Сашка!

Барин опустил руку, и оба услышали довольно звонкий голос, который кричал снизу, должно быть из-за решетки, служившей прикрытием для осаждавших.

— Прекратите стрельбу! С вами хотят говорить!

— Ого! — сказал Барабан, — с нами хотят говорить? Что такого хорошего скажут нам мильтоны, а?

Он крикнул чуть-чуть охрипшим, но веселым голосом:

— Ну, говорите, мы вас слушаем, вояки!

— Прекратите стрельбу! С вами будут говорить! — кричал тот же голос.

Должно быть он кричал уже давно, потому что еще трижды повторил ту же самую фразу, прежде чем кричавший услышал голос Барабана:

— Ну, ну, довольно уже кричать! Мы не стреляем... Халло, мы вас слушаем! — вдруг заорал он, совсем развеселившись.

— Пятнадцать минут на то, чтобы сдать оружие, — долетел до них уже другой, хрипловатый, но твердый голос. — Если вы сдадитесь добровольно, то будете, согласно законам, отданы под суд, в случае дальнейшего сопротивления вы будете расстреляны на месте. Сопротивление бесполезно! Сдавайтесь!

— Они нам обещают так много, — сказал Барабан, — что можно лопнуть, только представляя себе это удовольствие! Что ты на это скажешь, Сашка?

Барин обратился к нему и так скривил губы, что не оставалось никаких сомнений в том, как он относится к предложению осаждавших.

— Болтовня! — коротко сказал он, перевернув несколько раз барабан револьвера и пересматривая пустые гнезда. Шмерка вдруг задумался.

— Послушай, Саша, а может быть до суда удастся...

— Нам ничего больше не удастся!

— Так значит...

Шмерка снова остановился, но тут же подбежал к окну и с силой ударил кулаком по оголенной раме.

— Слушайте вы, герои! Что вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы мы сдали вам оружие? У нас так много оружия, что вам не увезти его на двенадцати автомобилях!

— Отданы под суд, — вдруг перездразнил он, — ваши законы! По этим законам мой сын, если бы у меня был сын, уже семь лет читал бы по мне кадиш! По этим законам я уже двадцать раз отправился бы налево! Что касается до того, что мы будем расстреляны на месте, то вы можете быть таки да, уверены, что кое-кто из вас отправится вместе с нами.

Он обернулся к Сашке Барину и улыбнулся ему лицом, которое стоило закрыть обеими руками.

Но в ту же минуту он снова оборотился к окну и закричал, топнув ногой и ударяя кулаком по подоконнику:

— Гов-ня-ки!

Пятак расстрелял последнюю обойму. Он вскочил с колен, рукавом вытер запотевшее от напряженья лицо и обратился к Пинете:

— Ну, братишка, ты что-то сдрейфил. Отдай-ка мне наган.

И он несколько раз перевернул барабан револьвера, который Пинета молча отдал ему: в нагане застряли еще две пули.

Пятак вышел из комнаты и притворил за собой двери.

В кухне, с револьвером в руках, валялся Володя Студент, который был годен теперь только на то, чтобы пугать ворон на огороде. Глаза застеклились и видели такую посую хазу, которую не откроет ни один лягавый, даже съевший собаку на своем деле.

Он защищался до последнего патрона. Револьвер был пуст.

Пятак оттащил его в сторону и, несмотря на то, что пули начали уже ударять вокруг него в стены, сел у окна и положил голову на руки.

Так он сидел минут десять, до тех пор покамест его как будто подтолкнул кто-то в подбородок. Он поднял голову: по двору вдоль стены шли, крадучись, двое милиционеров с винтовками в руках; один поднял голову, присел и шмыгнул в подъезд. Подъезд вел на черную лестницу.

Другой остановился, махнул товарищам, которые толпились за углом под аркой.

Еще двое вышли из-за угла и, прижимаясь к стене, стали переходить двор.

Пятак посмотрел на пустые гнезда своего револьвера и скрипнул зубами.

Он выбежал из кухни в коридор и крикнул:

— Барабан, с кухни хляют!

Потом осторожно подкрался к двери, медленно, без скрипа отодвинул засов, на цыпочках отошел в сторону от двери и остановился в выемке, где висели кухонные тряпки и всякая дрянь.

Ждать пришлось недолго: через несколько минут он услышал на лестнице шаги.

Дверь отворилась, в кухню просунулись сперва винтовка, потом лицо человека, честно зарабатывающего свои 44 рубля в месяц.

Лицо обвело кухню глазами, посмотрело на Володю Студента и внезапно рванулось к двери.

Пятак выждал минуту, когда милиционер повернулся к нему спиной, выстрелил и бросился вниз по лестнице. Он свалил ударом ноги в чувствительное место другого милиционера, встретившегося ему внизу у выходной двери и выбежал во двор.

Со всех сторон, из подворотни, из-за угла, из второго двора вдруг выплыли и двинулись на него люди с винтовками.

Он выстрелил наугад и молча побежал к воротам. Уже в самых воротах на него насели, сбили с ног и прикладом винтовки вышибли из него всякую способность что-либо соображать и вместе с этой способностью мысль о том, что в нагане не осталось больше ни одного патрона.

Он очнулся на извозчике с окровавленным лицом и скрученными на спине руками. По обеим сторонам его сидели милиционеры; оба внимательно следили за каждым движеньем Пятака.

На улицах начиналось движение, бегали трамваи, розовые арбузники раскладывали свои тележки.

Пятак помотал головой и сплюнул.

— Э-эх, мать твою в сердце, сгорел!

Шмерка Турецкий Барабан больше ничего не пел о любовных похождениях Сони и стрелял теперь из винтовки. Сашка Барин с пустым наганом, который годился теперь только на то, чтобы забивать им гвозди, бродил по комнате и обсуждал план действий. План был прост как карандаш.

— Барабан, — сказал он, останавливаясь и закладывая руки за спину, — стой, довольно стрелять!

Барабан обернулся к нему.

— Можно смыться?

— Э, брось, какое там смыться! Дай винтовку!

— Закуриваешь?

— Н-нет, — неопределенно ответил Сашка Барин и взял винтовку.

Он еще немного побродил по комнате, постучал прикладом об пол, заглянул в дуло.

Винтовка весила 11 фунтов и была той самой дальнобойной линейной винтовкой, о которой узнает каждый новобранец на вторую неделю своей службы.

Он поднял эту дальнобойную винтовку и щелкнул затвором.

Барабан подошел к нему и положил руку на плечо.

— Сашка!

— Э, брось, — медленно отвечал тот, — что ты, в самом деле, филонишь?

Он поставил винтовку между ног, как будто собирался встать на караул перед Барабаном, и немного присел для того, чтобы дуло пришлось как раз между кадыком и подбородком.

Барабан отвернулся, его затрясло, ударило в пот. Барин потянул руку вниз, ощупал затвор, потом ухватился за курок.

В ту же минуту комната задышала шумом и оборвалась в бездну. Перед самым его лицом с ужасным шумом разорвался маленький ослепительный шарик, похожий на глаз.

Кто-то сверху ударил по голове, и боль от удара волнами прошлась по телу, сдавила грудь и пробкой заткнула горло...

Он лежал, грянувшись лицом об пол и подобрав

под себя винтовку.

Барабан опустил голову; у него перехватило горло, и он не мог проглотить слюны, которая, как склизкая глиста, двигалась под высохшим языком. Он присел на пол и начал тащить из-под трупа винтовку.

Пятак закричал что-то из коридора, немного погодя выстрелили совсем близко, за стеной, — он даже не обернулся к двери.

Винтовка была крепко зажата посиневшими пальцами. В ней застряли еще два патрона. Он постоял, подумал, выронил винтовку из рук, подошел к окну и повалился животом на подоконник.

На дворе суетились, бегали туда и назад милиционеры.

Барабан посмотрел вниз, рыгнул и засмеялся.

— Халло! — крикнул он, размахивая руками. — Хазейрим! Берите меня! Целуйте меня под хвост! Теперь я вижу...

Он перевалился через подоконник, как толстая жаба, слетел вниз и упал на кучу мусора возле помойной ямы.

Здесь он открыл глаза, увидел небо, землю, пять револьверов, поискал в кармане портсигар и докончил свою мысль:

— Теперь я вижу, что, может быть, лучше всего, если бы я таки стал раввином!

1924 год.

Посвящается
Лидии Кавериной

ХУДОЖНИК НЕИЗВЕСТЕН

И они подивились уму и безумию этого человека.

Сервантес. «Остроумно-изобретательный идальго Дон-Кихот Ламанчский».

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ, «ЗА КОГО ТЫ ГОЛОСУЕШЬ, УЧИТЕЛЬ?»

1

Вор, гулявший по Гостиному двору, остановился у окна ювелирного магазина, наблюдая за курчавым томным купцом, который стоял за прилавком, как кукла в паноптикуме, — самодовольный, бледный, с золотым медальоном в руке, далеко высунувшейся из тугой манжеты: «я бы хотел его убить, а лавку ограбить».

Шли, подталкивая друг друга, полотеры и несли ведра на швабрах, — это были запачканные охрой штандарты их ремесла.

Девицы соскочили с трамвая, хохоча, переглянувшись с матросом, прыгнувшим вслед за ними в толпу.

Узкоплечий, прямой человек в высокой шляпе проехал на извозчике, лицемерно улыбаясь, держа на коленях портфель.

Проститутка бережно вела пьяного за угол, где нищие стояли на блестящих, грязных камнях.

«Вот, выпил, теперь взял девку, она хорошая, здоровая, все будет, как у людей».

Архимедов остановился и стукнул палкой о камень.

— За вора, за девиц, за неблагодарный труд полотеров, за этого лицемера, который проехал, держа на коленях портфель, за девку — отвечаешь ты, — строго сказал он.

Он выглядел очень странным в своем длинном пальто, в кепочке, в очках, на которых блестели дождевые капли.

— Ты думаешь, стало быть, что я ведаю административным отделом Губисполкома?

Профиль Шпекторова прошел в темном стекле магазина, перерезанный шторой, рассыпавшийся на отраженья голов и плеч, шагающих отдельно и оставивших далеко за собой то удлиняющиеся, то укорачивающиеся ноги.

Он был настолько сам по себе, этот профиль, что мог бы, лишь пожелай, остаться жить в стекле. Но он не остался. Он прошел вслед за Шпекторовым из окна «Академии» в окна «Международной книги».

— Я думаю об отставании морали от техники, — сказал Архимедов, — о том, что личное достоинство . . .

Смешанный звон голосов и посуды прервал его. Человек с лопаткой штукатура вышел из распахнувшейся двери, туманный кадр которой на мгновенье отразился в очках Архимедова ртами говорящих и пьющих, протянутыми к бокалам руками, нервничающим у телефона силуэтом, остановленным бегом полового с раскачивающимся подносом, — всеми чертами виденья, похожего на прерванный сон. Женщина в платочке вышла вслед за штукатуром из пивной.

— Пойдем домой, Ваня.

Он откашлянулся и плюнул ей в лицо.

— О том, что личное достоинство должно быть существенным компонентом социализма, — докончил Архимедов. — Взгляни!

Он указал на витрину кино: грустное лицо Елизаветы Бергнер смотрело из полуоткрытой дверцы автомобиля, отраженного в накатанном шинами, лоснящемся асфальте.

Огни горели.

Высокий в цилиндре и плаще уходил от нее, не оглядываясь.

— Этот автомобиль, он решает наш спор о Западе. Это по нем скучают конструктивисты, открывшие новое западничество на советском Востоке. Они не понимают, что, сделанный нашими руками, он станет живым укором за этого штукатура, который плюнул женщине в лицо.

Шпекторов, прищурясь, рассматривал марку на автомобиле Елизаветы Бергнер.

— Машина для кино, Испана-Суиза, — сказал он. — Она бы развалилась на наших дорогах. Мы будем строить Нами.

(Это был Лондон. Лил дождь. Блестели макинтоши. Вторые актеры шли парами, тесно прижавшись друг к другу. Очерченный туманом нимб светился вокруг головы фонаря).

— Не берусь рассудить тебя с конструктивистами. Но я согласен с ними, что Запад для нас — это ящик с инструментами, без которых нельзя построить даже досчатый сарай, не только социализм. Ты говоришь . . .

— Я говорю об иллюзиях, — сказал Архимедов. — Ящик с инструментами — этого мало для того, чтобы начать новую эру. В пятнадцатом веке ни одна мастерская не могла принять подмастерья раньше, чем он не принесет присяги в том, что будет честно заниматься своим делом согласно уставу и целям государства. Тогдашние текстильщики публично сжигали сукна, к которым был подмешан волос. Мастера, неверно отмеривавшие вино, сбрасы-

вались с крыш в помойные ямы. Декрет о трудовой морали — попробуй представить себе, что он будет принят на очередной сессии ЦИКа. У нас нехватило бы помойных ям для недобросовестных мастеров.

Он показал на жактовский щит, висевший на воротах дома.

— Опиши мне этот щит с вещественной стороны — сказал он.

Шпекторов стал на цыпочки, закинув голову, придерживая фуражку.

— Мастика, краска, дерево и металл.

— Теперь с логической, — предложил Архимедов.

— Винтовка, пропеллер, звезда, шестеренка, лента с надписью, серп и молот.

— Теперь с телеологической.

— Один из видов пропаганды оборонительной тактики Союза Советских Социалистических Республик, — не задумываясь, отвечал Шпекторов.

Архимедов тер очки о рукав пальто.

— Мне тяжело смотреть на этот щит, — сказал он наконец. — Он безобразен. Он говорит о том, что геральдика революции попала в руки управдомов. Скульптору, который слепил его, следует вынести общественное порицание. И не только за то, что он плохо исполнил свою работу, смешав гербы ремесла с эмблемами власти, но за то, что он не понимает связи между личным достоинством и ответственностью за труд. Ты скажешь — романтика! Я не отменяю этого слова. У него есть свои заслуги. Когда-то русские называли романом подвешенное на цепях, окованное бревно, которым били по городским укреплениям. Роман был тогда тараном. Потом он опустился. Он стал книгой. А теперь пора вернуть ему первоначальное значение. Романтика!

Поверь мне, что это стенобойное орудие еще может пригодиться для борьбы с падением чести, лицемерием, подлостью и скукой.

Шпекторов стоял, положив руки на перила Лебяжьего моста. Его тень, падая с перил, колыхалась на рыжей воде. Рябь несла ее к берегу. Он стоял широкоплечий, спокойный, с ясным лицом, с глазами ящерицы, обращенными на Запад.

— Я понял тебя, — ясно сказал он. — Ты хочешь доказать, что, воздействуя на природу, человек воздействует на самого себя. Но это уже было сказано Марксом. Ты утверждаешь, что принципы нашего поведения, по сравнению с ростом производительных сил, изменяются недостаточно быстро. Если я верно понял тебя, ты утверждаешь, что отношение к труду и друг к другу улучшается медленнее, чем растет техника, и тем самым задерживает этот рост. Иными словами — что мертвый инвентарь социализма растет быстрее живого. Я согласен с тобой. Но и это не ново. Знаешь ли, кто писал об этом? Ленин! .. Иллюзии? — Это слово было произнесено, когда, миновав мост, они шли вдоль Марсова поля. — Я бы согласился с тобой, если бы из этой штуки можно было добывать хотя бы дубильные вещества, которые до сих пор приходится ввозить из-за границы... Мораль? — Они огибали клуб Электротока. У меня нет времени, чтобы задуматься над этим словом. Я занят. Я строю социализм. Но, если бы мне пришлось выбирать между моралью и штанами, я бы выбрал штаны. Наша мораль — это мораль сотворения мира. — Они поднялись по лестнице. — И ни штукатуры, плюющие женам в лицо, ни проститутки, ни лицемеры...

Он не кончил: дверь распахнулась; высокая женщина, черноволосая, с неподвижным лицом, стояла на пороге...

— Что же мне делать с молоком? — спросила она и горестно всплеснула руками. — Он больше не хочет сосать. Он требует мяса.

2

— Дай ему мяса, — сказал Архимедов.

Он поднял с пола погремушку, рогатого льва, и принялся оглушительно звенеть над остолбеневшим ребенком.

Комната была грязновата, пол не мыли уже, должно быть, с полгода. Еще покачиваясь, стояла колыбель, стол был усеян обрывками бумаги, как мертвыми бабочками; они сидели на кровати, на стульях, на полу. Прислонившись к стене, стоял в углу мольберт, такой пыльный, что на нем можно было писать пальцем, да и было намазано какое-то слово. Рыжая рвань висела на окне вместо занавески, а подоконник был весь в разноцветных пятнах и запятых и, должно быть, заменял кому-то палитру. Комната была бедна и театральна.

Шпекторов сел на стул верхом.

— Вот она, твоя тарантика, — насмешливо пробормотал он.

Архимедов бренчал. Очень серьезный, он прислушивался к звону с задумчивостью любящих музыку животных. Капли сохли на его очках. Забыв о ребенке, он бренчал для самого себя.

— Ты шутишь над историей, — сказал он: — когда-то ей удалось простую палку превратить в посох пророков, а посох — в императорский жезл. Кто знает, быть может и эта игрушка будет когда-нибудь символом государственной власти!

Ребенок лежал на столе, розовый, толстый, плешивый.

Слова «символом государственной власти» огорчили его.

Он закричал.

— Взгляни, он с тобой не согласен, — сказал Шпекторов.

— А ты?

— Я? Я думаю, что история — это мы. А мы не нуждаемся ни в иллюзиях, ни в игрушках.

Эсфирь таскала ребенка по комнате. Ее платье колыхалось в такт с движениями тела.

Спите куклы, ночь давно
Занавесила окно.
На печи спит Васька-кот,
По селу медведь идет.
Он на липовой ноге,
На березовой клюке.
Смотрит он во все углы
И скрипит скирлы-скирлы.

— Ты внушаешь ему ложные идеи, — прислушавшись, сказал Архимедов.

Она продолжала петь, сердито качнув головой, показывая, чтобы он говорил тише.

— Ты внушаешь ему ложные идеи, — шопотом повторил Архимедов.

Шпекторов, смеясь, взял его под руку.

— Пойдем ко мне, здесь мы мешаем, — сказал он.

Шпекторов жил за стеной, и в его комнате все было другим, даже пол и стены. Она была узкая, светлая, с высоким белым бордюром, переходящим в меловую высоту потолка.

На одной стене висела длинная турецкая трубка, на другой — изогнутый нож с арабским «Нет бога, кроме бога» вдоль желобчатого лезвия, а под ножом — старинный охотничий рог, оправленный в кудрявое серебро персов.

Все это было вывезено из Туркменистана, на память о гражданской войне. Желтой, как масло, шторой было задернуто окно, и стоял низкий ковровый диван, а на письменном столе все было разложено аккуратно, удобно. Идея отрицания случайности — вот чем был проникнут этот письменный стол. Это было жилище человека самоуверенного, честолюбивого, уважающего себя. И длинноногого, — маленький не согласился бы на бордюр.

Шпекторов повернул выключатель.

— Я понял наконец, почему мы не можем сговориться, — сказал он. — Тезис личной судьбы — вот что ты не хочешь учесть в своих рассуждениях. На протяжении всех культур — греческой, египетской, европейской, он казался вынесенным за скобки, свободным от законов истории. Мы тратим все силы, чтобы ввести его в эти скобки. Мы знаем, что уничтожение права на личную жизнь будет уничтожением традиций семейных, производственных, научных. А ты борешься за это право! Романтика? Выражаясь твоим языком, это псевдоним фанфар, о которых мечтают маленькие Бонапарты! Смотри, ты поскользнешься на этой мысли! Я был бы рад, если бы мне удалось заставить тебя . . .

Шпекторов открыл окно: медведь — тот самый, на в окно.

За стеной Эсфирь шопотом допевала песню. Она умолкла на миг, потом снова запела:

Он на липовой ноге,
На березовой клюке.

Шпекторов открыл окно: медведь — тот самый, на липовой ноге, — ходил по двору. Он взволнованно размахивал лапами. Потом нахлобучил шляпу и встал посреди двора, закинув морду вверх. Нет, он был не на липовой ноге; он был с зонтиком и в калошах.

— Эй, что вам нужно?

Медведь вздрогнул.

Он выбросил на землю песок, которым собирался напомнить о себе еще раз, и отряхнул лапы.

Упрямо мотнув головой, он снова принялся тыкаться носом из угла в угол.

Всех в охапку заберет,
Всех в берлогу унесет... —

пела Эсфирь.

С ребенком на руках, она внезапно появилась на пороге.

— Это ко мне, — сказала она скороговоркой и продолжала петь. — Это танькин жених.

Архимедов кивнул головой.

— Кто это Танька? — шопотом спросил у него Шпекторов.

Мы с ним Таньку увезем,
Увезем ее тайком... —

пела Эсфирь.

Она ушла, качая ребенка, положившего кулачок на ее лицо.

— Твоя жена, очевидно, задумала вмешаться в уголовное дело, — с интересом разглядывая человека-медведя, сказал Шпекторов.

Архимедов равнодушно пожал плечами.

Уложив, наконец, ребенка, Эсфирь в прозе объяснила свои намерения.

— Танька — это моя подруга по институту. Они хотят жениться, а им не дают. От половины восьмого до девяти ее родители скрываются у родственников от налогов. Мы нагрянем на квартиру, уложим вещи и увезем ее с собой.

— Это было принято у древлян, — заметил Архимедов.

Она ушла и минуту спустя вернулась, застегивая пальто.

— А потом я должна явиться к родителям и объявить, что больше они ее никогда не увидят.

Огромная тень металась по двору. Танькин жених не находил себе места.

— Ну, что же, поезжай, — серьезно сказал Архимедов.

Она задумчиво поцеловала его.

— Присмотри за Фердинандом.

Архимедов закрыл за нею и вернулся.

— Уничтожение права на машинальное существование, — сказал он и сел на письменный стол, — я согласен с тобой. С этого стоило бы начать новое летосчисление. Но как это сделать? Тебе кажется, что для этого нужно приговорить иллюзии к высшей мере наказания. А я думаю, что для этого во всех вузах нужно учредить кафедру иллюзий.

Шпекторов смотрел в окно: танькин жених, забывший поклониться, схватил Эсфирь в охапку и потащил к воротам. Их ждала пролетка. Лошадь цокала копытами о камни. Шпекторов опустил штору.

— А, ты возвращаешься к иллюзиям? И не боишься, что я сейчас скажу о штанах? Знаешь, я начинаю жалеть, что ты не родился двумя столетиями раньше. Робеспьер поручил бы тебе организовать процессию в честь верховного существа. Ты проповедывал бы помощь несчастным, уважение к слабым и борьбу с жестокосердием. Ты ходил бы в голубом фраке с букетом в руках.

Он рассмеялся.

— Фрак и букет! Вот что ты предлагаешь включить в пятилетний план!

Архимедов встал.

Розовощекий, с льняной головою, он стоял перед

ним так, как будто и точно он был облачен в голубой фрак Робеспьера.

— Я прекращаю этот спор, — сказал он и ушел. И вернулся минуту спустя со спящим Фердинандом на руках.

— Прощай. Пора перейти к делу.

Шпекторов заботливо подоткнул одеяльце.

— Куда ты собрался, чудак? — спросил он. — Куда ты хочешь тащить грудного младенца, которого тебе поручили беречь как зеницу ока?

Одеяльце покрыло Фердинанда с головой. Он сонно шевелил губами. Архимедов поцеловал его в лоб.

— Бунтовщики определяют картину мира, — сказал он торжественно, — а против лицемерия, бесчестия, подлости и скуки нужно бороться, с ребенком на руках. Он поможет мне. Он докажет, что победителями будут наши дети.

3

Скажи, суровый известняк!
Хлебников.

Пекаря начинали ночную работу.

Усталые музыканты возвращались домой с инструментами в черных чехлах.

Заблудившиеся трамваи шли не по своим путям.

Три рупора, размещенные в разных местах, три раза сказали «до свидания», и три раза — «заземлите антенну». На фондовой бирже это было сказано Кваренги и Росси. Кваренги сурово молчал, Росси снисходительно улыбался.

Белая ночь вошла в социалистический город. Как бледный чертеж, едва наметивший осуществление давно задуманного целого, он был пуст.

Семейные часы били над головой Лассаля, закинутой к советскому небу.

Из-под арки Перинной линии на нее почтительно смотрел Архимедов.

— Взгляни, — сказал он младенцу и осторожно стянул с его лица одеяло, — вот человек, в честь которого ты назвал себя Фердинандом. Он был бы нашим союзником, если бы шестьдесят лет назад прусский юнкер не убил его на дуэли.

Недоуменно вскинув брови, младенец спал.

Архимедов покачал его и перешел дорогу.

— Лассаль! — сказал он. — Распорядитель людей, погибший от случайной пули! Ветер дует тебе в глаза во время наших наводнений. Осенью на тебя падает дождь. Зимой на твоем лице проступает иней. Ты видишь скольжение и смену людей, и история ночует рядом с твоим пьедесталом. Скажи мне, кто из нас прав? За кого ты голосуешь, учитель?

Ребенок проснулся от этой речи, произнесенной полным голосом, с уверенностью в немедленном ответе.

Архимедов положил его на ступеньки думы и вернулся к Лассалю.

— В Риме, чтобы узнать судьбу, раскрывали Сивиллины книги, — сказал он, — в Делосе следили за шелестом лавра. Я обращаюсь не к оракулу — к единомышленнику, который старше и опытнее, чем я! Я знаю, что если бы камни могли говорить, ты был бы их представителем в Областном комитете. Скажи мне, кто из нас прав? За кого ты голосуешь, учитель?

Лассаль молчал. Неподвижна была его голова с нахмуренным лбом, с глазами ящерицы, обращенными на Запад.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ. ФИЗИКА НРАВОВ

1

С Александром Шпекторовым я дружен еще с гимназических лет, — наши старшие братья были товарищами по классу.

В город, где я родился и вырос, он приехал девятилетним мальчиком, грустным, с острым носиком, с испуганным рыженьким хохолком.

Я, помнится, вел себя покровительственно.

— Вот это аптека, — объяснял я ему, — это просто дом. Вот там растут деревья, они называются березы. А вот это газетчик, он продает газеты.

Шпекторов робко слушал.

В ту пору в городе только что проведена была конка, и я предложил прокатиться на ней, с тайной мыслью поразить воображение провинциала.

Мы сели.

Клячонки, дряхлые на дрожащих ногах, тронулись под воинственный окрик кучера, который был с ног до головы завернут в какой-то удивительный, сшитый по мысли самого губернатора, армяк.

Тронулись, — и Шпекторов облился слезами. Он заплакал тихонько, но отчаянно, слезы так и прыснули из глаз, хохолок задрожал, задрожал.

Я удивился.

— Что с ним?

— Трусишка! Он упасть боится. Петухов боится, грозы, — с презрением сказал Шпекторов старший. — Он один раз у себя на подушке таракана уви-

дал, так потом целую неделю спал с мамой. В комнату боялся войти.

Мы не слезли с конки, потому что билеты были уже взяты до самой бойни и обратно. Но всю дорогу Шпекторов плакал, трясся, стучал зубами, и я напрасно хвастался немецкой кирхой, напрасно пугал его ужасами боевых столкновений между учениками приготовительного класса.

Домой я вернулся очень довольный собой.

— В нашем классе такой сопляк и трех бы дней не просидел, — сказал я няньке, — у нас, брат, кастетами дерутся.

Но осенью Шпекторов явился именно в наш класс.

Нагло свистя сквозь выбитый зуб, заложив руки в карманы штанов, он прошел между партами, не обращая ни малейшего внимания на насмешливые вопросы, которыми по обычаю осыпали новичка.

Он выбрал самую последнюю парту, пристанище второгодников и камчадалов, и, единственный из всего класса, не встал, когда вошел учитель. Хмурый, решительный сидел он во время первого урока и все трогал пальцами крошечный нос. Хохолок был уже не испуганный, напротив, хвастливый, и по этому хохолку видно было, что и сам Шпекторов отчаянный хвастун и забияка.

Таков он и был.

Тихий немец, по фамилии Лютер, учился в нашем классе. С детства приученный своим отцом говорить по-латыни, он был ничем не замечателен, кроме фамилии да высокого роста. (Помнится, рост его особенно поразил учителя русского языка, носившего странное прозвище «Пипка». Этот Пипка решил, что Лютер занимается одним, распространенным среди мальчиков, пороком, и донимал до тех пор, пока измученный немец не сбежал на войну).

Едва дождавшись конца урока, Шпекторов пошел

к нему. Он шел медленно и по дороге часто моргал от презрения.

Без всякой причины толкнув немца плечом в живот, он встал перед ним и задрал голову вверх.

Лютер пренебрежительно посмотрел на него.

Тогда, скосившись, встав на цыпочки, закусив губу Шпекторов молча дал ему по морде.

И немец вдруг упал.

Вытянувшись, закостенев, упал он на пол, а Шпекторов, маленький, строгий, не спеша прошелся вокруг него, посвистывая сквозь выбитый зуб.

Это было началом периода буйств.

В гимназии, где учителя, приходя на урок, вычесывали блох на классный журнал, а ученики, свято храня обычаи бурсы, травили их хлопушками и нюхательным табаком, он решался на такие шалости, что в конце концов от него отступились самые отчаянные из «камчадалов».

Во втором классе он принес на урок истории револьвер системы Лефоше и при словах: «Александр же Македонский вторично в третий раз решился итти в долину Ганга» — выстрелил в потолок. (С историком, почтенным, дебелым, сделался сердечный припадок. Кадет по убеждениям, он вообразил, что выстрел предназначался ему.) Шпекторова не выгнали вон. Но три воскресенья он просидел в карцере на хлебе и воде. Он распевал Мальбрука, вырезал на подоконнике несложный гимназический лексикон и в конце концов был пойман классным наставником на том, что курил в печку, и притом не табак, а мох.

Но все это и в сравнение не шло с другими его шалостями, отчаянными и смешными.

У знаменитого своей скупостью инспектора Лбова он с двумя товарищами стащил шубу и, продав ее на толкучке, накормил и напоил на вырученные деньги городских босяков, с которыми был очень дружен.

Учредив в шестом классе сенат, он добился смертного приговора над сыном местного городского головы, который ходил в гимназию в мундирчике с серебряными галунами. Галуны были срезаны, мундирчик содран заодно с штанами, сын городского головы взят за ноги и брошен в реку. По счастью, он немного умел плавать...

2

Так прошел еще год. Шпекторов пил, мрачнел; босяки свели его с какой-то совершенной сволочью; на уроках он появлялся все реже. Мы жили на одном дворе, и мне случалось, отправляясь ранним утром в гимназию, встречать Шпекторова возвращающимся домой.

Но была во всем этом одна черта, о которой нельзя не упомянуть.

— Я изучал себя, — сказал он мне однажды, — и решил, что подлец. Хочешь, докажу фактически?

— Докажи, — отвечал я с интересом.

— У меня, как ты знаешь, есть мать, — начал Шпекторов, — и вот вчера она захворала. Как любящий сын, я немедленно же продал букинисту историю Платонова за девяносто копеек и пошел в аптеку. Но тут мне встретился один знакомый индивидуум и предложил сыграть партию на бильярде. Мы играли с часа до семи, и сперва я выиграл у него около четырех рублей, а потом проиграл около двух, словом, у меня осталось два рубля семьдесят пять копеек. А потом мы пошли в «Бристоль» и съели там какие-то телячьи ножки и выпили полбутылки коньяку. Словом, как сказал апостол Павел, «не подумайте худого, три подводных камня». Доказал?

— Доказал, — согласился я.

— Ну, вот видишь, — пробормотал Шпекторов, — я же тебе говорил.

Это было сказано немного грустно, но без малейшего раскаянья. Он не раскаивался. Он изучал себя с истинным хладнокровием естествоиспытателя, отнюдь не теряющегося перед непонятными явлениями природы. А так как он был врожденный материалист, никогда не видевший существенной разницы между человеческим мышлением и горением обыкновенной электрической лампы, он вскоре решил, что изучать себя никак нельзя, не изучив раньше явлений материального мира.

Это теперь, припоминая наши разговоры, я думаю, что дело обстояло так. Тогда-то мы думали, что он из гордости занялся наукой, для того чтобы нос натянуть всем, кто был уверен в том, что он ни на что другое не способен, кроме отчаянных шалостей, лени и вранья. А думали мы так потому, что были свидетелями одного случая, который мог бы обидеть даже и не такого самолюбивого человека, как он.

Это произошло, кажется, в седьмом классе.

Подражая нашим старшим братьям, мы читали в ту пору Леонида Андреева, и доклады о том, прав ли был Иуда Искариот и что сделал бы на его месте докладчик, выслушивались с глубоким интересом.

И вот однажды вечером, когда мой друг Алька Куусинен убеждал нас (с горячностью, далеко не свойственной его сородичам), что Иуда был, конечно, прав, и он, Алька, продал бы Христа куда дешевле, в комнату вошел Шпекторов.

Он был какой-то лопоухий, усталый.

— Я за алгеброй, ты обещал, — тихо сказал он хозяину комнаты.

Тот молча подал книгу.

Шпекторов открыл ее и задумчиво перевернул несколько страниц.

Мы все молчали, чтение прервалось, когда он вошел.

С некоторой стеснительностью, которой никто из нас не поверил, он поднял глаза на Альку, ответившего ему сердитым и равнодушным взглядом.

— Ну, что же ты не читаешь?

Квадратный, с финскими светлыми волосами, с грузными повадками кузнеца, Алька вдруг захлопнул свою тетрадку и встал.

— Тебе это не интересно, — грубо сказал он.

Шпекторов опустил глаза, ноздри раздулись.

Он неловко засмеялся и вышел.

В чулане, под лестницей, он засел с этого дня среди книг, колб, реторт и горелок.

Изобретая знаменитую катушку Румкорфа, он часами наматывал на нее тонкие шелковые струны, он построил динамомашину, и целые сады минералов выросли вокруг на проволоках, посаженных в высокие банки.

Это была химия, физика, все, что угодно, — и он имел смелость открыто заявлять, что придает своим занятиям большую цену, нежели вопросу о праве Иуды Искариота на продажу Христа . . .

Перемена эта была так странна, так сомнительна, что мы долго не доверяли ей.

Но время шло, а он все сидел да сидел в своей лаборатории, и уж физик стал прислушиваться к его ответам, далеко выходившим за скромные границы гимназических курсов.

Повзрослевший, вежливый, задумчивый, появлялся Шпекторов в классе, и все уже думать забыли о том, что это был за отчаянный шалун, лентяй и задира.

Куда там! Его теперь уважали. Он был загадочен, непонятен.

Особенно загадочным казался он епархиалкам, которые все хотели выйти за него замуж. У него был великолепный прямой лоб с высокими надбровными дугами, круглый, нежный подбородок, а глаза твер-

дые, серые. И ничего удивительного не было в том, что девицы бегали сторожить его после окончания уроков и начинали хохотать и толкаться, когда он показывался в дверях. А он шел в грязной короткой шинели, в фуражке, надвинутой на глаза, и тихонько пел низким голосом басовые партии различных военных маршей.

Не то чтобы он не замечал их или был так уж к ним равнодушен! Но он не любил, — эта черта осталась у него и по сей день, — разом заниматься несколькими делами. Девицами он интересовался раньше, до физики. А теперь он интересуется физикой, а до девиц ему и дела нет. И он запирался в своем чулане, стараясь не очень-то часто вставать со стула (потому что трудно было встать и не сбросить при этом с полки бутыль с каким-нибудь вонючим составом), и сидел там до поздней ночи.

3

И вдруг он вновь преобразился.

Однажды утром, — это произошло в седьмом классе, когда в садах и на реке жали руки гимназисткам и в лодку старались сесть так, чтобы удобнее было целоваться, — окно его чуланчика распахнулось.

Шарообразная бутыль, в роде тех, что стоят в аптеках на окнах, вылетела на двор и со звоном разбилась о камни.

Колбы были выброшены вслед за нею.

За колбами полетели сады.

Смеющееся лицо мелькнуло среди стеклянных трубок, которые он поднял перед собой и держал мгновенье, любуясь игрою солнца, вдруг рассыпавшегося в его руках множеством зайчиков и бликов.

Потом и трубки отправились вслед за колбами и садами.

Посвистывая, расставив локти, лукаво косясь на преображенный чулан, Шпекторов сел за стол, и маленькая серая книжка появилась в его руках. Он бережно посмотрел на нее . . .

На следующий день после разрушения лаборатории я встретил его в Ботаническом саду с белокурой перезрелой девушкой, о которой в городе говорили шопотом: «эс-эрка». Она и была эс-эрка.

Он шел широкоплечий, веселый, в распахнутой шинели, и фуражка уже не была надвинута на глаза, а сидела на самой макушке, как птица, готовая улететь. Уже невероятным казалось, что два года он просидел под лестницей, наращивая на проволоку соль.

Раскинув большие руки, он убеждал в чем-то свою спутницу, приземистую, кривоногую, с грубым, упрямым носом, и слово «террор», как сорванный лист, кружащийся, относимый ветром, но все же медленно опускавшийся вниз, вдруг легло передо мной.

Это было за год до революции, — и больше он не менялся.

Таким же семнадцатилетним, с ясной речью, с большими руками, он явился ко мне в Москву, когда, осторожно разнимая на части хозяйскую мебель, я пытался обогреть танцовальный зал, любезно предоставленный в мое распоряжение голодным и холодным девятнадцатым годом.

Я обернулся на хохот: усталый солдат, заиндевевший, дымящийся паром, стоял на пороге.

Целую ночь мы провели под буржуйкой, перебирая друзей, перебивая друг друга, хохоча, потому что все казалось гораздо смешней, чем было на самом деле, а потом я притащил лошадиную ляжку, которая была моим единственным достоянием, и мы жарили ее на огне, как ирокезы, приносящие жертву Великому духу дикарей.

Шпекторов так и не разделся, его эшелон уходил поутру.

В шишаке, в шинели, ремни крест-на-крест пересекали грудь, он грел руки, красноватый огонь освещал его снизу, эхо отдавалось в пустых углах танцовальной залы, ночные переправы, одиночество часовых, бессоница под телегой в степи, грозная паника отступлений, — он перебивал себя, начинал сызнова и вновь перебивал, и все запомнилось как книга, которая была прочтена в детстве, и до сих пор помнишь, в каком она была переплете, как пахли на сгибе ее страницы, какого цвета был корешок.

4

Замечали ли вы с какой настойчивостью возрасты преследуют человека?

Один рождается стариком, в другом до старости чувствуются едва уловимые признаки детства . . .

Шпекторов жил семнадцатилетним, у него даже усы не росли что-то очень долго. Он был человек, в сущности говоря, отчаянный, хоть и притворявшийся весьма ровным и хладнокровным. Только самых близких его друзей не могли бы обмануть это ясное лицо и уверенная речь, в которой мелькала подчас мальчишеская ирония гимназиста.

Ясность — вот что было для него важнее всего. Он любил ясность и отнюдь не стеснялся иной раз обращаться за помощью к своему револьверу, для того чтобы сразу разъяснить какое-нибудь безнадежно запутавшееся дело.

Это не была, однако, школьная ясность людей, повторяющих чужие зады. Она у него была своя, немного наглая, честолюбивая, легко вооруженная ясность . . .

Таким я вновь встретил его, когда рыбы, оглушен-

ные кронштадтскими пушками, всплывали в прорубях и чернелись под тоненькой кромкой льда. Неподвижные, сонные лежали они, и можно было брать их руками.

В студенческой коммуне, в Лесном, он сидел, широко расставив ноги, взявшись руками за доску некрашеного стола, а по другую сторону сидел его старший брат, маленький, с коротенькими ручками и большими стоячими ушами. Шпекторов отправлялся добровольцем под Кронштадт, а старший брат из принципа старался не отговаривать его от этой затеи.

Это ему плохо удавалось, потому что он любил Шпекторова и очень волновался за него.

— Я тебя не отговариваю, — сказал он наконец,— но только помни, что если мать умрет, никто иной, как ты, будешь виноват в этом. Я тебя не отговариваю, но по-моему только неблагодарная сволочь может решиться стрелять в людей, которые на всех фронтах были самой надежной опорой. Я тебя не отговариваю, что ж, иди, если хочешь, но только не забывай, пожалуйста, что ты не только сволочь, но и дурак.

Он трясся от волнения и злости.

Шпекторов встал. Со всею вежливостью человека, принимающего на себя ответственность за историю, он взял брата за штаны и поднял вверх, потрясая им, как подушкой.

— Чистоплюй! — сказал он, глядя в упор на барахтавшегося под потолком брата, — что ж ты думаешь, прохвост, что это так легко стрелять по своим? Ты смеешь меня упрекать! Стыдись, ты когда-то был человеком.

Он обернулся к нам.

— Товарищи, нужно его проучить! — сказал он весело. — Голосуйте, я подчинюсь большинству.

Первое — за штаны подвесить его к потолку. Кто за?

Коммуна единодушно голосовала против.

— Ну, что ж с ним делать? — задумчиво спросил Шпекторов: — застрелить?

Левой рукой он расстегнул задний карман брюк, и револьвер лег, поблескивая, рядом с хлебом, разрезанным по числу членов коммуны на равные доли. Брат задрыгал.

— Против, — объявила коммуна.

— Ну, чорт с ним. Я положу его под стол, — сказал Шпекторов и положил. И брат сидел под столом тихий, совсем тихий, и больше уж ничего не говорил. Скрестив ноги, как турок, сидел он и только изредка вылезали на божий свет огромные стоячие уши . . .

5

С тех пор прошло девять лет, и профессии разлучили нас.

Я занялся лингвистикой, литературой, он поступил в Институт путей сообщения, окончил его и стал одним из немногих у нас знатоков дорожных машин.

Но все же раз в год, после многократных телефонных звонков, мы встречаемся, чтобы рассказать о своих служебных, семейных, личных делах, пожаловаться на усталость (жалуюсь я), сообщить друг другу свои соображения по поводу письма Зиновьева (1924), налета на Аркос (1926), захвата китайско-восточной железной дороги (1929).

Однажды он познакомил меня со своим соседом, мешковатым, молчаливым, в очках.

Мне запомнилась фамилия. Оттенок семинарской важности чувствовался в ней.

Он и был важен.

За весь вечер он сказал только две или три незначительных фразы.

У него было простое русское лицо, с тупым носом, с румянцем во всю щеку...

Никто из нас не знает заранее, какие слова, движения, признаки вещей придется впоследствии проверять на очных ставках между действительностью и представлением.

Чутье материала — больше нечем руководствоваться тому, кто берется за наше неблагодарное ремесло.

И оно подчас изменяет, это чутье, оно ошибается, оно наталкивает на чужое дело, оно, не задумываясь, проходит мимо того, что достойно наблюдения и изучения...

Так, проглядев Алексея Архимедова в тот вечер, когда я встретился с ним впервые, я напрасно старался потом возобновить в памяти первый черновик этого человека.

6

Напрасно! Он неизменно появлялся передо мной таким, каков был у памятника Лассаля: в длинном расстегнутом пальто, в потертой темнокоричневой паре, с палкой в руке, и сонный ребенок лежит на ступеньках Думы, а высокая слепая голова смотрит в сторону, не слыша и не желая слышать:

— Кто из нас прав? За кого ты голосуешь, учитель?

Архимедов, впрочем, вел себя так, как будто голова ответила ему.

С упрямой задумчивостью стоял он, облокотясь на думские перила, и у него было напряженное, прислушивающееся лицо. Он слушал...

А ребенок спал внизу на ступеньках, и чепчик лихо сидел на его голове, придавая ему бесшабашный вид.

Ему было на все наплевать. Он сердито чмокал губами.

Я подошел, не зная с чего начать разговор.

— Вы не узнаете меня?

— Узнаю, — сказал Архимедов.

Он взял ребенка на руки и стал качать. Это было не очень похоже на плавное покачиванье мальпоста или няньки. Он качал его с такой силой, что стоило, казалось, только разжать руки, чтобы Фердинанд долетел до кривой мусульманской луны, висевшей над Ленотгизом.

— Странно видеть ночью на улице такого малыша, — сказал я со всей вежливостью, на которую был способен, — должно быть из гостей?

— Нет, — сказал Архимедов, — из дому.

Он вдруг улыбнулся.

— Вы смотрите на меня, как на Мухаммеда, только что сбежавшего из Мекки в Медину. У него было больше сторонников, чем у меня. У меня пока что только один. — Он подбородком указал на ребенка. — Или вы думаете, что с этой ночи начнется новая эра?

Это было сказано с иронией.

Я сказал ему, что у меня нет никаких оснований предполагать, что с этой ночи начнется новая эра. Каждому школьнику известно, что она уже началась с появлением Ленина на броневике у Финляндского вокзала.

— Кроме того, вы не похожи на пророка. У вас нет уверенности, что в Мекке вас ждут с нетерпением.

Он рассмеялся, немного приоткрыв рот. У него был негромкий, сдержанный смех осторожного человека.

— Меня никто не ждет, — сказал он. — Быт был против меня, и я освободился от него сегодня в поло-

вине двенадцатого ночи. Все — в том числе и борьбу за существование — я начинаю сначала.

Я взглянул на ребенка, не зная, что ответить на весь этот вздор. Мне помогли часы: один звонкий удар и три еле слышных, — было три четверти второго.

И еще раньше, чем они кончили бить, Фердинанд заревел.

Мне часто случалось слышать, как плачут дети. Но такого отчаянного, разбойничьего, самозабвенного рева я еще никогда не слыхал. Фердинанд скосился, у него было набрякшее генеральское лицо. Хмуро сморщив нос, он ревел с упоением и все пронзительнее, все громче.

Архимедов сунул свободную руку куда-то в одеяло, пощупал пеленку и, точно обжегшись, выдернул руку назад.

— Ах, вот в чем дело, — сказал он, смутившись (но и в самом смущении, сохраняя оттенок важности). — Он, кажется . . .

Ночь была свежая, и я сказал Архимедову, что его единственный сторонник легко может простудиться.

— Пойдемте ко мне. Моя жена еще не забыла, как это делается, она его перепеленает.

Архимедов еще раз пощупал пеленку.

— Просто страшно сказать, что там творится, — пробормотал он. — Жаль, что он еще такой маленький; мне почему-то казалось, что он уже умеет проситься.

Он звонко поцеловал сына. Сын открыл глаза, с усилием вытащил руку и ударил его в лицо.

7

Я разбудил жену.

Когда, с пеленками в руках, она появилась в столовой, Архимедов смутился. Кланяясь, он, как маль-

чик, пристукнул каблуками и сказал: «С доброй ночью». Жена улыбнулась. Тогда он растерялся. Это было страшно.

Другой на его месте пошутил бы над своей обмолвкой или сделал бы что-нибудь, чтобы утаить неловкость.

Он не шутил. Опустив голову, расставив ноги, он стоял у стены, и пот ровными крупными каплями выходил на лоб из-под волос. Он не владел свободой обращенья или не хотел притворяться.

Мы сели за стол, и я предложил ему чаю.

Он пил, по временам оглядываясь на жену, возившуюся с Фердинандом, опрокинувшим ногой коробку с тальком, засунувшим в рот кисть от дивана и как-то очень быстро совершившим множество разных проступков, с которыми она не могла справиться, забыв за пять лет привычки и шалости грудных.

— Вы сказали, что быт был против вас, — сказал я Архимедову, и показал головой на ребенка, — а сами взяли, да и унесли его с собою.

Он пил чай с деревянной важностью крестьян.

— Я взял с собою только то, что еще можно исправить, — сказал он неторопливо.

Я наблюдал его с той редкой ясностью переутомленного сознания, которое иногда приходит ночью, после тяжелого дня. Почти всегда он грозит бессонницей, но сегодня я был рад ей.

Чай был выпит.

Мы остались одни. Фердинанд, умытый и перепеленутый, спал в кресле, повернутом лицом к стене.

8

Я так и не уловил в ту ночь, как связывались его неторопливые движения, его манера слушать с приподнятой речью, подчас величественной, подчас попадавшей на пустые, гулкие места.

У него были движения молчаливого человека.

Он слушал так, как будто сам был скуп на слова.

Но лежа (после разговора с ним) в темноте, с открытыми глазами и размышляя о нем, я понял, что важность, степенность были в равной степени свойственны и его движениям и речи.

Я представил себе этот спор со Шпекторовым, уверенным преобразователем мира. Три фразы:

1. «Человек с лопаткой штукатура вылетел из распахнувшейся двери, туманный кадр которой на мгновенье отразился в очках Архимедова ртами говорящих и пьющих, протянутыми к бокалам руками, нервничающим у телефона силуэтом, остановленным бегом полового, — всеми чертами прерванного сна»;

2. «Мне тяжело смотреть на этот щит», и

3. «Отношение человека к труду будет таким же, как матери к сыну», — приснились мне, и я их записал тогда же сонной рукой на проклятой, все время сползавшей вниз простыне.

Третья показалась мне (и кажется до сих пор) воспоминанием.

Но я сам слышал ее от него, когда он рассказывал о последних минутах спора.

Новые предметы и примеры вошли в его рассказ, кроме щита на воротах, честности страсбургских мастеров, автомобиля Елизаветы Бергнер.

Он называл мораль — «физикой нравов».

«В Цюрихе провинившегося хлебника носили по городу в корзине, привешенной к шесту, а потом окунали в лужу! В Базеле отрубали хвост у семги, которую не успевали продать в течение рыночного дня!»

Кто бы мог угадать пылкость за такой заурядной внешностью полурусского-полуфинна?

Я засыпал.

Я думал о том, что эта фраза о пылкости никуда не войдет. Он был не пылок, нет!

Я вспоминал, засыпая: мужествен, мудр, сосредоточен...

Я засыпал.

Я начинал думать с начала.

Толстый хлебник в корзине, подвешенной к шесту, вдруг представился мне.

Корзина качалась над толпой разгневанных и смеющихся женщин.

Он был в берете, в камзоле, с круглыми набитыми плечами.

Он плакал.

Он кричал, что во всем виноват подмастерье.

Его окунали...

Я очнулся от забытья, которым обычно оканчивалась моя бессонница, на словах — «Акции правды и честности, с одной стороны, и лжи — с другой...»

Наступало утро, похожее на зимний полдень. Висела вдоль окна упавшая проволока антенны, покачиваемая ветром.

«Акции правды и честности, с одной стороны, и лжи — с другой...» Я помнил жест, которым сопровождалась эта фраза. Жест был для нее вооруженным эскортом. Но фразу я забыл. «Акции правды и честности...»

Глуховатый голос вдруг запел где-то, и я прислушивался несколько секунд, не догадываясь, что это поет Архимедов. Он пел:

Корова спит,
Лошадь спит.
Дерево спит,
Ворона спит,
И ты тоже спи, спи, спи....

Кошка спит,
Обезьяна спит,
Антилопа спит,
Кресло спит,
И ты тоже спи, спи, спи....

Я представил себе его плечи, сгорбившиеся над ребенком.

Он все шагал, и, казалось, он пел не для того, чтобы укачать сына. Но, без конца перечисляя спящих животных, а потом людей, профессии, минералы, он как бы убеждал самого себя, что бодрствует только он один.

Весь мир спал, кроме него:

Плотник спит.
Рубанок спит,
Лампа спит,
Ворона спит,
И ты тоже спи, спи, спи....

А утром, поздно поднявшись с постели, я не нашел его. В восьмом часу утра он разбудил прислугу и попросил ее закрыть за ним дверь. Он ушел, не сказав больше ни слова. Когда она рассказывала мне об этом, у нее голос задрожал от слез: «Да как же, одинокий, с ребенком, деваться некуда».

Садясь за стол в библиотеке Пушкинского дома я вспомнил, наконец, фразу, закончившую наш ночной разговор.

Вот она: «Акции правды и честности, с одной стороны, и лжи, с другой — то падают то поднимаются в истории каждого класса. Когда класс овладевает властью и заявляет, что будущее принадлежит ему, он поднимает акции правды. Когда он клонится к упадку, он, запутавшийся в делах банкрот, поднимает акции лицемерия, подлости и скуки».

ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ. ПЕПЕЛ КЛААСА

1

Я был увлечен в ту пору работой над некоторыми спорными вопросами журналистики тридцатых годов, и заметки о встрече с Архимедовым были отложены надолго.

Совсем другой человек занимал меня — желчный европеец, скептический иезуит, несчастный и одинокий, ненавидимый многими, враждовавший со всеми, не любимый никем.

Я говорю о Сенковском.

Целые дни я проводил в архивах, читая — запоздалый следователь — письма, подчас непрочтенные даже теми, кому они были адресованы, дневники, мемуары, доносы, продиктованные завистью, честолюбием, честью, бесчестьем, страхом.

Я возвращался домой, утомленный не столько самой работой, сколько сознанием невозможности помочь одному, остановить от подлости другого.

О, если бы я мог вмешаться в эту борьбу падших ангелов николаевской эпохи, окончившуюся за шестьдесят лет до моего рождения!

Держа в руках бумаги, погубившие ученую карьеру моего журналиста, я испытывал глубокое желание поехать к нему на дом, чтобы предупредить о предательстве друзей, о вероломной преданности врагов.

Даты останавливали меня на подъезде Пушкинского дома. «Не стоит спешить. Остановись, посоветуйся с нами. Нам нужно тебе что-то сказать . . .»

Я шел домой и весь вечер жаловался жене на необратимость времени.

— Он был бы другим. Я бы рассказал ему о том. что его ожидает.

2

Шпекторов оторвал меня от этих занятий. Однажды вечером я нашел его у себя в кабинете.

Он был в крагах, с папиросой во рту. Книга Хлебникова, которую он взял у меня со стола, была раскрыта на «Ночи в окопах». Он читал, раскачиваясь на носках, насмешливо улыбаясь.

Уже войдя и протянув ему руку, я заметил, что он ждал меня не один.

Как ширмой закрытая распахнувшейся дверью, в углу, в кресле, сидела женщина. Я не знал или не узнал ее.

Он захлопнул дверь.

— Эсфирь, — сказал он кратко.

Не улыбаясь, она крепко пожала мне руку.

Мы сели.

Я еще раз взглянул на нее. «Должно быть, вот такие, — подумалось мне, — в дни гибели Иерусалима пророчествовали на ступенях храма!»

— Можно без предисловий? — Шпекторов встал, подвинул стул и поставил на него ногу. — Мы пришли к тебе поговорить об одном человеке, который сошел с ума или притворяется сумасшедшим.

Женщина выпрямилась, опершись на ручки кресла. Я понял, что она хочет что-то сказать. Шпекторов обернулся к ней:

— Условимся, — сказал он спокойно: — я даю текст. Ты сделаешь примечания.

Я подивился величественной простоте, с которой она опустила голову в ответ на это предложение.

— История началась с того, — сказал Шпекторов, — что мы гуляли по Литейному и разговаривали о морали...

Его рассказ был не похож на полуфантастическое состязание вещей и идей, о котором говорил Архимедов.

Сличив впоследствии оба варианта, я понял, что Архимедов... Он не лгал! Но на прошлое он смотрел как на черновик. С душевной ясностью человека, свободного от сожалений, он вмешивался в прошлое, придавая новый смысл тому, что ничего не значило в действительности, для него уже не существовавшей.

Рассказ Шпекторова был, напротив, точен, и для филолога (я — филолог) не было никаких сомнений в том, который из них следует считать более достоверным. Но мне показалось немного странным, что о семейной жизни Архимедова, которая, кажется, вовсе и не должна была меня интересовать, упоминалось в этом рассказе довольно часто.

Он кончил, попросив воды.

— Но, позволь, — у меня не хватило смелости задать этот вопрос самому Архимедову, — что же в конце концов мешало ему, оставаясь дома, проповедывать свои воззрения?

Не отрываясь от стакана, он досадливо поднял брови. Я понял, что не следовало упоминать об этом в присутствии...

Она смотрела прямо перед собой черными, ровными глазами.

Все молчали несколько секунд.

Потом она сказала с эпической простотой, напомнившей мне фразу из «Книги судей» — «она упала у его дверей и умерла»:

— Ему мешала я.

3

И вот мы услышали пылкую речь, которая была тем страннее, чем неподвижнее было ее лицо с мелкой плойкой волос над решительным, низким лбом.

— Я, я одна виновата во всем! Он кашлял. Он ходил в рваных носках! Никто о нем не заботился, когда он ходил голодный. Он прав, я хочу увидеть его, чтобы сказать, что он прав! Я думала только о себе. Разве я не будила его по ночам, когда плакал ребенок?

Это было не очень похоже на любовь. «Я хочу видеть его, чтобы сказать, что он прав». Раскаянье — пожалуй, к речи ее лучше подошло бы это слово.

— Разве он ушел бы от меня, если бы я заботилась о нем так же, как в первые годы? Разве тогда я уходила с утра до вечера? Разве, возвращаясь домой, он должен был сам готовить себе обед? Разве тогда я лгала ему? Разве ...

Шпекторов сердито вскинул брови.

— Никому не интересно.

Он сказал это, — мне подумалось, — с внутренним беспокойством, но у него были широкие, спокойные плечи, ясный лоб, — и я решил, что ошибся.

— С лирикой, кажется, покончено?

Эсфирь сидела опустив голову, пальцами сжимая виски. Мне было жаль ее. Я постарался глазами внушить Шпекторову, что нельзя же так обращаться с женщиной, только что брошенной мужем.

— Чушь! Все дело в том, что я нашел его. С двумя или тремя такими же чудаками его видели ... Где, как ты думаешь?

Я размышлял несколько мгновений.

— В ночлежном доме?

— Нет.

— В Эрмитаже?

— Нет.

— В Смольном?

— Нет, — сказал Шпекторов, — в ТУМе. Он засел в ТУМе, в театре учащейся молодежи. Там его штаб.

Я был поражен. Самые странные предположения, разбитые на-голову, отступали перед необъяснимой линией поведения этого человека.

— Нельзя отказать ему в последовательности, — сказал Шпекторов смеясь. — Он никогда не рассчитывал на успех своего учения среди взрослых. Он всегда рассчитывал привлечь на свою сторону детей.

Я представил себе Архимедова, мешковатого, розовощекого, с высокой речью, с жестами архаиста, убеждающего школьников в том, что личное достоинство должно быть существенным компонентом социализма . . .

Женщина встала, и вновь я увидел ее грозный и печальный лоб, прямой нос дочерей Ливана и высокую невежественную шею, которую Библия решилась бы, без сомнения, сравнить с башней из слоновой кости, обращенной лицом к Дамаску.

— Я прошу вас поехать к нему со мной.

— Меня?

Этой просьбы я не ожидал.

Я только что собирался произнести небольшую речь в защиту Архимедова, рассказать о нашей встрече у памятника Лассаля, сделать несколько успокоительных предположений. Мне казалось, что Шпекторов, именно в этом отношении, рассчитывал на мою помощь.

— Меня? — Но ведь я же почти не знаком с ним. Мы виделись только два или три раза. Он спустит меня с лестницы — и будет совершенно прав.

Рука, которой она опиралась на стол, слегка дрожала.

— Мне больше некого просить.

Я посмотрел на Шпекторова.

— А ты?

— Ну, меня-то уж, без сомненья, спустит!

Я не знал, на что решиться. Я представлял себе разговор с Архимедовым, которого я убеждаю вернуться к жене: «Вы не захотите губить женщину, которая любит вас! Взгляните на ребенка. Он тянется к матери» и т. д. Какая гиль! Я был готов отказаться.

Но заметки о ночной встрече с Архимедовым, погребенные под грудой архивных дел тридцатых годов, снова возникли передо мной, со всем соблазном ремесла, по которому я скучал последние дни, сам себе в этом не признаваясь.

Я вспомнил, где лежит моя записная книжка. Я мысленно уже перелистывал ее, обдумывая детали, записывая новые наблюдения, стараясь заключить в план беглую игру воспоминаний...

Я решил поехать.

4

Я люблю ТУМ. Ни в каком другом театре я не видел, как актер, которому роль продиктовала вопрос: «куда же пошел этот низкий человек, так жестоко обращающийся со своим ребенком?» — услышал бы в ответ: «налево, он спрятался за этот дом» или: «да не туда же, не иди туда, там тебя убьют, прыгай вниз, мы спрячем тебя под скамейкой».

Это зрители, безмятежно относящиеся ко времени, вмешиваются в пьесу, считая ее личным делом.

Взрослые, которым часто приходится играть в этом театре детей, принуждены заглянуть в прошлое и

вспомнить, как все это было, когда они были искренними и думали, что таков весь мир.

И тогда, становясь детьми, они возвращаются в круг безкорыстия и благородства, и многие истины спадают с них, как кожа со змеи, меняющей кожу.

«Но не только это, — думал я, хватаясь за ремень в переполненном трамвае, — привлекало Архимедова в ТУМ».

И я вспомнил его слова о том, что у мусульманского пророка было больше сторонников, чем у него. У него только один. Он подбородком указал на ребенка. Его армия — дети.

«Но не только это, — я начинал думать сызнова, машинально следя за своим отражением, бегущим вдоль улиц в трамвайном стекле, — не только это привлекло Архимедова в ТУМ. В этом театре играют его «Физику нравов». Честь, самоотверженность, воинствующая доброта — все, что он хотел бы видеть не только на сцене.

Готические кубики Тиля Уленспигеля вспомнились мне.

«Пойте, свистящие свирели, гнусящие волынки, барабаны, гремящие о славе! Да здравствуют гёзы!

Уленспигель (в знак клятвы поднимая секиру): «Пепел Клааса стучит в мое сердце».

Пепел Клааса. Пепел Класа. Пепел Класса. Когда класс овладевает властью и заявляет, что будущее принадлежит ему, он поднимает акции правды. Пепел класса стучит в его сердце. Что за чушь!

Я взглянул на мою спутницу, не проронившую за все время пути ни слова.

«Но не только это привлекло Архимедова в ТУМ. Он должен был встретить там . . .»

Мы сошли на углу Кронверкского и улицы Красных Зорь.

«Он должен был встретить там, — я нашел, наконец, эту мысль, поднимаясь по лестнице ТУМа, — людей, которые носили провинившегося хлебника в корзине, подвешенной к шесту, носили по средневековым городам, а потом окунали в лужу».

5

Вокруг будущей Индии возились плотники, устраивая, чтобы она вертелась.

Эсфирь спросила у одного из них, где найти Визеля, заведующего монтировочной частью. Плотник указал рукой узкий проход между слоном, уронившим хобот, и Буддой с золотыми запястьями, с наивными глазами.

Здесь были темнота и дверь, очерченная с четырех сторон желтыми полосками электрического света.

Первое, что я увидел, распахнув ее, был Фердинанд. Он ползал по полу, играя рогатой головой быка. Я перешагнул через него, уступая дорогу матери, бросившейся вперед с протянутыми руками.

Архимедов, сидевший за столом, поднял вверх спокойное, свежее лицо. Я не заметил никакого удивления. Он встал, взял свой стул и подал его жене.

— Очень хорошо, что ты пришла, — он сказал это так, как будто они только час тому назад расстались, — мне нужно поговорить с тобой. Посиди немного, мы скоро кончим.

Он пошел обратно, не узнав меня. Не было причин предполагать, что он не поздоровался нарочно.

Длинноногий человек в блузе вскочил при его приближении и почтительно предложил свой стул. Таков был первый последователь нового учителя нравов — длинноногий, растерянный, голубоглазый. Второй был Жаба.

6

Каждый, кто в начале двадцатых годов учился в Ленинградском университете, знает Жабу.

Толстый и шумный, он целыми днями метался по коридору и спорил. Я любил слушать его. Врожденный лингвист, смотрящий на все глазами своей науки, он спорил только о словах. Подобно детям, для которых называние мира подчас является объяснением его, он не мирился с тем, что общий разум уже назвал предметы и назначил им известное место в общей системе понятий. Утверждая, что имена вещей были продиктованы не разумом, но живым впечатлением, он переименовывал мир с такой же легкостью, как женщины переставляют мебель. Имена жили в его представлении отдельно от вещей — и не менее действительной жизнью.

Он был легкий, ленивый, любивший петь или бормотать. Я помню, как, зайдя к нему однажды, я нашел его лежащим на полу, на спине, на полуизорванной «Правде».

Печь топилась, он грел толстые ступни.

Огромный мешок с сахаром стоял подле него по левую руку, а по правую — чайник с водой, и он ел сахар, с хрустом, как сухари. А вокруг там и сям сидели серые крылышки газетной бумаги. Он отрывал от газеты по кусочку, прочитывал и бросал прочь. Когда я вошел, он с кряхтеньем доставал фельетон, застрявший где-то под поясницей.

— Я лежу здесь со вчерашнего дня, — сказал он мне, — и ем сахар; это очень полезно, и врачи утверждают даже, что он вполне может заменить все другие продукты питания. И я прочитал все, кроме этого проклятого фельетона, который застрял у меня под задом. Помоги мне достать его, милый, а я в благодарность расскажу тебе об одном замечательном от-

крытии, о котором ты можешь, при желании, написать отличную книгу с предисловием академика Марра.

Должно быть, в чайнике было что-нибудь, только не чай и не вода, потому что он был пьян.

Открытие касалось театрального языка...

— Почему фарс? — восторженно спросил Жаба. — А почему не скукобой? Почему зритель? Зенкопял! И не спектакль, а созерцины. Смотри, насколько лучше: «Я был на созерцинах!»

Университета он так, кажется, и не кончил. На последнем курсе он вдруг открыл в себе непреодолимую склонность к живописи и бросил лингвистику несмотря на то, что профессора предсказывали ему блестящую научную карьеру. Мне не случалось видеть его картин, но я слыхал стороной, что они были из рук вон плохи.

7

Казалось, только теперь Архимедов признал во мне своего знакомца.

— И вы возьмите стул, — сказал он голосом, не выражавшим ни радости ни недовольства.

Я был здесь лишний.

Рыжий юноша смотрел на меня, плохо скрывая досаду, гримасничая, стуча пальцами по трости Архимедова, зажатой в коленях.

Жаба, всегда шумно приветствовавший меня, внимательно рассматривал брошенную Фердинандом голову быка, сделанную вовсе не для того, чтобы смотреть на нее вблизи.

Я был здесь лишний. Не трудно было догадаться об этом. Тем не менее, я сел и огляделся...

Гимназические тирады Шиллера — вот что прежде всего приходит мне в голову, когда я вспоминаю архимедовский штаб. Это была комната театральных

вещей, деревянного и картонного хозяйства, лишенного профессиональной важности традиционных кулис. Стояли какие-то ромбы, на полу были свалены плоские деревянные прямоугольники, подобные картам, которыми играл Гаргантюа. Реквизит фокусников, раджей, отважных советских мальчиков, разбойников, гёзов просто лежал здесь не задумываясь над смещением законов времени и пространства.

Мысль о том, что все эти легкие куски картона и полотна напоминают детство, игрушки и особенно прикосновение дерева к телу, когда где-то у верстака в детстве я трогал рукой его свежераспиленную поверхность, была последней, заслуживающей упоминания.

Потом Жаба встал из-за стола, толстый, с глоткой и жестами Дантона. Он произнес речь.

Один длинный и мучительный вопрос, в который был включен Ленин и слова «отчаяние и фраза», и слова «ветер Москвы», и требование объявить Республику в опасности, — начал ее:

— Республика . . . — Он открыл рот и закрыл, задохнувшись, — в опасности . . .

Куски макета — высокие башни, узкие окна, стрельчатые дуги — стояли перед ним на столе, и картон зашатался от дыхания.

— Декламаторы . . .

Это была вторая фраза, направленная против художников-декламаторов и художников-дипломатов.

Они виноваты в том, что к каждому цвету примешивается теперь оттенок уличной пыли. Они забыли, что с точки зрения воспроизведения действительности, самой совершенной картиной было бы оконное стекло. Они не понимают, что нельзя нарушать плоскость холста, стены или бумаги иллюзиями еще какого-то пространства, пресловутыми «далями» линейной перспективы.

Жаба не был ни декламатором ни дипломатом.

Поэтому я с трудом припоминаю его длинное путанное нападение на всю современную русскую живопись, от супрематистов до Ахра.

Это не было атакой опытного полемиста, владеющего голосом и словом. Он повторялся, он был слишком ленив для такой речи. Мне казалось иногда. что он говорил нарочно страшным голосом, бу-бу-бу. как в бочку, как пугают детей.

Три риторических вопроса, один лучше другого, закончили его оглушительную речь.

— Не думаете ли вы, что цвет уличной пыли является серьезным поводом для падения честности, личного достоинства, доверия друг к другу? Что девять десятых подлостей не были бы совершены, если бы торцы, например, были раскрашены в разных кварталах по-разному, а улицы по цвету отличались одна от другой?

(Я представил себе Университетскую набережную, перекрашенную в цвета краснокожих и желтых, и Неву, текущую в фиолетовых берегах.)

Жаба взял со стола кусочек картона. Я пригляделся: это был усеянный разноцветными кружками табель-календарь пятидневки.

— Не думаете ли вы (так был начат второй вопрос), что, если дни уже различаются по цветам, стало быть, через два-три года по цветам будет различаться все трудовое население союза? Цвет дня отдыха станет признаком человека!

«Это предсказание, — подумал я, — похоже на одно из сказок Шахразады о том, как рыбак вытащил из пруда белую, красную, желтую и голубую рыбу. И белая оказалась заколдованным мусульманином, желтая — евреем, голубая — христианином, а красная — магом. Красные были магами и во времена Шахразады».

— Не думаете ли вы, — продолжал Жаба, — что мы должны уже теперь, не дожидаясь, когда подхалимы, у которых, скажем, зеленый выходной день, начнут перекрашивать в зеленый цвет свои дома, свою мебель, своих жен и детей, предложить правительству...

Он запнулся на этом слове, потом окончил, устало вытирая рот:

— ...перекрасить мир!

Архимедов слушал его как посла дружественной державы.

Я следил за ним. Несколько раз он с любовью оглянулся на жену и сына, уснувшего на его коленях. Они встретились взглядами — и она сжалась, опустила плечи. Я не мог рассмотреть ее лица: она сидела в тени; видны были только коричневые и розовые пятна ее юбки, которые казались теперь черными и серыми.

В коротких, ясных и немного грустных словах он сделал выводы из путанной речи Жабы.

— В жизни и так очень много вещей, с помощью которых можно обманывать друг друга. Искусство не принадлежит к их числу... Вы правы, утверждая, что закон, написанный плохим языком, уже таит в себе все возможности беззакония. Это относится и к законам искусства... Я понял вашу мысль о братстве поэзии, живописи и политики. Но мне кажется преждевременным ваш проект. Власть стала теперь ученым хранителем страны, но все же, боюсь, она не согласится с вами. Перекрасить мир? — Он без малейшей иронии повторил эту фразу: — Зачем, если он и без того раскрашен в такие удивительные цвета, которые не снились лучшим из наших живописцев?

Задумчивый, упрямый, он встал и пошел по комнате.

Длинноногий юноша — это был Визель — не сводил с него огромных голубых глаз, в которых я увидел почти испугавшее меня обожание и верность.

«Нет, не Жаба, — подумалось мне: — этот длинноногий — вот кто будет его учеником, помощником и другом».

Архимедов остановился перед тазом для варенья, очень странным среди крашеного легкого дерева и полотна. Пышное перо украшало таз. Он висел на стене начищенный, заранее гулкий.

— Что это?

— Головной убор Дон-Кихота, — громко сказал Визель. Он выбежал и вернулся, держа в одной руке противень — щит и в другой — копье, которое было ухватом. — Его копье и щит!

В эту минуту я впервые почувствовал, что все это какая-то игра, полудетская, полутеатральная и получившая право на серьезное значение лишь благодаря тому, что молчаливая женщина с ребенком на руках была ее свидетельницей, вольной или невольной.

Не тот, кто сполна расплачивается за свои слова и поступки, нет, розовощекий юноша стоял передо мной и тихонько, задумчиво стучал пальцами в таз.

Он вдруг надел его.

Звон смолкал на его голове.

Одной рукой он взял противень, другой — ухват.

«А может быть, — подумалось мне, — я напрасно искал черты преобразователя в этом советском Дон-Кихоте?»

Казалось, он угадал эту мысль.

С внезапным отвращением он сбросил с головы таз и швырнул на стол вооружение.

— Непохоже, — сказал он: — он сражался с иллюзиями во имя благородства, а мы сражаемся за благородство во имя...

Он приостановился.

— Во имя? — переспросил я.

— Во имя искусства.

Отвечая, он перевел на меня глаза, как будто увидевши меня впервые. Вновь я почувствовал себя неловко. Миссия моя оказалась ненужной... Ненужной ли?

Не поднимая глаз, сидела в углу Эсфирь, положив ладонь на спящего ребенка. Она была спокойна. Но иногда неподвижность падала как занавес, и открывалось взволнованное лицо женщины, размышляющей, быть может решающейся на серьезный шаг. То вызов проходил по лицу, то отчаянье, то сознание вины. А потом занавес задергивался, и вот уже снова вне подозрений были ее молчаливость и бледность.

Я не знал, на что решиться. Что ж, теперь начать с ним разговор? Я медлил. Но оставаться здесь дольше, не объяснив причин своего появления, наконец показалось мне невозможным.

Я встал и подошел к Архимедову.

— Мне нужно поговорить с вами.

Должно быть, это было сказано взволнованным голосом (я действительно волновался), потому что он посмотрел на меня очень внимательно и с интересом. Потом распахнул дверь и пропустил меня вперед. Мы вышли в монтировочный зал.

— Вы должны заранее извинить меня за этот разговор, — сказал я, — я приехал по просьбе вашей жены.

Мы стояли возле трехколесного велосипеда с тощей конской головой вместо руля, и, продолжая говорить, я понял, что это голова Россинанта. С ухватом в одной руке и противнем в другой, советский Дон-Кихот представился мне верхом на этом велосипеде.

Я вдруг рассердился на него.

— Поверьте, что я не стал бы вмешиваться в ваши семейные дела, они меня отнюдь не занимают. И я не затеял бы этого разговора, если бы ваша жена и ваш друг . . .

Он слушал меня — равнодушно? с волнением? Ничего нельзя было прочесть на неподвижном, ясном лице. Потом он ответил с трудом:

— Ладно, оставим это.

Визель вырос за его спиной, костлявый, с грозным, лошадиным лицом

Он появился во-время. Я решительно не знал, что мне делать с этим странным ответом.

Мы постояли несколько мгновений молча.

— До свиданья, — сказал я наконец.

Архимедов протянул мне твердую руку. Я ушел . . .

8

На верхней галерее, закрытой щитами, Визель догнал меня, заблудившегося среди фанерных перегородок, разделявших театр на куски разноцветных пространств.

— Я провожу вас.

Мы спустились вниз, и он остановился в раздевальне, засунув руки в карманы штанов. Пиджак распахнулся. На левом лацкане был приколот контур лошади, опирающейся передними ногами на три сплетенные буквы. Я вгляделся: у лошади была кудрявая грива, хвост завивался. Она была горбатая, с торжественными глазами.

— Что это?

— Гуингм!

Я смутно припомнил, что этим именем Свифт называл мудрых лошадей, идеал злопамятного англичанина, в чучельном халате цареубийцы.

— Это что же, профсоюз гуингмов? — спросил

я. — Если вспомнить некоторые обычаи, которые Свифт приписывал своим лошадям, навряд ли этот профсоюз пользуется в ВЦСПС равноправием. Ведь это профсоюзный значок, не так ли?

Визель рассмеялся.

— Это государственный герб, — высоким мальчишеским голосом сказал он.

— Вы хотите сказать, что живете в стране, придуманной Свифтом?

Взметнувшись на лестницу, которая вела к открытой двери с силуэтом женщины, склонившейся над письменным столом, Визель поднял вверх узкую руку.

— Свифт растерялся бы в моей стране, — пылко сказал он, — в ней свои законы времени и пространства! Как в империи Карла Великого, в ней никогда не заходит солнце.

Я не знал, что ответить на всю эту чушь. Но Визель и не ожидал ответа. Стремительный, он скатился вниз и остановился передо мной, выпучив глаза, в которых вдруг блеснуло любопытство.

— Послушайте, — спросил он, — что бы вы сделали, если бы в вашей комнате на стене вырос нос?

На этот раз я нашелся.

— Я бы стал вешать на него свою шляпу.

Он взглянул на меня со всем презрением, на которое был способен рыжий. Я понял, наконец, на что он похож — на штатив...

На углу Симеоновской и Литейного я сел в трамвай.

Я уже знал, что вовсе не гуингм был прицеплен к лацкану его пиджака, а Конек-горбунок, который был знаком ТУМа. Конек-горбунок был нарисован и над кассой, и над подъездом, и на синенькой книжке о ТУМе, которая (вспомнил я) как-то попалась мне на глаза в книжном магазине. Так, значит, вот

что это была за страна, в которой растерялся бы Свифт, в которой никогда не заходит солнце! Это — театр. Ну, что ж, рыжий прав ...

Трамвай был полон. Я ехал, машинально переставляя буквы в названиях пьес и кинокартин. Потом поднял голову вверх: качающиеся кожаные петли и узкие зеленые стекла, открывающиеся только летом, снова вернули мне мысль: «И тогда, становясь детьми, они вступают в круг бескорыстия и благородства, и многие истины просто спадают с них, как кожа с змеи, меняющей кожу».

ВСТРЕЧА ЧЕТВЕРТАЯ. РАСЧЕТ НА РОМАНТИКУ

1

Если нажать пальцем на яблоко глаза, — раздвоится все, что он видит перед собой, и колеблющийся двойник отойдет вниз, напоминая детство, когда сомнение в неоспоримой реальности мира уводило мысль в геометрическую сущность вещей.

Нажмите, — и рисунки Филонова, на которых вы видите лица, пересеченные плоскостью, и одна часть темнее и меньше другой, а глаз с высоко взлетевшей бровью смотрит куда-то в угол, откуда его изгнала тушь, станут ясны для вас.

Таким на утро представился мне вечер в ТУМе. Каждое слово и движение как бы прятались за собственный двойник, который я видел сдвинутым зрением, сдвинутым еще неизвестными мне самому страницами этой книги.

Вот почему через две-три недели после девятой главы я стоял в незнакомой прихожей, и Жаба шел мне навстречу с дружески протянутой рукой. Мы поздоровались, а потом он стал как-то топтаться на одном месте, и лицо у него было такое, как будто я свалился как снег на голову, — а между тем я созвонился с ним накануне Он схватил меня за рукав, потащил к себе, — и тут объяснилась причина его смятения. Прекрасная, здоровая женщина стояла посредине комнаты, а у ее ног с восточной важностью сидел на горшке Фердинанд.

Его нетрудно было узнать. Он был непохож на других годовалых. Дитя-делец, солидный потомок эпохи бури и натиска, он даже и на горшке держал себя с достоинством, взвешивая каждое из немногих движений, которыми он располагал. Известное наставление детских врачей о вреде раннего употребления ночного горшка смутно вспомнилось мне, и я немедленно же высказал его, немного перепутав сроки.

— Что вы делаете? — сказал я женщине, едва только закрыл за собою дверь, — его только что отняли от груди, а вы уже сажаете его на горшок? Ведь у него горб начнет расти, разве можно!

Слова эти произвели сильнейшее действие на Жабу. Насупившись, он раза два обошел вокруг младенца, а потом двинулся прямо на женщину, вовсе не в шутку грозя ей толстым кулаком.

— Я тебе говорил, что на горшок еще нельзя! — сказал он сквозь зубы: — Я сам буду стирать пеленки. Сними его с горшка, дрянь!

Женщина заплакала.

— Она кормила его до года, — сказала она сквозь слезы, — я смотрела Жука «Мать и дитя», там сказано, что с семи месяцев уже можно сажать. Ты думаешь, мне трудно пеленку выстирать? Дурак!

Между тем Фердинанд сделал свое дело и встал. Едва покинув пеленки, он был такого маленького роста, что меньше просто нельзя было вообразить себе человеческое существо.

— Мы недавно поженились, — смущенно сказал Жаба, — и вот Архимедовы подкинули нам с Танькой этого детеныша. Собственно, я сам настоял. Они както мотаются последнее время.

Я взглянул на Жабу, потом на его жену, которая, ужасно покраснев, наклонилась над Фердинандом с большим куском ваты в руке (а почтенный ребенок

терпеливо подчинялся насилию), — и странная фигура человека-медведя, промелькнувшая в первых главах той повести, вдруг стала понятной для меня. Это был не кто иной, как Жаба, а Танька — это и была та самая Танька, которую нужно было украсть, покамест ее мать и отец скрывались у родственников от налогов.

— Ну, такую стоило красть, — подумалось мне. Она возилась с Фердинандом, раскрасневшаяся, смешная, и вьющаяся прядь волос была заложена за детское, трогательное ухо.

2

Все комнаты Жабы (а он менял их каждый год) были очень похожи одна на другую. Я уже говорил где-то, что он был толстяк, а толстяки и дети все устраивают по-своему.

Но эта комната была совсем иная. Для него теперь неважно было, что он толстяк. Он пренебрегал этим. И то, что он женился, тоже было неважно. Для него важно было теперь, что он художник; это было видно во всем: с нарочитой небрежностью были брошены на подоконник кисти, какие-то очень профессиональные запачканные щиты стояли в углу, мольберт был огромный, тяжелый. А между тем художник он был плохой, и стоило только раз взглянуть на его картины, с подчеркнутой асимметричностью развешенные здесь и там, чтобы сказать, что они решительно никуда не годятся.

Я остановился перед одной из них, изображавшей пивную (Жаба мне сказал, что это пивная, сам я не догадался бы, без сомнения): сонная морда лежала на столе, а рядом с нею стоял бокал, в котором плавала еще одна морда, поменьше. Та, что поменьше, была, пожалуй, и недурна и даже напоминала чем-то самого художника, но вся картина так плоха, что уж

лучше было бы, пожалуй, употребить холст на другое дело. Граненые цветные квадратики шли по ней туда и сюда, до самой рамы, в левом верхнем углу был приклеен номер шестьдесят четыре, и Жаба объявил, что этот номер играет в общей композиции очень важную роль. Я не возражал.

Все другие полотна были еще хуже «Пивной». Но среди рисунков один показался мне занятным: солдат в рваной шинели стоял навытяжку перед штабом богов. Здесь был и Христос, сухощавый, решительный, в офицерских галифе, с подстриженными по-английски усами, и смуглый Магомет, в котором чувствовался высокомерный воин Востока, и льстивый косоглазый Будда. Правда, все это напоминало известные рисунки Георга Гросса.

— Послушай,—спросил я, когда больше уже нечего было показывать, — а что за человек Архимедов?

Я знал, что Жаба — человек увлекающийся или даже враль. Но это был враль с безошибочным вкусом. Еще в университетские времена, когда, бывало, заходила речь о какой-нибудь новой книге, никто никогда не осмеливался оспаривать его вздорных и остроумных мнений. Потому я был очень удивлен, когда, с той минуты, как я произнес имя «Архимедов», он просто забыл о своих картинах, как будто ни одна из них не висела на стенах его мастерской.

— Архимедов это такой человек, — сказал он серьезно, — это не простой человек. Это — художник, и нам всем до него, как до неба.

— Ты, может быть, не о том Архимедове говоришь?

— Я говорю о папаше вот этого хулигана, — сказал Жаба и показал на Фердинанда, который, сидя на столе, сосал ногу с довольно мрачным видом. — Об Алексее Архимедове. Великий художник.

Он вдруг надулся, побагровел и забегал по мастер-

ской, трогая руками все, что ему попадалось, и сейчас же отталкивая прочь.

Ты еще не видел ни одного мазка, а уже улыбаешься? — спросил он сердито: — Чего ты смеешься? Все смеются, когда я говорю, что Архимедов гениален!

— Где же можно видеть его работы?

Жаба отдувался

— Нигде, — еще сердито сказал он. — Он никому не показывает их. И не продает. Он завещал их пролетариату.

3

— Но ты видел их, не правда ли?

— Видел, — сказал Жаба, и у него стало нежное лицо, — и знаешь, что это такое? Это и есть новое зрение, то самое, о котором вот уже пятьдесят лет говорят все художники от мала до велика. Это искусство человека, который ничего не боится. То, что другим кажется детским, банальным, смешным, — для него самое важное. Это единственный художник нашего времени, который не боится морали.

(Над недопитым стаканом чая, в ночной столовой, Архимедов вдруг появился в этих словах, рассказывающий, важный).

— Мораль? — переспросил я.

— Мораль внимания и доверия, — медленно сказал Жаба. — Внимания к тому, что кажется всем другим незаслуживающим внимания, и доверия друг к другу. Пока еще это профессиональная мораль, этот метод его работы. Но вот уже год, как он бросил работать.

— Почему?

Жаба вдруг прервал свой бег по мастерской. Он сел за стол и между ладоней поместил толстые щеки. Он был теперь похож на бабу. Он вздохнул.

— Танька, я хочу есть, — сказал он.

Танька не слышала. Бормоча: «ты плякал, плякал, мамынька, у, ты мой хороший, а где это у нас попка», она сладострастно завертывала иронически улыбавшегося Фердинанда в пеленку.

— Танька, я хочу есть, — робко повторил Жаба.

— Опять?

— Ничего не «опять», — обидчиво сказал Жаба, — мы когда обедали? — в четыре? Ну, а теперь половина седьмого.

Танька села. У нее был такой растерянный вид, что я немедленно же стал доказывать Жабе, что обжорство вредно для него, что он может умереть от удара.

— Он целый день просит есть! — сказала Танька и молитвенно сложила ладони: — целый день, с самого утра и до поздней ночи.

Жаба шевельнул ноздрями.

— Ты, кажется, что-то жарила? — сказал он. — Ну, ладно, я подожду О чем мы говорили? Ах да, об Архимедове. Ты спросил меня, почему он бросил работать... Милый мой, это не очень простой вопрос. Есть художники, которым сейчас легко работать. Это счастливцы, уверенные в том, что время работает на них. Легкой рукой они берут все, что ни придется, потому что в их хозяйстве все кажется своевременным и нужным. Среди них есть почтенные люди, в которых необыкновенно сильно развит инстинкт исторического самосохранения. А есть и мальчики, которые пришли когда обед был уже съеден... — Он покосился на жену. — Вот, милый мой! Старики, открывшие секрет исторического самосохранения, и мальчики, которые не очень огорчились тем, что, когда они пришли, обед был уже съеден. Но живопись настоящая, единственная, которая нужна своему времени, она обходится без тех и без других.

Это дело страшное, безжалостное, с удачами и неудачами, с восстаниями против учителей, с настоящими сражениями, в которых гибнут не только холсты, но и люди. Это борьба за глаз, за честность глаза, который не подчиняется ни законам ни запрещениям. Это дело такое, что нужно итти на голод, на холод и на издевательство. Нужно спрятать честолюбие в карман или зажать в зубах, и, если нет полотна, рисовать на собственной простыне. И работать, даже если твой лучший друг и брат скажет тебе, что ты занимаешься вздором. — Жаба взял меня за пуговицу. — Вот ты ничего не понимаешь в живописи (я невольно кивнул головой), но и ты засмеялся, когда я сказал, что Архимедов — гениальный художник. Когда-то Гогена приходилось показывать в стеклянных витринах, потому что зрители плевали на его благополучные декорации. На Архимедова не станут плевать, он понятен даже детям, а взрослые говорят, что он просто не умеет рисовать. Но уж лучше бы плевали. — Он говорил все быстрее и быстрее. — Он живет только одним — глубокой уверенностью в том, что новое зрение, ради которого он пропадает, нужно своему времени, что он выдумал его не напрасно. А время идет! И картины висят на стенках и скучают, потому что никто не смотрит на них. И человек, нарисовавший их, тоже начинает скучать, потому что время идет и картины висят на стенках, и еще потому, что нужно умереть для того, чтобы тебя открыли. Вот тогда-то он и начинает требовать, чтобы каждый был честен в своем деле, как он честен в своем. Он бросает работу И мораль, которая была нужна ему для профессии, сама становится профессиональным делом. Он начинает метаться и мотаться и говорить глупости, и его нужно беречь, потому что он еще вернется к работе, и тогда этот вздор окажется рисунками и картинами, в кото-

рых будет ясно доказано, что он был прав, даже если все это, действительно, было вздором.

Жаба замолчал. Отдуваясь, важно выпятив губы, он пошел к старинному резному бюро (в котором он хранил и книги и грязное белье и которое всюду таскал с собой), и достал из кармана ключ. Доска упала, он выдвинул ящик. С маленьким кусочком картона он вернулся ко мне, я взглянул на этот картон, и все возражения на жабову речь, показавшуюся мне слишком высокопарной для человека, бросившего лингвистику для посредственного рисования, вылетели у меня из головы.

Это был эскиз театрального костюма. На картоне был нарисован фрак . . .

4

Когда-то мне казалось, что живопись — это воспроизведение снов, которые пропадают бесследно, если их забыть, а между тем так много душевной силы тратится на то, чтобы их увидеть. Так, в 1919 г. в Москве я встретил свой сон, нарисованный Ван-Гогом. Это было так, как если бы моя тень сказала мне: «не я — твоя тень, а ты — моя».

Потом другая мысль заслонила эти детские впечатления, и я решил, что живопись — это природа, притворившаяся мертвой. Хитрая, она не желает гибнуть раньше, чем человек не воспроизведет ее, и тогда она станет существовать в другом, быть может более совершенном, виде.

Но и эта мысль была оставлена мною, когда я впервые увидел Сёра, Руссо, а потом Татлина, угадавшего какие-то последние слова, которые лишь с таким трудом мы ловим в их слабых ежедневных отражениях. Тогда другое значение живописи стало ясным для меня. Я понял, что это — искусство, которое в праве решиться даже на предсказание в исто-

рии. Самая страшная, последняя смелость, отчаянный отказ от полотна, от кисти, от красок, — все нужно ей для того, чтобы, миновав десятки ступеней, необходимых для неповоротливого ума, в собственной гибели угадать существенные черты исторической катастрофы.

Рисунок, что показал мне Жаба, был из породы таких вещей. Подобно тому, как в стихотворении Мандельштама:

Вывеска, изображая брюки,
Понятье нам дает о человеке,

фрак этот сам по себе уже был человеком. И не только человеком. Черты террора были в этих высокомерно срезанных фалдах, плечи вздернуты вверх; прищуренные, как глаза, смотрели на меня в упор аскетические лацканы революционера.

— Это фрак Робеспьера, — сказал Жаба, — и это было сделано шутя, в десять минут, не прерывая разговора.

Надувшись от гордости, он стоял под зеленой лошадью, с печальным лицом англичанки, и фрак лежал на его ладони как страшная голубая татуировка.

— Ага, ты больше не смеешься? — с торжеством спросил Жаба.

Я не смеялся. Все, над чем я недоумевал, все, что в Архимедове казалось мне надуманным и странным, вдруг объяснилось с такой простотой, что я невольно растерялся, представив себе на мгновение, что Жаба прав, считая его гениальным . . .

5

Фердинанд все время болтал что-то на диком, оглушительном языке, и Жаба, огорчившись в конце кон-

цов, пошел к нему и наклонился над корзиной, заменявшей младенцу колыбель.

— Ну, зачем ты кричишь? — спросил он кротко. — Ты не согласен со мною, что твой отец — гениальный художник? — Жаба обернулся ко мне. — Вот, кстати, одно из его безумств. Ты знаешь, каким образом этот бедный малыш получил такое длинное немецкое имя?

Я сказал, что не знаю.

— На второй день после его рождения я пошел в клинику проведать Эсфирь, — сказал Жаба и положил в рот кусочек черствой булки, который он нашел на окне (а Танька вдруг подбежала к нему, и поцеловала в щеку: «бедненький, милый, милый!»). — Роды были трудные, кроме того для нее самой было как-то странно, что она взяла вот да и родила, и, действительно, на нее это было не очень похоже; словом, я просидел у нее полчаса, и за это время мы не сказали ни одного слова. А потом пришел Архимедов. Тогда я в первый раз увидел его. На нем был старомодный пиджак с круглыми углами, брюки со штрипками, жилет в полоску, застегивающийся до самой шеи. Жилет был бархатный, и на нем болтались брелоки. Это была сама провинция девяностых годов, с разговорами о деле Дрейфуса, с любительскими спектаклями, с вольнопожарными обществами, с балами-маскарадами, на которых первый приз присуждался за либеральный костюм, намекавший на шалости вице-губернаторской жены. В руке он держал цветы и сейчас же, как вошел, отдал их Эсфири. Он поздравил ее, даже поцеловал, кажется, и больше уже не обращал на нее никакого внимания. Сын занимал его. Он подошел к нему и снял очки. Потом вдруг вытащил из кармана штук двадцать осьмушек нарезанной бумаги и положил их в носовой платок. Как ты думаешь, что это было? — Жаба захохотал. —

Это были имена! Он хотел, чтобы мальчик сам назвал себя, без помощи посторонних. И знаешь, у мальчика было ясное лицо администратора, когда Архимедов подставил ему платок. Он вытащил сразу три имени — Гулливера, Фердинанда и Ваську.

Жаба остановился. Едва он назвал эти имена, как Танька, разжигавшая за ширмами примус, так и покатилась со смеху.

— Не слушайте его, он все врет, он каждый раз по другому рассказывает, — крикнула она, и я увидел сквозь створки, немного разошедшиеся на петлях, краешек кофточки, горящую спичку, прядь волос, заложенную за розовое ухо.

— Честное слово, все правда! — поспешно сказал Жаба. — Три имени — Гулливер, Фердинанд и Васька. И тогда Архимедов сказал длинную речь, в которой утверждал, что только арабы носят так много имен. «Не жадничай, удовлетворись одним! Ты — не араб! Сын славянина и еврейки, ты рожден под советским гербом! . .» Пришлось трижды менять пеленки, прежде чем мальчик высказал свое мнение. Он чихнул в конце концов и поднял вверх кулак. — Жаба вдруг снял с носа невидимые очки и принялся тереть их о рукав пиджака. Он был нисколько не похож на Архимедова, но этот жест и голос, вдруг ставший размышляющим и низким, живо напомнили мне его сдержанный и важный облик. — Взгляните на этот кулак, — голосом Архимедова сказал Жаба, — это знак Рот-Фронта. Он хочет быть назван Фердинандом. Предлагая это имя, я имел в виду Фердинанда Лассаля . . .

— Послушай, — сказал я. — А ведь это не его ребенок!

Сам не знаю, почему я произнес эту фразу. Фердинанд в чепчике набекрень лежал поперек своей корзины, и мне вспомнилось, как этот маленький не-

годяй ударил отца в лицо рукою. Жаба выразительно посмотрел на меня, потом засвистал.

— Э, брат, да ты, кажется, суешь нос в чужие дела. Что за вздор, почему ты решил, что это не его ребенок?

— А просто так, — сказал я. — Подумалось, да и только.

ВСТРЕЧА ПЯТАЯ. РОМАНТИКА РАСЧЕТА

1

Я закончил, наконец, свою книгу о бароне Брамбеусе, так и не сумев остановить его от низостей, предотвратить его неудачи, предупредить о том, что его ожидает.

Но зато я прямо плакал над последними письмами его, которые писал он уже несчастливым, одиноким, обманутым самим собою: так много приходило в голову аналогий — печальных и незаконных.

Через силу я дописывал эту книгу, город застилал мне глаза, я уже не понимал простой человеческой речи.

Дописал и уехал, и очнулся лишь среди серовато-зеленых холмов Мцхета, где так явствен разрез времени, бегущий от монастыря (смуглый старик, забытый людьми и смертью, бродит там среди могильных плит и ставит свечи во здравие туристов) по долинам, оттерпевшим гуннов, татар, персов, вниз к Загесу, каменному, ясному, отказавшемуся подражать беспорядку гор.

Я прожил под Мцхетом только несколько дней, но уж и там мне стало казаться, что нет на свете таких людей, как Архимедов, что мои заметки о нем не стоят даже бумаги, на которой они написаны. «Его нет, — сказал я себе, — и то, что я написал, это была не повесть, это был год, который прошел и больше не вернется. Это была усталость. Это был сонный разговор с самим собою, когда, утомленный возней со скуч-

ной подлостью одних, с печальным лицемерием других, ты пробегал по листкам пожелтевших от времени писем, по страницам старинных журналов, по улицам, торопясь домой из архивов и книгохранилищ . . .»

Шпекторов звал меня к себе. Еще в Ленинграде я получил от него письмо, в котором каждый полушутливый вопрос, даже если он касался моих личных и литературных дел, был направлен мимо меня, и самый почерк, торопливый и твердый, был кажется, адресован кому-то другому. Мы никогда не переписывались раньше. В постскриптуме он спрашивал об Эсфири.

2

Он работал в Сальских степях, в одном из крупнейших совхозов. Но, отправляясь к нему, я честно старался уверить себя, что вовсе не профессиональные цели заставили меня так быстро решиться на эту поездку. Под Мцхетом я отдохнул, очнулся, и мне просто казалось, что поездка в места, лишенные иллюзий, поможет мне яснее увидеть границу между мечтаниями и бытом, без которой очень трудно работать и жить.

Я слез с грузовика возле трехэтажного дома, с вертикальными пролетами из стекла, с квадратными коробками балконов. Дом был под номером тридцать шестым. Между тем, только четыре здания стояли по правую и левую руку вдоль главной улицы совхоза да автомобильный гараж, да ремонтные мастерские, да элеватор, сверкавший в красных столбах восхода, как старинные металлические зеркала. Я огляделся и понял: здесь нумеровали еще непостроенные дома.

Узкоплечий человек с добрым утиным носом встре-

тился мне на лестнице. Он был в спадающих коломянковых штанах, и курчавая растительность семита вилась кольцами на плоской груди. Я спросил у него, где живет Шпекторов. Он схватил меня за руку и потащил наверх.

3

Неподвижная, сухая жара стояла в этой комнате несмотря на ранний час и на распахнутые настежь окна. Географические карты валялись здесь и там, стол был завален книгами, хлебом, брунами, табаком, а в углу стояло удивительное сооружение из обручей, веревок и простыни, отдаленно напоминавшее пушку. Из четырех коек, стоявших вдоль стен, я мигом нашел ту, на которой спал Шпекторов, — и вовсе не потому, что над нею висела его турецкая трубка. Койка была длинная, акуратная и, должно быть, жесткая. Ровной складкой было загнуто зеленое мохнатое одеяло, подушка лежала ясная, как день.

А посредине комнаты стоял сам Шпекторов, обмахиваясь мокрым полотенцем. Голый, он был похож на великолепных индейцев Купера, тех самых, широкогрудых, мускулистых, у которых длинные черные волосы, свисающие на лоб, а говорят они голосом низким, гортанным. И грязен он был — как настоящий индеец.

Мы обнялись.

— Вот ты какой стал, — сказал я ему с изумлением, — смотри, пожалуйста, как изменился. Да я бы тебя и не узнал, честное слово. Много работаешь, что ли?

Шпекторов не успел ответить. Утконос в коломянковых штанах вырвал у него из рук полотенце и двинулся к нам.

— Он работает? — переспросил он. — Он работает, как лошадь, днем и ночью. Он думает, что у него

четыре руки и четыре ноги. Его можно видеть и на главном хуторе, и на участке одновременно. Он работает! Ему нужно было сделать за последнюю декаду двадцать километров дороги, он сделал тридцать два. Нет? Не тридцать два?

— Иля, подите к чорту, — сказал Шпекторов и отмахнулся от полотенца, которое, как мокрая белая птица, летало вокруг него. — Все это вздор. Я устал от жары. Вчера было сорок восемь в тени, а работать пришлось на солнце. — Он посмотрел на часы. — Подтяните-ка лучше ваши штаны и пойдемте с нами пить чай.

— Я уже пил, — сердито сказал полуголый...

4

Мы вышли на площадь. Она была белая и большая. Почерневший от времени и дождя, накинутый на шесты, тент стоял посредине ее, а вокруг маленькие деревца, привязанные к палкам, тянулись, как наказанные дети. Это был парк и две девочки с косичками сидели в его воображаемой тени. Шпекторов ласково кивнул им, они разом вскочили и присели. Обе были в бантиках и ленточках, а в руках держали толстые мужские носки и клубки штопальных ниток.

— Немочки, — сказал Шпекторов, — дочки одного инструктора по комбайнам.

Я оглянулся: девочки штопали носки. Как будто переплет «Золотой библиотеки» был вписан в эту скупую площадь с катающимися шарами пыли. Они были кадром Старой Германии, показанным на фоне грязного тента, под которым сидели ни на кого не похожие люди этих мест. Одни были в пастушечьих соломенных шляпах, с цветным ободком, другие — в кепи с длиннейшими козырьками, похожими на клюв пеликана, почти все — в комбинезонах, синих

и серых, а на спине у некоторых были написаны названия фирм: «Adwance Rumely» или «Holt». Они сидели за длинными столами на скамейках, пили чай и жрали хлеб, нарезанный толстыми ломтями. Лица у них были обветренные, загорелые, а у некоторых почти страшные от усталости и пыли. На русских мужиков эти люди были гораздо меньше похожи, чем на конквистадоров, с помощью которых Фердинанд Кортец подчинил Мексику власти испанского короля. Завоеватели, привыкшие к испытаниям трудного, но верного похода, они сидели под грязным тентом и пили свой чай и ели свой хлеб.

И Шпекторов стоял между ними в клетчатых галифе, в полотняных сапогах, веселый и простой, как дерево, которое тут же и выросло и никуда отсюда не хочет уходить. Должно быть, все знали и любили его, потому что едва он появился под тентом, как двое крепко сбитых парней подсели к нему и поставили перед ним кружку с пивом, а потом подсели еще двое, и он говорил со всеми сразу и с каждым в отдельности. Я очень жалею, что не записал этого разговора. Но он шел о каких-то здешних, особенных вещах, нигде в мире не существовавших, кроме как под этим тентом, на этой белой площади, по которой, как детские мячи, каталась толстая пыль, — и многое осталось для меня непонятным.

Я не понял, например, почему все закричали: «а, вот и компот из гадюк!», когда загорелый, голый до пояса человек, с трубкой в зубах, появился в столовой. Не обращая никакого внимания на это приветствие, он протискался между столами и подсел к нам.

— Тося, дайте мне самый холодный пива из этот бак, тот, который снизу есть, — сказал он девушке, принесшей нам хлеб и чай.

Шпекторов ласково хлопнул его по плечу.

— Знакомься, — сказал он мне, — Джино Фанти, механик.

Я следил за девушкой, разносившей чай, и поэтому не прислушивался к тому, о чем, пыхтя трубкой, говорил итальянец. А девушка была хороша. Брови у нее были дугою, глаза матовые, скромные, и она ходила между столами, тонкая и легкая, как птица...

5

— ...Через десять лет мы будем питаться апельсины, бананы, таблетка, — говорил Джино. — Мы будем растить один колос, без корневища. Мне жалко смотреть, как столько хороший земля пропадает под хлеб. Под хлеб мы отведем планета. Мы отправим тебя с твой гредер на луна, чтобы пролатал там дорога. А на Венера мы устроим... Тося, отвернитесь, сейчас я скажу, что мы устроим на Венера... Чайная домики.

Шпекторов приветственно протянул к нему стакан остывшего чая. Они чокнулись.

— Знаешь, мне очень жаль тебя, Джино, — сказал он. — Через неделю я уезжаю. Что ты будешь без меня делать? Кто, без меня, будет слушать твои бредни?

Он сказал это в ту самую минуту, когда Тося вернулась, чтобы убрать пустые стаканы. Поднос зазвенел у нее в руках, стаканы покатились и наехали друг на друга. Ни на кого не глядя она поставила его на стол и наклонилась, чтобы поднять упавшую ложку.

Я посмотрел на девушку, — брови ее были сдвинуты, губы поджаты, и со стола она убирала с такою трогательной неловкостью, что даже стороннему человеку легко было догадаться о причинах ее смятения.

— Славная девушка, — сказал я Шпекторову

когда она отошла. — Честное слово. я ничего не имел бы против, если бы она так же огорчилась, услышав известие о моем отъезде.

Шпекторов улыбнулся.

— Ну, что ты, мне не до этих дел, — сказал он не очень весело, и какие-то смутные признаки душевной усталости прошли по лицу.

Полушутливо-полуторжественно он пригласил нас — меня и Джино — на испытание своих машин, и мы послушно пошли вслед за ним через площадь, а потом отправились в степь, обогнув однообразные коттеджи иностранцев. Широкозадые, горбатые, похожие на бронтозавров, гредеры стояли там, где начиналась степь, и пять человек в грязных комбинезонах ходили между ними, хмуро щупая косящие колеса и страшные тусклые ножи машин.

— Ну, что ж, начнем? — весело спросил Шпекторов. Он вдруг сел на гредер верхом, как на коня, и я подумал, что вот такой же он был в боях гражданской войны — веселый и бледный, с расставленными локтями и немного косящий от опасности и небоязни.

— Начали!

Он опустил нож, и из-под задних колес гредера — медленная, рыхлая — стала выползать дорога . . .

6

Я ничего не понял из разговора, начавшегося после испытания между Шпекторовым и людьми в грязных комбинезонах, и был очень рад, когда Джино Фанти предложил мне пройтись по зерносовхозу.

— Если «а» больше «б» и «б» больше «с», так скорость равна двум километрам в день . . . — передразнил он Шпекторова, чертившего на земле схему своих инструкций. — Это не очень вежливо зазвать свой лучший друг к чорта на куличек и уго-

щать его такая скучная штука... — А, вы уже засмотрелись на наша девочка, — говорил он, когда мы проходили мимо машинного парка и я невольно обратил внимание на ноги, торчавшие под одним из комбайнов, — это очень хороший девушка, ее зовут Аришa. Раньше она была шофером, но, к несчастью, ей понадобился нашатырный спирт, и она влетела в аптеку на автомобиле. Пришлось сделать ее комбайнером. А на комбайне уж не так легко въехать в аптека.

Я посмотрел на ноги с уважением...

— ...Да, мне очень жаль, что он собрался уехать, — говорил он про Шпекторова, когда, вдоволь нагулявшись по Главной улице, мы направились к белым пирамидам палаток, стоявшим в степи за зерносовхозом. — С кем я буду ругаться, когда он уедет? Но это хорошо, пускай едет, ему нужно отдохнуть, он слишком много работает последний время.

— Да, у него очень усталый вид, — сказал я, — мне кажется, он работает больше, чем может.

— Больше, чем может, и еще два раза, — загадочно сказал Джино, — и эти два идут на то, чтобы не очень думать насчет свой личный дел...

7

Институт механизации сельского хозяйства был расположен в семи гессенских палатках, до которых мы добрались наконец. Студенты в пеликаньих кепи сидели здесь, низко склонясь над бумагами, разложенными на длинных столах. Четырехугольная, исчерченная цифрами доска была прислонена к шесту, подпиравшему полотняные своды, и маленький лохматый человечек бегал перед ней, размахивая мелом. Он был весь перепачкан мелом — и лицо, и локти и спина; и мне странной показалась внима-

тельная неподвижность, с которой студенты слушали его отрывистую, картавую речь. Здесь было душно и полутемно, совсем маленькие окна были вставлены в наклонные полотнища, и самый воздух стоял неподвижный, прислушиваясь к страстным крикам человека, бегавшего перед аспидной доской. Трудно было представить себе, что за шаткими стенами этой аудитории лежит большая и трудная степь и солнце стоит над нею как часовой; комбайны ходят в солнечной пыли, штурвальные стоят на мостиках в плотных панцырях грязи . . .

Пересохший земляной пол, как бумага, шуршал под ногами, когда мы уходили из палатки. Во вторую и в третью мы только заглянули сквозь раздвинутую холстину входа, а потом пошли за водой, — я давно уже ходил с высунутым языком как собака. Два бородатых мужика, один в валенках, другой босой, сидели подле бака с водою и играли в карты. Это были вузовские сторожа.

— Ты дурак, Василий Семенов, три раза, — сказал первый, в валенках, у которого был дикий нос.

— Ну, ладно, ладно, сдавай, да намажь пальцы салом! — отвечал второй.

8

Так мы с Джино бродили по главному хутору, и он все показывал мне и объяснял, и из всех его объяснений у меня в памяти осталось только одно:

— Компот из гадюк? Это Шпекторов первый стал звать меня «компот из гадюк». Мы с ним были на один участок, он делал там свой дорога. И вот этот дорога шел через курган, а на курган валялось очень много змей. Это был гадюк, такой змей, который глотает целый теленок. Они вытянулись как струна, когда увидели трактор, и зашипели так, что сердце

у меня упало на пятки. А! Они стояли — и ни с места, только раскрыли пасть и ждали нас как болван, пока мы не раздавили их всех к чортова бабушка. Тогда мне стало очень жалко, что пропало так много хороший, вкусный мясо, и я сказал Шпекторов, что из этот гадюк можно сделать такой компот, что все облизались бы и попросили бы по два порции на брата. Он очень смеялся, и с тех пор каждый день просил Тося подать мне два порции компот из гадюк...

Мы нашли Шпекторова в столовой. Шотландка, залитая маслом, блестевшая как рыбья чешуя, была распахнута на груди, у него было счастливое, грязное лицо, и я понял, что испытание гредеров окончилось его победой.

— Я доказал им, что при дифференциации задания, скорость увеличивается вдвое, — объяснил он. — Ты понимаешь, раньше говорилось: один отряд на такой-то скорости должен сделать за день два километра...

— Ну, началось, — сказал Джино и вдруг поймал за рукав утконоса в коломянковых штанах, пролетевшего мимо с кружкой пива в одной руке и с какими-то синими билетиками в другой.

— Что это, ты, кажется, опять таскаешься с пивом? Ты тут сопьешься, и что я потом скажу твоей мама? Садись сюда, вот тебе стул, — он посадил утконоса на стул, — и расскажи нам какой-то веселая штука, а то этот Шпекторов очень надоел со своя гредерная дорога.

Шпекторов рассмеялся чистосердечно, от души, и вдруг снова стал гимназистом: таким сидел он передо мной, когда, удрав однажды с урока закона божьего, мы выкурили в Ботаническом саду по нашей первой папиросе.

— Ты знаешь, что это за человек? — спросил он

меня и ласково похлопал утконоса по плечу. — Это безумец, добившийся того, что к осени все дома зерносовхоза будут окрашены в разные цвета, начиная с цвета этих помидор и кончая цветом его собственного утиного носа. Он думает, видишь ли, что серый цвет является серьезным поводом для падения честности, доверия друг к другу и веры в торжество социализма. Он, видишь ли, уверен, что мы добьемся не тридцати пяти, а восьмидесяти пяти центнеров на гектар, если телеграфные столбы в разных участках будут окрашены по-разному и комбайны будут отличаться один от другого по цвету.

— Шпекторов, поди ты к чорту, — сказал безумец добродушно. — Это не я так думаю, а Институт рационализации труда. И не так, а совсем по-другому.

От смущенья он отхлебнул сразу полкружки пива, и Джино долго бил его ладонью по спине.

— Жаль, что вы отрекаетесь от этой мысли, — сказал я, когда представитель Института рационализации труда прочухался настолько, что мог уже понимать человеческую речь. — Приезжайте к нам в Ленинград, и я познакомлю вас с людьми, которые уже давно предлагают перекрасить мир. Правда, они идут еще дальше, чем вы. Они думают, что девять десятых преступлений не было бы совершено, если бы каждый кирпич, из которого строится дом, отличался от другого по цвету. Ты догадываешься, — спросил я Шпекторова, — о ком я говорю?

Шпекторов медленно откидывался назад. Он не смотрел на меня. У него было сумрачное лицо, и разговор этот вряд ли был ему приятен. Впрочем, он ответил равнодушно:

— А! Ну, это ведь, кажется, совсем другое дело . . .

9

Шел второй час ночи, когда мы остались, наконец, одни, в маленькой кухне (здесь было прохладнее, чем в комнатах раскалившегося за день железобетонного дома Руссгерстроя). Мы лежали на полу, подбросив под себя пальто и одеяла. Все слышен был ровный прибой катерпиллера, добывавшего воду (я вспомнил, как он дрожит и бьется на одном месте, напоминая больших пленных животных, бродящих по клетке с печальной машинальностью гнева), вдруг начинался на постройках невнятный, быстрый шум, что-то ссыпали, а иногда слышалось печальное бормотанье воды, бегущей по трубам, где-то под полом, под нами.

Шпекторов лежал, заложив руки под голову, подогнув колени, и голубоватый свет не то луны, не то фонаря на лесах водонапорной башни падал на умный профиль с насмешливой линией рта.

Он был легок и язвителен в эту ночь — легкостью очень утомленного человека, язвительностью, в которой мелькало подчас глубокое душевное недовольство, быть может то самое, на которое намекал мне Джино: «не очень думать насчет свой личный дел».

Мы говорили о дорогах, о том, что дороги меняют людей, а потом об этом мальчике из Института труда. А потом я рассказал ему, как мы с Эсфирью ездили в Тум, и все, чему был свидетелем в тот вечер.

— Ты поручил мне заведомо безнадежное дело. Я уговаривал Архимедова вернуться к жене, которую он и не думал бросать. Скажи, а ты знал о том, что он художник?

Шпекторов уставился в потолок.

— Да, он, кажется, одно время учился рисовать, — сказал он небрежно, — впрочем, за те два года, что я с ним знаком, он переменил десятка два профессий,

не меньше. Одно время он был, например, аптекарским учеником

— Ты шутишь!

— Ничуть. Еще до приезда в Ленинград он у себя на родине сдал экзамен на аптекарского ученика. Я думаю, что именно это его и погубило.

— Что же именно?

— Этот экзамен, — серьезно сказал Шпекторов. — Ты понимаешь, оказалось, что в двадцатом веке, в Союзе Советских Социалистических Республик, в эпоху диктатуры пролетариата, есть еще люди, которые говорят по-латыни. Для такого человека, как Архимедов, это должно было иметь глубокое значение. Немедленно же он вообразил себя живущим в средние века и на третью неделю службы послал в бюро Всемедиксантруд обширный проект, в котором предлагал учредить особый цех аптекарей. В качестве герба он рекомендовал, кажется, зубную щетку.

Я развел руками.

— Ей богу же, не пойму, когда ты правду говоришь, когда врешь!

— Все правда, до последнего слова, — смеясь сказал Шпекторов. — Ну, может быть, не зубную щетку, что-нибудь другое, Эсмархову кружку, например. Но слушай дальше. Из аптеки он поступил в Древтрест, потом делопроизводителем в губернский суд. И вот за что его выгнали из суда: шел процесс двух китайцев, поссорившихся из-за того, что один, воспользовавшись сходством фамилий, получил за другого по векселям на крупную сумму. Одного звали, кажется, ЮЮ, а другого просто Ю. И вот, улучив минуту, когда суд ушел совещаться, Архимедов встал и предложил китайцам окончить дело единоборством. «Я слышал, — сказал он, — что этот способ решения запутанных дел вполне соответствует обычаям

вашей страны. Мы — друзья революционного Китая и сделали бы, поверьте, все, что от нас зависит, если бы в точности знали, кто из вас вор и на чье имя были, в действительности, выданы спорные векселя. Но в результате судопроизводства это, как видите, так и осталось неизвестным. Итак, не стесняясь, хватайтесь за ножи и торопитесь закончить это дело, потому что суд сейчас вернется».

Разумеется, Шпекторов шутил. И очень зло, потому что не так уже трудно было представить себе Архимедова произносящим в суде такую речь.

— После этого он поступил еще куда-то, потом куда-то еще и, наконец, уже никуда. Покинул сей суетный свет, снял комнату на чердаке и предался размышлениям.

Я слушал, стараясь вернуть в границы подлинности рассказ, полусерьезный, полушутливый.

— На чердаке, — повторил Шпекторов и подчеркнул это слово, — вот, должно быть, тогда-то он и открыл в себе гения по рисовальной части. В других условиях это было бы еще полбеды. Но так как он жил на чердаке, да еще к тому же от времени до времени голодал, гений этот стал обрастать разными горестными размышлениями, главным образом насчет морали. Аптека и чердак — вот ключ ко всей этой философии.

Ключ показался мне неверным. Аптека — может быть! Аптека с детства казалась мне сомнительным местом. Шары в окнах, латынь — все это верно. Загадочная важность аптекарей, среди которых особенно много евреев-чудаков, с почтенной старинной традицией сумасшествий, переходящих из одного поколения в другое. Но чердак! Еще с восьмидесятых годов русский чердак сменился печальным подпольем кающихся интеллигентов. Философы слезли

с чердака, и с тех пор там никто не живет кроме одичавших кошек . . .

10

Шпекторов давно уже спал, а я все ворочался с боку на бок, все не мог уснуть. То постель казалась мне жестка, то распахнутое настежь окно скрипело петлями под ветром. Я встал, наконец, и привязал сломанный шпингалет к ножке кухонного стола. Я по-другому сложил пальто Шпекторова, служившее мне постелью. А потом я улегся с твердым намерением непременно уснуть и пролежал еще два часа с открытыми глазами. День проходил передо мной, жаркий и полный значения, медленный и требующий отчета, и только теперь я начинал смутно догадываться, что это был не простой день. С детства знакомое чувство ночных воспоминаний уже пришло ко мне, и вновь я говорил с Джино, и вновь сидел в душной полотняной аудитории Института механизации, маленький человек бегал перед аспидной доской, и студенты, которым было очень трудно, труднее, чем мне, когда я был студентом, напряженно слушали его картавую речь. «Эти люди и места, которые ты видел сегодня, — сказал я себе, — этот город молодых, страна, в которой дома растут быстрее, чем хлеб, она сегодня о многом говорила с тобой. Прислушайся, тебе только двадцать семь, и историю ты еще не перестал замечать. Подумай над этим, ведь ты еще молод!»

Я догадался, наконец, почему я не мог уснуть. Подушка была низка — вот в чем дело! И так, и этак укладывал я ее и взбивал, и ставил на угол — все низка она мне казалась.

Тогда я встал и отправился в комнату за тючком, в котором было все мое походное снаряжение. Здесь были храп и духота, луна лежала на полу, все спали

голые, и у волосатого представителя Института труда был вид оратора, уснувшего на самой пылкой фразе.

Я нашел тючок, прихватил по дороге пиджак Шпекторова, висевший на гвозде подле двери, и вернулся на кухню.

Тючок был уже уложен, постель, в которую был включен пиджак, готова к новым реформам, когда складывая его, я вдруг выронил откуда-то четырехугольный кусочек картона. Это была фотографическая карточка. Я подошел к окну, и мне показалось знакомым изображенное на ней печальное и надменное лицо. Черные мелко-кудрявые косы спускались с плеч, узкая челка падала на решительный лоб, тюлевый шарф, чем-то напоминавший фату, был завязан узлом на груди.

Я хотел уже положить карточку обратно, когда, блеснув против света, передо мной открылись тонкие чернильные линии на темном фоне фотографической пленки.

Упрекая себя за любопытство («ну вот, ты уже начал вмешиваться в чужие дела, да еще к тому же и личные дела, которыми вовсе уж не следует интересоваться»), я тем не менее прочел эти шесть слов, написанных уверенной и твердой рукою: «Не забывай, что я люблю тебя. Эсфирь».

ВСТРЕЧА ШЕСТАЯ. ЗВЕЗДА ПОГАСЛА ДВЕСТИ ЛЕТ НАЗАД

1

Случалось ли вам видеть когда-нибудь, как один человек (есть у меня такой приятель) на улице хватает за рукав другого, которого он видит первый раз в жизни, долго всматривается в него сдвинув брови, и, наконец, говорит, отрицательно мотая головой: «Не узнаю».

Так я, по возвращении в Ленинград, встретился со своей записной книжкой.

Разница была лишь в том, что я действительно думал, что знаю ее, а она оказалась незнакомой.

Я прилежно ломал себе голову над фразой: «Подхалимы, у которых зеленый выходной день, перекрасят в зеленый цвет свою мебель, жен и детей».

Я взял ее за рукав, долго всматриваясь в лицо, и, наконец, сказал, отрицательно мотая головой:

— Не узнаю.

И то же самое я сказал другой фразе: «Язык детей мы объявим законным, пассажирница — так будут говорить в трамваях».

И третьей, и четвертой, и пятой — и всей странице, на которой первые строки этой повести были набросаны торопливой рукой.

Два месяца я провел в реальном мире, среди людей, которые не теряли времени на размышления о морали и не придавали цвету своих штанов решаю-

щего значения. Простая и великолепная уверенность в своей правоте была их единственной философией.

Так разителен был контраст между ними и тем, что занимало меня до поездки, что я не стал бы, разумеется, продолжать эту повесть, если бы случай не столкнул меня с людьми, которые досказали ее за меня. Свидетели того, что случилось с моими героями, они просто лишили меня слова, и книга дописалась сама собой. Подобно зоологу, восстанавливающему по одной кости внешность исчезнувшего животного, мне оставалось только связать разорвавшиеся концы этой истории, для того чтобы представить себе и читателям все, что перешагнуло границу моих наблюдений.

Свидетелем этой главы был доктор Веселаго.

Я давно знаю этого человека. Он большой, белокурый, и, встречаясь с ним, я завидую душевной ясности северного человека, встречающегося со смертью как со старым уважаемым гостем, другом отца.

2

Он рассказал мне, со всей лапидарностью, которую я, к сожалению, не в силах сохранить, что, возвращаясь после какого-то утомительного заседания домой, он соскочил с трамвая у Публичной библиотеки и, обогнув театр, прошел по направлению к улице Росси.

Шел двенадцатый час, когда возвращающиеся из театров утраивают движение Ленинграда.

Поэтому он не обратил внимания на толпу, собравшуюся в проезде по левую руку от театра.

Но вскоре два конных милиционера появились из-за угла, оттесняя зевак крупами своих коней. Тогда любопытство победило усталость, и доктор перешел дорогу.

Придерживая кобуру, милиционер встал на колени перед люком. Крышка отскочила.

— Эй, есть тут кто?

Мужчина в финке и кожухе, должно быть дворник, стоял подле него с веревкой в руках.

— Позволь-ка я, товарищ, — сказал он и перекинул веревку через плечо.

Доктор обошел верхового и заглянул в люк — темно и тихо.

— Вылезай, стрелять буду, — кричал милиционер.

— Так они тебе и отзовутся, — сказали в толпе.

— А я бы их всех убила, — со злобой объявила востроносая женщина, в потрепанном макинтоше, — на прошлой неделе прямо из рук сумочку вырвали.

Дворник медленно влезал в дыру. Он зачем-то обмотался веревкой, подтянул голенища. Он исчезал, начиная с ног.

— Разойдись, — кричали конные.

Толпа все прибывала.

Дворник исчез, потом выскочил обратно.

— Идут!

Милиционер поправил кобуру, подтянул ее по ремню поближе.

Слабый свет перерезал круглое темное отверстие тепловой трубы. Маленькая рука легла на обод, и мальчишка лет четырнадцати, с погасшим на лету карманным фонарем, появился на тротуаре.

Доктор хорошо разглядел его. Это был так называемый шкет, длиннорукий, рыжий, с впалой грудью и нежным лицом.

Он положил фонарик в карман и подошел — не к дворнику, не к милиционеру, но к штатскому в клетчатой кепке, который скромно стоял в стороне заложив руки в карманы своего стандартного пальто.

— Ну, что ж, выселяешь?

— Выселяем, выселяем, — быстро сказал штатский. Он оглянулся на толпу стеснительно улыбаясь.

Шкет взялся рукой за сердце. Без шапки, в рваном пиджаке, он стоял, мрачно преодолевая дурноту.

— Выселяете, сволочи? — снова спросил он сквозь зубы — Сами в квартирках с занавесочками засели, а нам в трубах не даете жить?

Он прыгнул в люк.

Скромный в штатском все улыбался. Конные кричали. Все напряженно смотрели на выходное отверстие трубы: темно и тихо.

— Вылезай, слышь, хуже будет, — закричал вдруг дворник.

Тогда из трубы показался пожилой беспризорный в пенсне. Он был грустен и тих. В руках он держал бумагу. Университетский значок был приколот к отвороту пальто.

— Это что у вас? — показав на бумагу, коротко спросил штатский.

— Мандат.

В толпе захохотали.

— Я являюсь представителем ста тридцати четырех граждан Союза, проживающих в теплофикационных трубах на улице Росси, — сказал беспризорный. — Они поручили мне передать вам следующее: не желая оставаться в стороне от стихийного энтузиазма масс, охватывающего мало-по-малу все стороны жизни, беспризорные подчиняются приказу о выселении. Но выехать они могут не раньше, как через три дня. Напоминая, что даже своих классовых врагов Откомхоз предупреждает о выселении за две недели, беспризорные надеются, что просьба их не будет отклонена. Вместе с тем, они торжественно обещают, что за эти три дня в районе от Публичной библиотеки до Апраксина двора не пропадет ни одного предмета — роскоши ли, широкого ли потребле-

ния, принадлежащего ли частному лицу, или, равным образом, государству.

Доктор Веселаго клялся, что речь эта была произнесена без малейшей иронии. Она была втрое длиннее и, по его словам, с цитатами из Маркса.

Несмотря на цитаты штатский слушал речь равнодушно.

— Патрикеев, они покуда с той стороны уйдут, — не дождавшись конца, сказал он конному, и тот поскакал вдоль тротуара крича на прохожих.

Беспризорный побледнел. Тонкой, дрожащей рукой он поправил пенсне и медленно стал уходить в воротник.

— Мы просим доверия, — возразил он.

Штатский показал на него глазами. Подошел милиционер и стал щупать карманы.

— Оружия ищет, — с жалостью сказали в толпе.

Тогда появился человек, которого доктор Веселаго сравнил одновременно и с послушником и с якобинцем.

— Он был в каком-то старомодном пиджаке, — сказал доктор, — в очках. Судя по движениям, можно было дать ему лет сорок, судя по манере говорить — семнадцать. Несмотря на то, что одет он был более чем скромно, я с первого взгляда принял его за иностранца...

Этот человек прошел сквозь толпу, — перед ним расступались.

Он поднял руку.

С плотно поджатыми губами, в очках, которые блестели ироническим светом, он стоял на мостовой, и твердая рука была поставлена, как парус, с раскрытой ладонью и пальцами, побелевшими на сгибах.

Все молчали. С перекрестка доносилось разбегающееся гудение трамвая.

— Что вы делаете? — вежливо спросил штатский.

Не опуская руки, человек в старомодном пиджаке медленно обернулся. У него был суровый, спокойный голос, и он сказал так, как будто это было понятно без объяснения.

— Я? Голосую за доверие!

Он взглянул на милиционера, еще шарившего в карманах беспризорного с университетским значком.

— Отпусти его, — сказал он. — Он дал тебе слово. Или ты не доверяешь ему, потому что вместе с крысами он живет в тепловой трубе? Ты все еще не доверяешь бедным? Или ты думаешь, что революция не нуждается в благородстве?

Штатский внимательно слушал его.

— Виноват...

Человек в старомодном пиджаке остановил его.

— Взгляните!

Он показал на небо.

Штатский невольно поднял голову.

Подняли вслед за ним и все стоявшие вокруг.

Поднял и доктор: звезды, рельеф луны, тушь, переходящая в чернь, облака.

— Звезды! — звонко сказал оратор. — Вот та, налево, над шлемом воина, сдерживающего коней, — он указал на скульптурную группу, украшающую фронтон Государственного театра драмы, — она потухла двести лет назад. Но она была так далека от земли, что свет ее еще доходит до нас, и мы видим ее, погасшую в пространстве, но во времени продолжающую сиять.

Давешний шкет вылез из-под земли и присел неподалеку от него на тумбу. Почесав голову, он задрал ее к небу.

— Звезды, зажженные конквистадорами! — торжественно сказал проповедник.—Они погашены три-

надцать лет назад, но свет их еще доходит до нас. Свет погасшей морали. Это он учит нас подозревать соседа, брата, жену.

Еще один беспризорный, косой, в висячих штанах, вылез из люка и тихонько прикурнул подле ног своего соседа.

За ним, пугливо оглянувшись, высунул голову третий.

— Сто тридцать четыре человека просят доверия у республики бедных, — и вы берете на себя смелость им отказать. Сто тридцать четыре человека, живущих вместе с крысами в тепловой трубе, дают вам честное слово,— и вы . . .

Один за другим беспризорные выходили из люка. Уж целая толпа, оттеснившая толпу зевак, стояла за спиной этого человека.

Это было явлением почти театральным.

Старики в отрепьях рединготов, женщины в печальной прозодежде обманутых матерей, аристократы шпаны, которых легко было узнать по лоснящемуся клоку волос, круто зачесанному на лоб . . .

Здесь был знаменитый нищий с неопрятной губой, тот самый, что кончал свои просьбы словами: «И не думайте, граждане, что так легко и приятно, если просить милостыню», и другой — почтенный, длинноволосый, тихий, в котелке и рыжем пальто.

И, как крысолов, обманутый магистратом и, в отместку, уводящий из города детей, вместо крыс, стоял перед ними Архимедов.

«В старомодном пиджаке с круглыми углами, — вспомнилось мне, — в бархатном полосатом жилете, застегивающемся у самой шеи. Провинциал, привыкший к узким улицам, где слышен свой голос. Художник, переоценивший силу собственных раз-

мышлений, но, быть может, по праву считающий себя гениальным . . .»

— Ну, его и задержали, — неожиданно закончил доктор.

— Кого?

— Но, боже мой! Да этого чудака! Или вы думаете, что в наше время можно безнаказанно нести такую гиль в двух шагах от Проспекта 25 Октября и Улицы 3 Июля?

3

Первой мыслью моей было зайти к Шпекторову (он должен был вернуться на-днях) чтобы посоветоваться с ним о судьбе человека, в котором он принимал участие — вольно или невольно. Но я передумал. «А что, если он знает об этом? — спросил я себя. — «Или более того, считает, что Архимедова уже давно пора арестовать за его вздорные речи?» — Я решил отправиться к Виделю, в ТУМ.

И по странному совпадению обстоятельств времени и места, я встретился в ТУМе с такими вещами, которые снова убедили меня в том, что я еще очень мало знаю о личных делах моих друзей и участников этой книги.

Началось с того, что у меня появилась вторая тень . . .

Прошло время, когда, доверяясь воображению, я писал рассказы о том, как лейпцигские студенты менялись своими тенями, и подмастерья, отправляясь в путешествие за «полезными науке мираклями», свои отраженья в зеркалах оставляя невестам на память. Теперь никто не мог бы убедить меня, что у человека без всякой причины может возникнуть еще одна тень, кроме той, что полагалась ему от рождения.

Меж тем она появилась когда он был в пяти-де-

сяти минутах от ТУМа. Широкоплечая, она вдруг заскользила передо мной по торцам, и я привычно следовал за нею до тех пор, покамест не нашел глазами другую, которая уже без сомнения была моей.

Я обернулся, — и знакомое лицо с насмешливой резкой линией рта мелькнуло под низко надвинутым козырьком мохнатой клетчатой кепки.

Не сомневаясь в том, что это был Шпекторов, я негромко окликнул его.

Но он быстро прошел мимо, распахнул дверь, мелькнул где-то в стеклах, и лестница была уже пуста, когда я поднимался по ней, недоуменно пожимая плечами.

4

Визеля я нашел в маленькой фанерной комнате, одной из тех, что выходят в монтировочный зал ТУМа. Макеты старых и новых постановок стояли на полках вдоль желтых стен, на столе лежал плакат под названием «Краткое содержание первого акта пьесы «Гражданин Дарней».

Он был свеже-вычерчен, еще не просохла тушь, и Визель, заросший, страшный, в расстегнутой синей блузе (рыжая борода росла у него на груди), выводил кисточкой последние небрежные, похожие на клинопись, буквы.

...Жена виноторговца Дефарж записывает в своем вязаньи преступление старого маркиза и отмечает приметы его шпиона...

Он облегченно вздохнул, волнистой линией подчеркнул последнюю строчку, осторожно снял со стола плакат и положил на его место свернутый в трубу лист ватмановской бумаги. Худые лопатки двигались под синей блузой, он медленно развертывал лист.

Это был странный рисунок: в разных направлениях шли линии, согнутые, как натянутый лук, и везде были окна, двери и окна, и даже на небе была нарисована дверь.

Это была городская площадь (я принял ее сперва за рыбачью сеть), опоясанная домами, в которых только опытный глаз мог бы, пожалуй, угадать длинные пилястры, остроконечные арки, стрельчатые дуги готического средневековья.

Но полно, были ли это дома? Вряд ли, потому что сквозь стены я отчетливо видел волнистую линию реки, а улицы, с раскачивающейся перспективой фонарей, шли выше окон и водосточных труб; вдали вставало, утыканное черточками, добродушное солнце детских рисунков.

— Что вы рисуете?

— Марсово поле.

Я посмотрел на клоунский клок волос, торчавший на его голове как петушиный гребень.

— Только что проезжал мимо Марсова поля: уверяю вас, ни малейшего сходства.

Он выпрямился, сложил на груди руки. Он презирал меня, — это было совершенно ясно.

— Марсово поле, — сказал он ворчливо и высокомерно, — станет таким, когда кирпич будет подвергнут изгнанию и его заменит стекло, не наше глиняное, а другое, которое научились делать из дерева англичане; когда искусство правильного чередования вещества и пустоты вновь станет законом для зодчества; когда готические здания будут казаться кубиками, сложенными под руководством няньки . . . Вы ищете сходства с настоящим. А мы — с будущим. Марсово поле будет таким. Оно нарисовано здесь совершенно точно.

Голос Архимедова был слышен в этих фразах.

Но Визель был суетлив; он не знал, что делать со

своими руками. Он кричал, торопился, не видел себя.

А его учитель был неторопливый, величественный, и плавное спокойствие движений придавало самому его молчанию убедительность сосредоточенной речи.

5

— Послушайте, — сказал я, наскучив всем этим наконец, — а вы знаете, что Архимедов арестован?

Он выронил кисть, и она забрызгала его синие штаны, прозодежду театральных рабочих. Он медленно вытер краску и сел, опустив голову, расставив костлявые ноги.

«Штатив» — вспомнилось мне. Но теперь это был сломанный штатив.

Не припомню, в эту ли минуту или несколько раньше, я почувствовал с раздражением, что все это происходит как бы нарочно: поза Визеля, сидевшего на столе так, что даже его худые лопатки выражали задумчивость, смешанную с отчаянием, показалась мне придуманной, театральной.

Так уже было со мною в тот вечер, когда я взял на себя смелость явиться в ТУМ, чтобы поговорить с Архимедовым о его семейных делах.

Но тогда сидела в углу молчаливая женщина, одинокая, от которой ушел муж. И ребенок, живой среди актеров, ползал у ее ног. И она отказывалась играть, — вот что придавало некоторое правдоподобие странной сцене с вооружением Дон-Кихота.

— Где его жена? Я бы хотел поговорить с нею.

— В костюмерной.

Я встал и двинулся к двери.

Визель уже стоял на пороге, в длинных висячих штанах, с встревоженным лицом, более чем когда-либо напоминавшим морду коня.

— Она ничего не знает.

— Но ведь он пропал три дня тому назад. Неужели она даже не беспокоится о его исчезновении?

Визель стянул с себя блузу. У него была худая шея, с огромным кадыком мастеровых. Он был похож на портного-неудачника из андерсеновских сказок.

— Случается, что его по неделям не бывает дома.

— Где же он пропадает?

Визель подозрительно взглянул на меня.

Он переодевался, был теперь без штанов, и необыкновенно худая нога болталась, закинутая на ручку кресла.

— Не знаю . . .

Мы шли по коридорам декораций, стоявших вдоль стен монтировочной части, и смеющиеся, синеблузые люди, охапками таскавшие откуда-то бутафорский хлам, окликали Визеля ежеминутно.

В этот вечер в ТУМе собирали утиль. Два огромных ящика, стоявшие посредине залы, были уже до краев наполнены отслужившими в свое время предметами театрального реквизита.

Я приметил в одном из них множество кукол, но не придал этому, разумеется, никакого значения. Равнодушный, я прошел мимо них, не догадываясь о том, какую существенную роль в жизни моего спутника (который шел впереди меня вздернув хмурые острые плечи) сыграют впоследствии эти печальные петрушки, сидевшие повеся нос вокруг пробитого барабана.

6

Маленькая фанерная дверь приоткрылась, и я увидел Эсфирь.

Она сидела, опустив на колени костюм, упавший цветными пятнами на ее скромное серое платье швеи.

Она, должно быть, устала, задумалась, и рука

с блеснувшим на среднем пальце наперстком, как чужая, лежала на краешке желтого стола.

Такою же легко было вообразить ее и ночью, когда театр смолкает и нет вокруг никого, кто мог бы спросить ее, о чем она задумалась, и понял бы, не дождавшись ответа, что она очень одинока, что одиночество ее тяготит.

Я хотел войти. Визель взял меня за руку.

— Мне жаль ее, — сказал он негромко.

— И мне.

Мы помолчали. Эсфирь шевельнулась, костюм упал с колен, она медленно подняла его и вновь принялась за шитье.

Все же я, должно быть, вошел бы в костюмерную (хотя Визель бормотал: «мы ей потом, потом расскажем», и хватал меня за рукав и снова бормотал: «не все ли равно, ведь она ничем не может нам помочь»), но моя вторая тень, та самая, в существование которой я не верил, вдруг пронеслась в трюмо, стоявшем где-то между гроздьями театральных костюмов, и я опустил руку, уже готовую распахнуть дверь . . .

Это был голос умного человека, который еще не научился говорить такие слова, голос знакомый с гимназии, с детства . . .

— Ты знаешь, что для тебя и того, кто дорог тебе, я сделаю все, что в моих силах, кроме того, что ты сама никогда не потребуешь от меня.

Не знаю, слышал ли эту фразу Визель.

Он опустил мой рукав на волю и стоял, выпрямившись, и я подумал, взглянув на него, что он знает, должно быть, втрое больше меня о некоторых вещах, до которых, в сущности говоря, мне нет никакого дела . . .

— Я не требую, я прошу.

Говорят, что у тяжело больных незадолго до смерти бывает Гиппократово лицо, — когда потем-

невшие черты его кажутся высеченной из камня маской. Я не видел теперь ее лица. Но это был Гиппократов голос.

— Зачем тебе нужен этот человек? Для раскаянья? Хочешь, я напишу ему, что это наш ребенок?

Я сделал шаг в сторону от фанерной двери. Но Визель? Визель и не думал уходить. Засунув руки в карманы, свалив голову на бок, он стоял и задумчиво вытягивал губы.

— Ты не знаешь его. Ты в него не веришь. Если я уйду, ему будет еще тяжелее. Я должна беречь его. Я останусь с ним. Я не могу иначе.

Потом наступило молчание. Потом тот же голос, усталый и ласковый, сказал так медленно, как будто разбирая в сумерках знакомый, но позабытый почерк:

— А помнишь, ты смеялся надо мной, когда я говорила, что не ушла бы от него, даже если бы полюбила другого. Вот видишь, а ты мне не верил...

— Мне кажется, что она уже знает об этом, — шопотом сказал я Визелю, — но даже если и нет, не все ли равно? Ведь она ничем не может нам помочь.

Садясь на извозчика, я ждал, что Визель скажет адрес. Должно быть, Визель в свою очередь ждал, что это сделаю я.

Поэтому извозчик, потряхивая возжами, дважды спросил: «куда ехать-то?», прежде чем мы оба, в один голос, сообщили ему хорошо известный каждому ленинградцу адрес...

«... А помнишь ты смеялся надо мной...» — Эта фраза вернулась ко мне, когда мы переезжали Фонтанку. Как будто я вновь приоткрыл маленькую фанерную дверь и женщина с печальным и надменным лицом сидела передо мной, опустив на колени цветную ткань. Должно быть, вот так же она сидит по ночам, когда театр смолкает, или бродит, молча-

ливая, с поджатыми губами, по темному театру, поднимается по легким лестницам, заходит в гулкий зрительный зал.

«... Даже, если бы полюбила другого ...» — Я взглянул на Визеля, сидевшего в пролетке очень прямо. У него были горестные вылупленые глаза, унылый нос — и я ни о чем его не спросил.

Но фраза все не оставляла меня. Уж и набережную мы миновали и пересекли Проспект 25-го Октября, и она все повторялась в уме, все начиналась сначала.

Уж извозчик остановился у подъезда. Визель, встревоженный, нахохлившийся, уже встал в очередь у справочного бюро, а я все слышал ее и чувствовал на губах: — «... вот видишь, а ты мне не верил ...»

Согнувшись вдвое, Визель сунул голову в узкое окошечко справочного бюро.

Он спрашивал всем телом — ногами, плечами и, главное, лопатками, — лопатками, необыкновенную выразительность которых я невольно оценил еще раз.

Когда он обернулся, петушиный гребень, как солдат на-караул, стоял на его голове, и огромные удивленные глаза искали меня с такой отчаянной радостью, что я только спросил его: «когда?», и он закричал оглушительно:

— Час тому назад его выгнали вон! ..

7

Никогда еще трамваи не шли так медленно, как в этот день, — или это мне только казалось? У Лебяжьего моста вдруг погас свет, и мы простояли с четверть часа, мрачно прислушиваясь к голосам, которые, пользуясь темнотой, с неожиданной смелостью корили советскую власть.

Обогнув Марсово поле, мы снова застряли: от нас

и до самой площади Революции вытянулась длиннейшая лента трамваев, и соскучившиеся пассажиры бродили кучками вокруг своих вагонов, вяло переругиваясь с вожатыми и кондукторами.

Не сговариваясь, мы с Виземем соскочили с площадки. Нахлобучив на уши кепку, он шагал, думая о чем-то своем и не обращая на меня ни малейшего внимания. Он, кажется, просто забыл обо мне и уже бубнил что-то себе под нос, помахивая в такт шагам костлявой, вылезшей из обшлага, рукою. Пока мы поднимались на мост Равенства, мне еще удавалось кое-как итти вровень с ним, на спуске я уже бежал со всех ног.

И вот, проходя мимо мечети, — голубой купол ее надувался и оплывал, а минареты стояли как верные солдаты ислама, — я услышал, как почтенная женщина, которую вел навстречу нам юноша в коротеньком пиджачке, сказала ему с любопытством:

— А, должно быть, все-таки страшно было, если завязала глаза.

Эти люди были уже далеко за спиной, а фраза только теперь добрела до сознания. Она была медленная и чем-то важная для меня, да и для Визеля, который, услышав ее, зашагал еще быстрее.

Мы перебежали дорогу: стрелочница и милиционер и еще кто-то сошлись на углу Кронверкского и улицы Красных Зорь и те же слова: «платком, чтобы не страшно, завязала платком», бродили меж них от одного к другому.

Еще издалека я увидел толпу перед гнутым, крытым подъездом театра. Визель врезался в нее, и все расступились.

Маленький негритос в барашковой шапке, — я сразу понял, что это врач, — расстегивал кнопки на прилипшей кофточке Эсфири. Она лежала на мостовой, немного раздвинув деревянные ноги, платок

сдвинулся, и глаза были открыты. И все лицо, всегда такое замкнутое, было открыто теперь, как будто занавес был сдернут с него близостью смерти. Лицо было задумчивое и простое.

— Подумать только, с пятого этажа, — говорили вокруг, — и глаза завязала...

Негритос поднялся с колен, сердито сдвинув толстые курчавые брови.

Стесняясь смерти, все отступили прочь.

8

Юноша, начитавшийся Эдгара По и каждую бочку принимавший за Бочку Амонтильядо, когда-то я старательно изучал унылые кабаки Ленинграда.

Это было восемь лет назад, и с тех пор все стало другим, все изменилось.

За круглыми столиками, над тусклыми бутылками, сидели совсем другие люди — невеселые пьяницы эпохи реконструкции страны.

Я взглянул на человека с треугольной страшной бородой, читавшего газету негромким голосом глухих. Январь не дал перелома, в Гамбурге баррикады, Папа проклинает нас. Ломовик в брезентовой куртке слушал его, и низколобое лицо отражалось на стене, мокрой от дыханья и пара.

Финн, с маленькой мордочкой, сидел за соседним столом и уверял соседа, что только в Финляндии умеют варить настоящее пиво:

«Ваше пиво кишлое, кишлое», а тот отвечал, убежденно мотнув головой: «Так это ты за сорок копеек пьешь, вот тебе и кисло. А я бесплатно, — вот мне и сладко». И вдруг финн заплакал.

Работник прилавка угощал портером маленькую девку, с кровавым ртом, державшую кружку обеими руками, как пили Нибелунги и пьют обезьяны.

И очень тихо было в пивной. Стояли каменные столики на выгнутых железных ножках, качался желтый абажур. Муха слетала с него и садилась. Стоял на прилавке стеклянный домик пивных, в которых вздрагивал от стука двери студень.

Это и был тот самый памятный вечер, когда я встретил, наконец, Архимедова. Уже три месяца минуло после похорон Эсфири, и я не видел с тех пор никого из героев и свидетелей этой книги. Визель, которому я звонил иногда по телефону, бурчал дерзости в ответ на мои вопросы. Шпекторов вновь уехал в Сальские степи и, без сомнения, с намерением уклонился перед отъездом от встречи со мной. Как-то я зашел к Жабе, и сердитая беззубая старуха объявила мне, что никого нет, ни хозяина ее, ни хозяйки, а где они, на даче или в другом месте, — этого я не мог понять, потому что, вместо всех согласных, она выговаривала ясно только «ш».

— Уешавши, — сказала она, — и шайшика ушешли.

Сам себе в том не признаваясь, я искал Архимедова. Не для того он был нужен мне, чтобы закончить эту книгу, — я охладел к ней, я писал другую. Но чувство какой-то смутной виноватости перед ним, словно я мог чем-нибудь помочь ему и не помог, все время преследовало меня. Его неудачи были неудачами его искусства, они могли легко случиться с любым из нас — из людей, вверяющих себя этому трудному и неблагодарному делу. Я должен был сделать что-то для него, а что́, — я и сам не знал. И вот мы встретились, наконец, в этой унылой пивной . . .

9

Он сидел вытянув ноги, закинув голову на спинку стула. Так страшно он изменился, так был непохож

на самого себя, что я долго колебался, прежде чем сказал себе: «да это он!» Без сомнения, я не узнал бы его, если бы не помнил, каков он был на похоронах жены. Должно быть, какая-то новая линия его жизни, новый возраст начался с этого дня. Худощавый человек сидел передо мной, и у него был высокий лоб с огромными надбровными дугами, впалые щеки, очки казались узкими — старинными, не закрывая глубоких глазниц, и тоненькие китайские кисточки усов свисали на усталый рот.

Он смотрел в потолок. Что он видел там? Я проследил за его взглядом: преломленный на гранях стеклянного домика, спектр лучей скользил по потолку — темнокрасный, красный, желтый, зеленый, голубой, синий.

«Цвета, которые будут последним неравенством людей . . .»

Но мне не хотелось смеяться над ним, хотя это было очень просто. С важной задумчивостью он сидел среди человеческой рвани; бутылка портера стояла перед ним полупустая, и на солнечный спектр он смотрел как на постаревшего друга.

Но продавец поднял крышку домика, и радуга исчезла.

Тогда Архимедов вздохнул и встал. Кепочка лежала на соседнем стуле. Он надел ее и пошел к дверям.

И все проводили его с изумлением — остановившийся с подносом в руках половой, тихий страшный человек с треугольной бородой вавилонян, финн, говоривший что-то «эйола, эйола», и льняные волосики торчали из-под кожаной шапки.

— Какой народ пошел, беда, — страстно сказал девке работник прилавка. Девка капнула соусом на стол, подбежал половой и подтер пятно хлебом . . .

Снег был синий, голубой, черный. Ломовики — величавые,— ехали, стоя на передках. И проспект Карла Либкнехта, преображенный первым снегопадом, уже возвращал себе черты осенней улицы, свойственные ему в любое время года.

Час был именно тот, который внушил кубистам пренебрежение к естественной перспективе вещей. Час был вечерний, но такой, как-будто задумчивость позволила ему пройти незамеченным для людей, которые говорили здесь и там, в подъездах, в трамваях, в экипажах, в домах: «Смотри-ка, уже стемнело. А кажется, еще только что был день».

Мы завернули на улицу Красных Зорь, и Архимедов остановился у окна Губмедснабторга.

Огни горели в окне. Женщина с младенцем на руках появлялась, расплывчатая, пересеченная туманными полосами теней и света, и медленно плыла вдоль, с каждым мгновением становясь яснее.

Величавая, с неподвижным младенцем на руках, она плыла как живая картина, и вот туманный свет уже проходил через нее, меняя цвета, она была уже матовой, расплывчатой и, наконец, исчезала...

Я стоял в стороне и все не решался подойти к Архимедову, — я смутно чувствовал, что не безделье, не отдых заставляют его бродить по грязным улицам Петроградской стороны в этот сумеречный час.

Мы двинулись дальше, я в двадцати шагах от его расплывающейся тени. Он шел опустив голову, подбрасывая ногами медножелтые листья, которыми была усеяна улица Красных Зорь.

Зажглись фонари, — и все переменилось. Тускло блеснули рельсы, и радиостанция, которая была чередованием проволоки и пустоты на потемневшем небе, вдруг встала по правую руку от нас.

Он замедлил шаги, и я чуть не налетел на него, задумавшись о чем-то. Он стоял на углу Лопухинской и смотрел на людей, поджидавших трамвая. Взглянул и я — и на этот раз тотчас же понял, что привлекло его внимание. Битюги с мохнатыми ногами только что протащили вдоль трамвайного пути невысокую грузную кладь, и с одной из подвод на рельсы упало несколько больших кусков булыжника и гранита. Они упали не на ту линию, по которой должен был прийти трамвай, которого ждали эти люди, и никто, поэтому, не тронулся с места.

Без сомнения, это была не только усталость (хотя у многих из них были очень утомленные лица), но равнодушие русских, еще не владеющих заботой друг о друге, равнодушие, подобное которому можно встретить лишь в осетинских деревнях.

И вдруг маленькая девочка выступила вперед и перешла пути. Она повернула голову, и скромная деловитость детей сказалась на загорелом лице. Все молча следили за ней. Она наклонилась и взялась за один из камней.

Тогда добродушный дядя в косоворотке, с портфелем, двинулся к ней, сказавши «эх» и поглядывая все же, не видны ли огни его трамвая; впрочем, он тотчас же вернулся обратно, увидев, что помощь его была уже ненужна.

Архимедов перебежал дорогу, навстречу девочке, оттаскивавшей в сторону один из больших камней. Он схватил ее подмышки и поднял вверх.

Она смотрела на него, робко втянув голову в плечи, не уверенная, должно быть, можно ли без разрешения убирать камни, лежащие поперек трамвайного пути.

И я слышал, как он сказал, целуя ее в лоб:

— Это о тебе было сказано, что победителями будут наши дети!

А потом он осторожно опустил ее на землю, и камни, как из пращи, стали лететь в сторону из его медленных рук...

11

Я следил за ним уже около часа, и ритм преследования начинал укачивать меня. Это было похоже на сон, в котором бежишь по прямой линии до белого полотна обрывающегося пространства, бежишь, добежал и снова начинаешь бег. По прямой линии, между длинных стен коридора, бежишь куда-то в белое, в полотно экрана, бежишь, добежал, и сон начинается снова.

Я устал.

Каждые десять-пятнадцать минут я давал себе слово, что дойдя до ближайшего угла я поверну обратно.

Я дразнил самого себя невозможностью покинуть этого человека.

Но вот он снова замедлил шаги ..

Это была каморка сапожника; хозяин ее сидел на низеньком стуле, и перевернутый туфель был зажат между худых колен.

Лампочка, висевшая над доской с инструментами, с обрезками кожи, освещала лишь центр мастерской, конусом срезая углы, в которых, почти неразличимые, двигались темнобелые пятна лиц.

Архимедов стоял неподалеку, с непонятным вниманием вглядываясь в крест-на-крест перечеркнутое переплетом окно.

Сапожник вынул работу из колен, и швырнул ее куда-то в угол, за узкие пределы света.

Толкнув лампочку плечом, он встал и вышел, и куски комнаты, выхватываемые раскачивающимся светом, вдруг объяснили мне настойчивую неподвиж-

ность человека, которого, бог весть почему, я преследовал вот уже час или два:

«Так, значит, вот в чем дело, — сказал я себе, — вот что заставляет его бродить в этот сумеречный час по грязным полузимним-полуосенним улицам Петроградской стороны. Вот что заставило его провести столько времени перед выставкой света и тени в окне аптекарского магазина. Вот что искал он на усеянной медными и рыжими листьями улице Красных Зорь, последней, на которой еще была осень. Вот почему он стоит теперь перед раскачивающейся перспективой этого окна, напоминающего мрачные работы Утрильо. Он ищет цвета. Он не в силах забыть свое дело!»

Я хотел было уже подойти к нему, — мне все теперь было ясно. Но лампочка качнулась туда и назад, и вдруг я увидел женщину, которая металась на сбитой, измятой постели, неестественно закинув голову, быстро дыша, — разноцветным, лоскутным одеялом был прикрыт ее огромный живот . . .

Но лампочка уже шла назад.

Когда, качаясь, как стрелка весов, она вернулась снова, я увидел старуху, стоявшую в ногах постели, и успел разглядеть ее плоский рот и аккуратные дуги желтоседых волос.

Я понял значение этой сцены лишь тогда, когда под трижды возвратившимся светом вновь увидел эту старуху, протянувшую руки, закатывающую рукава над застывшим в судорожном движении телом. Страшная своею степенностью, она что-то делала с ним . . .

Но все более короткий путь проходила раскачивающаяся лампочка. Уже не видны были ни постель ни старуха. Еще мгновенье, и низкий стол со всем беспорядком ремесла, с обрезками подошв, с ножами,

обмотанными, вместо рукояти, куском кожи, установился под конусом неподвижного света.

Я взглянул на Архимедова.

Без сомненья, он видел больше меня, потому что долго еще стоял он слегка прикрыв ладонью глаза, приподняв плечи...

12

Мы были на Александровском проспекте, просторном и светлом, как будто ночь здесь прошла незамеченной и вечер подал руку октябрьскому утру.

Я больше не уговаривал себя оставить это преследование, не говорил: «но ведь это же недостойно тебя».

Я был спокоен и шел не думая ни о чем, отстранив размышления, чувствуя ту впечатлительность духа, когда кажется, что достаточно бросить только один взгляд на человека, чтобы узнать историю многих лет его жизни.

Все же, должно быть, я очень устал, потому что несколько раз в продолжение этого вечера (он был еще далеко не кончен) мне мерещилось, что еще кто-то, кроме меня, взял на себя обязанность, странную и беспокойную, следить за художником, обозревавшим город с величавым изумлением, подобным, быть может, изумлению Данте перед мрачными сновидениями, в которых блуждало его мстительное воображение неудачника...

13

... В углу высокий бритый старик устало прислонялся к стене, и печальная маска его лица белела под почерневшей иконой, с выступающим золотым венчиком и поджатыми губами страстотерпца.

Церковь была полна, и я с трудом следил за Архи-

медовым, который медленно шел среди неподвижных людей, с благочестиво брошенными вниз руками.

Он остановился и прислушался.

Прислушался и я, — но ничего не было слышно под темными сводами церкви, кроме молитвы, которая казалась лишь равномерным бормотаньем, изредка прерываемым певучим возгласом: «господи помилуй», заставлявшим, как ветер, падать на грудь обнаженные головы прихожан.

И невозмутимый высокий голос дьякона был сонным заместителем тишины.

Я потерял Архимедова в толпе, потом нашел снова. Опустив голову, глядя поверх очков, он стоял неподалеку от аналоя, внесенного по случаю венчания на середину церкви, но я напрасно старался разглядеть его лицо при разбросанном свете паникадил, сотни раз повторенном в желтом и зеленом металле церковного убранства.

Мужчина и женщина стояли перед аналоем, он — длинноносый, хилый, важный не по летам, она — грузная, с тяжелым лицом и сонными повадками рыбы.

Над ними держали венцы.

Что-то сказал и вдруг грозно запел поп, одетый в гремящие латы греческих королей, и равнодушный хор голосов подтвердил его сердитое наставление.

Мне подумалось, что где-то я уже видел этих неподвижных людей, застывших в позах нетерпения, усталости, благочестия, одних — с глазами, возведенными горе, других — погруженных в размышления о заботах земли. И я вспомнил о фигурах бродячего паноптикума, который случилось мне посетить только однажды, и все-таки он долго потом преследовал меня виденьем остановленного чувства.

Я вспомнил девицу в белом домино, которая шла

среди монахинь, и естественная желтизна воска была цветом ее лица. Великий постриг!

Джек-потрошитель стоял рядом с нею, нарядный, с неожиданно добродушным лицом, и черная шелковая лента была, как у Пушкина, обмотана вокруг его шеи.

Смертельно раненый французский солдат еще бежал, зажимая ладонью рану, и кровь, которая была краснее, чем кровь, проступала между раздвинутых пальцев.

Мысль о праве вещественного мира на свободную волю была тогда любимым моим сюжетом. Первое, трудное движение превращенной материи — дрожь мрамора, волнение карт, страшное пробуждение металла, — я писал об этом в рассказах, в пьесах, в стихах. Я заставлял памятники сожалеть об изменах друзей.

А теперь мне хотелось превратить в печальный воск паноптикума всех, кто стоял вокруг меня на каменных квадратиках церкви. И священник остался бы возле аналоя с открытым ртом, с упавшими на лоб космами медных волос. И все так же стоял бы под почерневшей иконой высокий бритый старик. И дьякон, превращенный в воск, все так же пел бы свое «вотще».

И воск, оставшийся воском, все так же дымился бы в руках.

И зевака будущего, важный, с задумчивыми повадками любителя высоких размышлений, бродил бы здесь между застигнутых превращением неверующих и верующих кукол...

Но зевака уже бродил среди них.

Я не поверил глазам: слегка повернув голову вбок, как это делают близорукие, когда потеряют очки, Архимедов медленно шел по узкому коридору расступившихся перед ним прихожан.

У него был солидный вид, — это меня изумило.

Казалось, сама забота вела его за собой.

Он медленно поднялся по лестнице, ведущей на клирос.

Священника, опередившего его, он отвел левой рукой.

Он остановился у решетчатых золотых ворот, и силуэт его плеч врезался в темную живопись «Преображения господня».

Блеснули очки...

14

Мы стояли на Ждановском мосту. Освещенный лед стадиона был ясно виден отсюда, конькобежцы скользили парами, а там удалой бегун заносил тонкую ногу в трико и, вдруг присев на другом конце катка, опускал ее на лед движением танцора.

Архимедов обернулся. Так много времени прошло с тех пор, как я сказал ему о ночном разуме фантастов, и дневном — строителей мира, что первые слова его показались мне началом нового спора:

— Меня занимают дела земли... Меня занимает это состязание с небом!

(Не прошло и часа, как, сброшенный с клироса, он лишь каким-то чудесным случаем спасся от расправы толпы, вовсе не склонной выслушивать речь против торжественного лицемерия церкви.)

— Оставим небо, — сказал я, — займемся землею.

— Я помню великий анабазис вещей, — сказал Архимедов, — Вы видели, как отступали книги? Как мебель покидала города? Как старые письма убивали без промаха — и были уничтожены наконец, справедливо сочтенные предательством умерших или позабытых друзей? Как человек, лишенный всего, что мешало ему размышлять, остался наедине с мо-

ралью, — и оба были с пулеметными лентами через плечо.

Чем-то привлекательны были мне эти пылкие фразы, так странно сочетавшиеся с обдуманными движениями, исполненными театральной важности и высокомерия одиноких людей.

— Я думаю о беспомощности истории, — снова сказал Архимедов, — истории, которая движима борьбой за лучшее существование в то время, как следевало бы бороться не за то, чтобы оно было лучшим, но за то, чтобы оно было другим... Недавно я видел, как убивают. Как был скучен этот обряд! Кто-то ударил женщину ножом, и она упала с пролетки. И вся косность быта, вернувшегося на родину, покинутую во время гражданской войны, была в дрожащей челюсти убийцы... Но рождение, которое я видел сегодня, — оно было еще скучнее смерти. Повивальная бабка стояла над матерью, страшная старуха, с маленькой плоской головой змеи. Как под ветром, раскачивался свет. Спеленутый, спал в корзине ребенок, с усталым лицом мудреца. Отец тачал сапоги. И я увидел, как тридцать лет назад мать этого отца лежала на той же постели, и та же старуха стояла над ней, свет качался, и отец отца тачал сапоги, и, спеленутый, спал в корзине отец... Но вы же весь вечер шли за мною следом! Разве вам не пришла в голову эта мысль?

Он продолжал говорить, не заметив или не пожелав заметить, как я был поражен последними словами.

«Что должен был он подумать обо мне?»

Краска бросилась в лицо, и несколько минут я не слышал, не понимал, о чем говорит он закинув круглую голову, с высоким лбом вольнодумца:

— ...Их водили вокруг аналоя, и мальчик спотыкался, а баба тащила его к брачной постели за рукав

парадного пиджака. Поп ревел. Стеариновые цветочки качались над могучей грудью старозаветных шлюх, и я подумал о том, что не машину, а зеркало времени следовало бы изобрести мудрецам...

— ... Я думал о том, сколько крови будут стоить человечеству эти цветочки, и запах ладана, и блеск свечей, отраженных в церковной ветоши, и «господи помилуй!» — дьячка.

— ... Я думал о курганах, которые будут насыпаны руками побежденных и срыты руками суровых победителей, и о городах, которые будут построены на месте этих курганов.

— ... О городах, где каменщики будут цитировать Овидия...

— ... Где на протянувшего руку будут глядеть с изумлением потому, что когда-то протягивали руку для того, чтобы показать, что она безоружна.

— ... Где труд станет доблестью, а библией новых людей — доверие.

— ... Где слово откажется служить для бесчестных целей, и язык верных своему слову будет непохож на язык хитрецов.

— ... Где не будет золота, возвратившегося в горы.

— ... Где горы ненужных вещей, которыми так дорожат люди, станут игрушками смеющихся над ними детей.

— ... Где орудие труда будет вручаться человеку так, как посвященному в рыцари когда-то вручали меч.

— ... Где няньки будущего будут укачивать своих питомцев сказками о дне, который был воскресеньем.

ВСТРЕЧА СЕДЬМАЯ. ТЕАТР

1

Ни слова в этот вечер не было сказано о смерти Эсфири. Но ее печальное предсказание: «если я уйду, ему будет еще тяжелее», — все время шло нога в ногу с ним, и подчас я испытывал странное чувство, как во сне, когда видишь, что кто-то следит за другом, а он не видит, и предупредить его нет сил.

Должно быть, не один горький час провел он и не одно укоризненное воспоминание пришло к нему поговорить об этой смерти, — не одно, потому что все слова, которые не были сказаны в этот вечер, — не были сказаны об Эсфири. Не знаю, рассказал ли бы он мне о причинах ее самоубийства — если бы у меня хватило смелости нарушить наш молчаливый сговор. Месяц спустя я случайно попал в ТУМ, и тогда «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса, как вымысел, поправляющий ошибки истории, подарила мне несколько смутных догадок.

2

У меня есть две племянницы, — одна рассеянная и восторженная, другая рассудительная и аккуратная, — и обе потребовали от меня, чтобы я пошел с ними в ТУМ, когда роман этот был переделан в пьесу под названием «Гражданин Дарней».

Взрослые чувствуют себя в ТУМе так: им очень интересно смотреть спектакль, но они стесняются и

спрашивают детей с покровительственным видом (и так, как будто это пустяки в сравнении с тем, что им приходится видеть): «Ну что, понравилось?».

Я не спросил, или спросил не так. У меня оказалось достаточно мужества самому себе признаться, что пьесу «Гражданин Дарней» я смотрел с глубоким интересом.

Это был интерес узнаванья себя ребенком, впервые посетившим театр, когда необычным кажется даже то, что все сидят в темноте и чего-то ждут, и вот занавес накручивается на палку.

Тень первого посещения театра отбрасывается взрослым, явившимся в ТУМ.

За ним приходит детство, берет его за руку и говорит:

«Вот сколько времени прошло с тех пор, как ты первый раз вошел в театр, и свет погас, и провинциальный занавес с обрубком бога на спиленной сосне в первый раз поднялся перед тобою. Ты был тогда в штанишках и чулках, огромный герб ученика приготовительного класса торчал на синей шапке, новой, с серыми кантами и лакированным козырьком. А теперь ты большой, у тебя есть дочь, и пальцы у нее запачканы в чернилах, и повесть, которую ты хотел назвать «Прощанье с юностью», неоконченная, лежит на твоем столе . . .»

Племянницы разом дернули меня, одна за правую, другая за левую руку, я поднял голову, — будущие якобинцы из предместья Сент-Антуан уже стояли на авансцене.

— Жак, ты слышишь?

— Я слышу, Жак.

Разумеется, Диккенс не узнал бы своего романа в пьесе, разыгранной в тот день на сцене ТУМа.

Истории Сидни Картона было уделено очень мало места, и он сам ничем не напоминал ленивого, не-

ряшливого джентльмена, который в первой половине романа сидит заложив руки в карманы, откинувшись на спинку кресла, уставившись в потолок, а во второй, воспользовавшись сходством своим с Чарльзом Дарней, отправляется вместо него на гильотину.

На сцене ТУМа Сидни был большой, с ясным лицом, широкоплечий, и к французской революции относился с большей симпатией, чем это полагалось англичанину, да еще к тому же адвокату королевского суда.

Он был совсем другой, и я долго не мог понять, почему же он все-таки нравится мне несмотря на обманутые ожидания.

Я понял это лишь в конце второго действия, когда он появился на галлерее (висела клетка с птичкой, стояли зеленые цветы, это был Лондон, в то время как внизу только что опустело предместье Сент-Антуан, и умолкли крики: «патриоты, к оружию!»), — появился и сел у камина, усталый, не очень молодой.

И угли осветили его спокойный профиль, умный, с высоким лбом и насмешливой линией рта.

«Клянусь, сэр, это несравненно легче понять, чем объяснить».

И это было имено так.

Легче было понять, чем объяснить, почему, увидев Сидни Картона в его белых чулках, в супервесте, обшитом кружевами, — Сидни Картона, блуждающего по парижским улицам и уже решившего, ради счастья Люси Дарней, отправиться на гильотину, я представил себе Шпекторова — и не таким, каков он был всегда, но каков он был, когда мы остались в маленькой кухне совхозского общежития и он говорил о чем-то с усталой иронией, отбрасывавшей тень неудачи на печальное и язвительное лицо. А потом я вспомнил прибой катерпиллера, и окно, мешавшее уснуть, и карточку, на которой были написаны про-

стые слова: «Не забывай, что я люблю тебя. Эсфирь». Нет, я вовсе не хотел вспоминать о том, чему с намерением уделил так мало места в этой книге. Во всем был виноват актер, игравший «адвоката королевского суда».

Брошенный в антракте племянницами на произвол судьбы, я бродил по лестнице и фойэ и притворялся, что чувствую себя как дома, среди детей, степенных, нарядных, важных, — я мог бы отличить среди них лишь неуклюжих девочек переходного возраста, тех самых, что немцы называют «Backfisch» . . .

Я ли виноват в том, что, интересуясь совсем другими вещами, я постоянно натыкался на историю личных отношений, которую должен был обходить, да и обходил, потому что не писать же в самом деле о том, как он любил ее и она любила его и чудак, которого занимало совсем другое, мешал им любить друг друга.

«Он мешал им любить друг друга» — это думал уже не я, кто-то другой (я мирил племянниц, высказывавших прямо противоположные суждения о дальнейшей судьбе гражданина Дарней); но если это так, если, действительно, друг друга, зачем же Шпекторов приезжал ко мне с нею, почему же он делал все, чтобы вернуть ее мужу? . . .«Клянусь, сэр, это легче понять, чем объяснить».

Я уже сидел на своем месте, свет был погашен, шум утихал, в вечернем Париже крестьянин уж бродил под окнами аристократа, а я все возился с этой фразой, уже подернутой забвением, полуживой-полумертвой, но все еще не желавшей меня покидать:

«Клянусь, сэр, это несравненно легче понять, чем объяснить . . .»

И лишь когда люди в толстых красных шапках окружили гражданина Дарней и хромой якобинец, пробираясь к нему, погрозил костылем и крикнул, что он — эмигрант и жизнь его принадлежит народу —

и с искренним увлечением принялся смотреть пьесу, не думая больше ни о чем.

И она тотчас же вернула меня к размышлениям.

... Люси Дарней сидела в маленькой комнате между пилястрами, и клетчатая тень транспаранта, как игрушечные солдатики, перестраивалась на стене за ее спиной.

Она изменилась и побледнела с той минуты, как впервые появилась на сцене — голубоглазая, золотокудрая, с соломенной шляпкой в руке; теперь она была строгая, в скромном сером платье, и достаточно было взглянуть на нее только один раз, чтобы убедиться в том, что она поджидает известий об арестованном муже.

Лестницы, площадь, галлерея, навесы — везде, где только что шумел политический клуб и сигнальный трехсвечник возвещал о появлении друзей, везде было темно и тихо.

Она была одна и сидела задумавшись, опустив на колени шитье, и рука с блеснувшим на пальце наперстком как чужая лежала на краешке желтого стола.

3

Знаете ли вы, что такое возвращение времени?

Это, когда среди разговора или даже в одиночестве вы вдруг начинаете прислушиваться к себе со странным чувством человека, вновь начинающего какой-то круг своей жизни.

«Мне кажется, что это было со мной однажды» — говорите вы, и все соглашаются, припоминая, что это как-то случалось и с ними. И вы долго потом бережете это чувство, быть может потому, что оно кажется границей, которую время проводит между возрастами человека, — а возрастов ведь гораздо больше, чем

детство, юность, зрелость и старость. Врачи называют это явлением ложной памяти. Но это не ложная память. Это мотор времени перестает стучать, и оно бесшумно спускается вниз планирующим спуском.

4

Я почувствовал это, когда взглянул на маленькую белую руку швеи, лежащую на краешке стола.

И, прежде чем на пороге комнаты появился Сидни Картон, я уже знал, что он появится, и знал, что он скажет ей, большой, ясный человек, который еще не научился произносить такие слова:

«О, миссис Дарней, я готов сделать для вас все, что в моих силах, я готов отдать жизнь свою за тех, кого вы любите, и кто дорог вам!»

На этот раз Визеля не было за моей спиною.

И цитата из «Повести о двух городах» спустилась вниз по легким ступеням декорации, прошла между рядов амфитеатра и села в свободное кресло неподалеку от меня. И она не покидала меня до тех пор, пока я не объяснил себе все, «что было несравненно легче понять, чем объяснить».

«Нет, не чудак, которого занимало совсем другое, мешал им, — сказал я самому себе и снова вспомнил простую надпись на портрете Эсфири: — им мешало раскаяние — раскаяние, склонность к которому есть национальная черта евреек. Она решила остаться с Архимедовым до тех пор, пока не перестала бы чувствовать себя перед ним виноватой. Она пропадала за милую душу и все-таки оставалась с ним. Раскаянье, да еще быть может смутное сознание того, что он человек необыкновенный . . .»

Женщины с темномалиновыми вязаньями ждали суда на галлерее, той самой, что была Англией второго акта.

Почти все они были симпатичные, многие очень хорошенькие, и ни одна не походила на зловещих патриоток Диккенса, вязальными спицами считавших головы аристократов.

Да и члены трибунала были добродушные люди. Между ними не было Жака Третьего, того самого, который все потирал руки, а потом проводил одной из них по губам, как будто хотел чего-то, только не воды и питья.

— Эмигрант Эвремонд, называемый Дарней. Аристократ. Один из семьи тиранов. Подозревается как враг республики. Как пользовавшийся своими привилегиями для угнетения народа, объявлен вне закона.

Это гражданин Дарней предстал перед судом Революционного Трибунала.

Шопот преданности и восторга прокатился по театру, когда он закинул голову и сложил руки на груди.

— Я жду вопросов Трибунала.

И обе племянницы заплакали горько, навзрыд, когда, отказавшись от объяснений, он предоставил свою судьбу справедливости истинных республиканцев.

ВСТРЕЧА ВОСЬМАЯ. ТЫ ПОТЕРЯЛ ЛИЦО

1

Минуло целых полгода с тех пор, как на Ждановском мосту я выслушал речь о городах, в которых няньки будущего будут укачивать своих питомцев сказками о дне, который был воскресеньем, — и двадцать шесть воскресений прошло над изучением людей и книг.

Подчас мне случалось, перебирая бумаги, встречать заметки, относящиеся к Шпекторову, Архимедову, Эсфири, а однажды я нашел план и был поражен, убедившись в том, что эта книга представлялась мне хладнокровно изложенным состязанием между «расчетом на романтику» и «романтикой расчета», а о моем участии в этом состязании должна была свидетельствовать лишь фамилия автора на титульном листе.

Дважды я прочитал этот план, а потом положил его в самый дальний угол моего письменного стола, — мне показалось, что сама юность, та самая, полузабытая, легкая, которая когда-то ходила на университетские лекции закутавшись в длинный рыцарский плащ, глядит на меня из беспорядочных строк.

Так в третий раз я простился с мыслью написать эту книгу, — и без сомнения так и не написал бы ее, если бы не прочитал однажды на витрине Дома печати о том, что такого-то числа в такой-то группе состоится лекция Жабы под названием «Бюрократизация языка».

. ак, Жаба, тот самый, который живопись считал своим единственным призванием, который предлагал объявить войну художникам-декламаторам и художникам-дипломатам, Жаба вернулся к лингвистике? Жаба, который, раз начав фразу, уже не мог без посторонней помощи довести ее до конца, читает лекции в Доме печати?

Но все же то был тот самый Жаба, и я тотчас же узнал его, едва он появился на эстраде . . .

Нет, он не предлагал теперь объявить республику в опасности на том основании, что законы пишутся плохим языком, а плохо написанный закон таит в себе все возможности беззакония!

Коротко и ясно изложил он свои доводы против языкового штампа и неточного употребления слов.

— Мертвые идеи суть те, — сказал он, — которые являются в изящном одеяньи.

Я следил за ним с любопытством. Куда там, это был совсем другой человек — ни величественности, ни беспорядка!

Он был в аккуратной косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком, и самодовольство изображалось на полном лице, когда ему удавалось с ловкостью закончить фразу.

Серьезная девица сидела рядом со мной и записывала лекцию в синюю ученическую тетрадку. Она была стриженая, в юнгштурмовке, уши торчали как паруса, она слушала внимательно, строго.

Неподалеку сидела еще одна девица с тетрадкой в руках и тоже записывала и была такая же аккуратная, серьезная. И скука была в зале, аккуратная, серьезная и страшная скука. Скучали, казалось, даже амуры, переделанные идейным художником в октябрят.

Быть может, почувствовав это, лектор попытался несколько оживить аудиторию двумя-тремя забавными примерами бюрократизации языка.

— «С одной стороны, я был вынужден констатировать заход солнца, — привел он начало студенческого сочинения, — с другой — не мог не признать захода луны. Тем не менее, остатки ночи изживались».

Кроме него, никто не улыбнулся. Девица перевернула страницу и записала, поправив упавшую прядь волос: «Остатки ночи изживались».

И, когда уже совсем ясно стало, что ничего не выйдет из этой лекции, что ни один журналист даже не возьмет в руки свое стило, чтобы заменить «остатки ночи» — «предутренними часами ее» (как почему-то рекомендовал Жаба), сократить фразу, упростить синтаксис, вставить лишний глагол, лектор вытер лоб платком и соскочил с эстрады.

Я подошел к нему. Мы поздоровались, — он со мною немного более сдержанно, чем я с ним, — и отправились в буфет.

— А ты изменился, — сказал я, следя, как удобно устраивался он на стуле, как мешал ложечкой чай, косясь на пирожные, стоявшие между нами.

— В самом деле? Давно ли?

— Да вот, с тех пор, как я тебя в последний раз видел.

— Когда же это?

— Прошлой весною, — сказал я, — когда ты был художником. Помнишь, ты еще говорил тогда, что нужно спрятать честолюбие в карман или зажать в зубах и быть готовым ко всему — к холоду, голоду и к издевательству. Кроме того ты, помнится, собирался, в случае если не будет денег на полотно, рисовать на собственных простынях.

Жаба поставил стакан, развел руками.

— Это был не я, — сказал он весело. — Не может быть, чтобы человек, всю жизнь воевавший против риторики, выражался так высокопарно!

— Было такое время, когда ты выражался высокопарно!

Он согласился все еще улыбаясь.

— Было.

— И оно окончилось не так уж давно?

— Совсем недавно. Можно совершенно точно определить месяц, день и даже час, когда это случилось. В ноябре месяце, седьмого числа, между одиннадцатью и часом ночи.

2

В ноябре месяце, седьмого числа, между одиннадцатью и часом ночи, он сидел в бутафорской мастерской ТУМа и изучал трехмачтовую шхуну, искусно сделанную Визелем для одной из очередных постановок.

И он и Архимедов в ту пору торчали в ТУМе день и ночь, и нужно было обладать пылким гостеприимством Визеля, чтобы не обмолвиться о своих неудобствах ни словом. Он, Жаба, на ночь уходил домой, а вот Архимедов, случалось, оставался в театре и на ночь. И в тот вечер все было так же, как всегда. Визель принес им чаю и сухарей, а потом куда-то исчез, и они остались вдвоем. С чашкой в руках Архимедов ходил из угла в угол и все спорил со своими воображаемыми врагами, а Жаба рассматривал шхуну. И действительно, шхуна была хороша, с марселями, брамселями, фок-мачтами, рангоутом и спардеком. А на реях сидели негры, белозубые, с вылупленными глазами, оттопыренными губами и ушами, как у легавых собак. И Архимедов все ходил из угла в угол и все говорил, а он, Жаба, и слушал и не слушал. Именно в этот вечер он впервые подумал о том, что Архимедову со своими идеями нечего делать.

— Ему нечего было с ними делать, — сказал Жаба

и, ложечкой вытащив из стакана лимон, стал сосать его с наслаждением. — Он задыхался в них. Его уже трудно было слушать. Быть может, догадываясь об этом, он в шутку все время обращался со своей речью к куклам, висевшим на веревках вдоль стен...

Он говорил с доктором Мазь-Перемазь, которого Визель сделал старым евреем-хвастуном, знающим цену деньгам и людям. Доктор висел, выставив вперед нижнюю губу, как бы говоря: «н-ну, в чем дело?»

Он говорил с гробовщиком в цилиндре, который был длинный, вежливый, в черных перчатках, с лицемерной внешностью человека, считающего печаль профессиональной чертою.

Он говорил со скрягой, с цыганом, с Петрушкой.

— И знаешь ли, — продолжал Жаба, — у меня было такое впечатление, что куклы отлично понимали его. Доктор Мазь-Перемазь, например, слушал его с видом скучного превосходства, как тяжелого больного, которому нечем заплатить... Но самым внимательным слушателем было чучело рыбака из пьесы «Тиль Уленспигель». Каждый день мы с Архимедовым приходили в театр, и каждый день он вступал с этим чучелом в длиннейший разговор. Он очень вежливо обходился с ним, здоровался и прощался и неизменно желал ему доброй ночи, когда укладывался спать на свою постель, которую Визель смастерил ему из какого-то отслужившего реквизита. И в этот вечер он тоже говорил с ним, а потом погладил его по голове и задумался. И знаешь, мне стало вдруг так жалко его, что я чуть не заплакал. Он стоял такой тихий, похудевший, в затрепанном пиджаке, и синяки под глазами. Фламандская сказка о сатане и художнике, который продал ему свою тень, вспомнилась мне, и я совсем уже было собирался рассказать ее Ар-

химедову, как вдруг кто-то заорал за стеной, потом затопал ногами и снова заорал. Голос Визеля послышался мне, и я решил, что это Визель ругается с рабочими, убиравшими сцену после вечернего спектакля и неосторожно обошедшимися с какой-нибудь хрупкой бутафорией. И верно, это был Визель. В синей толстовке, он вылетел откуда-то из лабиринта декораций. Он стучал ногами и орал: «к чорту, не позволю!», и в руках у него был дуэльный пистолет, знаешь, такой старинный с круглой рукояткой и длинным дулом. И он держал его за дуло длинной рукой, и морда у него была тоже длинная, вытянутая от злости, и казалась еще длинней под гривой волос, вставших дыбом на голове. Он не узнал меня, отмахнулся, потом схватил за рукав и потащил за собою.

3

Последнее пирожное было съедено, когда Жаба добрался до этого места, перевалив через десятка два разных занятных историй, рассказанных очень подробно, но не имевших ни малейшего отношения к происшествию, о котором шла речь. Пирожные были съедены, и Жаба самолично отправился к стойке и долго торчал там, обсуждая про себя различные сорта, которые, впрочем, очень мало отличались один от другого.

— Итак, — сказал я, когда он вернулся, — Визель схватил тебя за рукав и потащил за собою.

Жаба отправил в рот кусок «наполеона».

— Да, — сказал он. — И он был похож при этом на лошадь. Я не успел и опомниться, как он захлопнул дверь и повернул ключ. Потом приставил к двери стул, сел на него и расставил ноги . . .

Так он сидел широко раскрыв глаза, прислуши-

ваясь к чему-то и напоминая Жабе прозвище чеховского гимназиста — «Монтигомо, Ястребиный коготь». Потом сказал тихо:

— Они взяли нового бутафора и требуют, чтобы я сдал ему свою мастерскую.

Архимедов еще раз погладил чучело по голове, потом подошел к Визелю с таким видом, как будто и его собирался погладить.

— В чем же вы провинились? — ласково спросил он.

Визель вскочил и швырнул свой пистолет об пол.

— Я сдал в утиль все старые куклы!

— Почему?

— Потому что они были вредителями!

Он выгнул узкую грудь, взмахнул руками.

— Их сделал мерзавец! Я страдал, когда они появлялись на сцене. У них были большие челюсти, бездарные лица! Это были не куклы, это были мерзавцы! Мастер, который сделал их, он ничего не понимает, мерзавец!

И уже неясно было, кому кричал он «мерзавец, мерзавец!» — мастеру ли, куклам ли, или тому человеку, который оглушительно стучал в дверь бутафорской мастерской и требовал, чтобы ее немедленно отворили.

— Визель, да отворите же, поговорим спокойно!

Визель встал на пороге, заслоняя собою человека, сказавшего: «поговорим спокойно». Он уперся руками в косяки и встал, как крест, вытянувшись, низко опустив голову, так что видна стала его узкая мальчишеская шея.

— В пятнадцатом веке, — сказал он звонко, — по статуту страсбургского цеха виноделов, мастера, неверно отмеривавшие вино, сбрасывались с крыши в помойные ямы. Тогдашние текстильщики публично сжигали сукно, в которое был подмешан волос. Эти

куклы, они были сделаны неверно. Они были бы другими, если бы каждый из нас, приступая к работе, давал присягу в том, что будет добросовестно заниматься своим делом. И вы должны быть благодарны мне, что я сдал этих мерзавцев в утиль, а не сжег публично где-нибудь на Марсовом поле.

Человек, сказавший: «поговорим спокойно», начал говорить спокойно.

— Визель, вы сумасброд, — сказал он ласково, — мы живем не в пятнадцатом веке. В пятнадцатом веке не собирали утиль, а если и собирали, так наверное не было таких бутафоров. Поэтому я уверен, что вы сделали это случайно . . .

— Я сделал это нарочно!

— Ну, если вы сделали это нарочно, — под левой рукой Визеля мелькнули и тотчас же скрылись пухлые губы, горбатый нос, кадык, — так мы подадим на вас в суд. Вот тогда посмотрим, кто кого сбросит с крыши в помойную яму.

Визель отвернулся от него; он смотрел в сторону, вдоль левой руки, волосы упали ему на лоб. У него было бледное, прекрасное лицо, с раздутым носом и взлетающими к небу бровями.

— Нет, — сказал он мечтательно и звонко, — нет, я не подал бы на вас в суд. Но я заставил бы вас нести черный штандарт на празднике Первого мая.

И он захлопнул дверь.

Бутафорская комната была отделена от монтировочной тонкой досчатой перегородкой, и, найдя в ней щель, Жаба убедился, что, кроме человека, которому первого мая предстояло нести черный штандарт, в бутафорскую ломятся еще по меньшей мере трое.

Пышные генеральские баки украшали одного из них, другой был отдаленно похож на Макдональда, а третий, могучий, грудь колесом, стоял перед запертой дверью задумчиво лаская усы.

Жаба обернулся.

— Взгляните-ка, а ведь ваш администратор уже успел мобилизовать резервы. Армия утроилась и, по всем признакам, готовится к наступлению.

Визель влип в щель.

— Это кассир, суфлер и билетеры! Мы не сдадимся, к чорту. К чорту, пускай вызывают милиционеров! . .

Петли скрипели, досчатая дверь перестраивалась, приняв ромбовидную форму.

Как ящик, вскрывалась она под ударами, и в проломах уже мелькали пухлые губы, горбатый нос, кадык.

Жаба швырнул в этот кадык огурцом из папье-маше.

— Вы не находите, милый друг, — сказал он Визелю, — что нам не мешало бы обеспечить себе отступление? Природное местоположение нашей крепости вряд ли позволит нам выдержать длительную осаду.

Ничего не ответив, Визель полез под стол и появился вновь, прижав к себе ведро с белой глиной. Перевернув ведро, он ударил ногой по дну, выбил глину вон, а потом снял с полок краски и с аккуратностью, которая была почти страшна в этом человеке, начал выливать их в ведро.

Он вылил их все, одну за другой — фиолетовую, голубую, марс, сепию просто и сепию мертвой головы, кобальт, индиго, ультрамарин — и то, что получилось, бережно поднял и поставил перед собой на стол.

Только теперь слова «не мешало бы обеспечить себе отступление» добрели, спотыкаясь, до его помутившегося сознания.

— Отступать? — переспросил он, грозно болтая в ведре сломанной деревянной шпагой. — Чтобы отступить, нужно пройти сквозь стену!

— Ты знаешь, я сам себе не верю, — продолжал

Жаба. — Но история с самого начала пошла так, как будто дело было вовсе не в куклах, которые этот балда сдал в утиль, что, разумеется, было просто глупо. История пошла так, как будто мы дрались не из-за кукол! Чорт побери, у меня прямо в глазах помутилось, когда я услышал эти слова: «нужно пройти сквозь стену». Я только спросил: «сквозь которую?» И Визель, пятясь задом, не спуская глаз с перекосившейся двери, добрался до стены и постучал в нее ногой. Тогда не говоря ни слова я снял пиджак и засучил рукава. Плотничий молоток валялся на полу, я подобрал его, влез на стул...

Жаба замолчал. Должно быть, он не очень хорошо помнил, что произошло после того, как он взял молоток и влез на стул, потому что он довольно долго мямлил прежде чем снова взяться за свой рассказ.

— Я подобрал с пола плотничий молоток, — сказал он наконец, — понимаешь, такой раздвоенный, с длинной ручкой... Подобрал и вскочил на стул. Нет, не на стул, помнится, а на табурет. Знаешь ли, в такие минуты очень запоминаются мелочи. Этот табурет, например, у меня как живой перед глазами. Он был весь испачкан краской, и в средине такая подковообразная дыра, так им можно было при желании бить как булавою. И вот я схватил этот табурет... я влез на табурет и ахнул молотком по стене.

Он вдруг побагровел, потом радостно захохотал и схватил меня за руку.

— Я пробил ее как бумагу!

4

Он пробил ее как бумагу, а потом отодрал кусок верхней планки и, схватившись руками за конец доски, торчавшей из-под сплетения лучинок, упал с табуета на пол. Обнявшись с доской как с же-

ной, он лежал на полу, а Визель бегал вокруг него и все выбрасывал вперед длинные руки. Дверь сорвалась, наконец, с петель. Протирая глаза, засыпанные известковой пылью, Жаба встал на колени. Три человека появились на пороге. Визель подошел к ним и радостно выплеснул ведро. Они стояли рыжие, тихие. Потом побежали вон.

Раздирая дранку, дробя штукатурку, раздвигая доски, Жаба первый прошел сквозь стену.

За ним Архимедов, вскинув голову, отстранил от себя цепкие полоски лучин, задевавших за платье.

И, наконец, Визель, который прикрывал отступление, бомбардируя неприятелей кусками гипса и глины, мотками проволоки, банками из-под красок, кружками, крынками, бутылками, куклами, которые почему-то еще не были сданы в утиль.

— Вниз по лестнице, — быстрым шопотом сказал Визель, — сюда! Сюда! Мы пройдем под сценой...

Пробираясь в темноте вдоль деревянных пещер, пыльных и сухих, вдоль крысиных ходов и переходов, Жаба слышал над головою гуденье, бормотанье, хмурые угрозы, печальные ссылки на закон.

Это маленький администратор, доказывая, что бунт учинен лицом свободной профессии, побуждал свою армию к немедленному наступлению...

Узкая дверца приоткрылась, Архимедов (он шел впереди) исчез в ней, низко наклонив голову, и где-то внизу в складках портьеры прошли его плечи.

— А теперь наверх!

Это были хоры монтировочной части, отведенные для хранения декораций и громоздкого реквизита.

Здесь, опустив курчавые гривы, стояли под потолком двуногие кони.

Застыв в неподвижной игре вещей, Будда зага-

дочно косился в бронзовое зеркало, и свечи в человеческий рост стояли перед ним вверх ногами.

Золоченая лодка плыла по воздуху, чуть покачивались картонные колпаки колоколов.

Огромные игрушки висели на блоках над монтировочной частью...

А вдоль срезанных под углом фанерных стен лежали на широких полках узкие пистолеты якобинцев, длинные копья и короткие кинжалы ландскнехтов, секиры фламандцев, остроносые шлемы с опускающимися забралами, топоры, сабли, панцыри, пики, алебарды, — весь арсенал романтики, от рыцарских турниров до гражданской войны.

И Визель, как молодой бог войны, стоял среди этого арсенала.

— Теперь мы будем наступать, — крикнул он и повел вокруг себя рукою, — мы обойдем их с тыла, разобьем и прогоним. Весь театр будет в наших руках.

И он трижды повторил эту фразу:

— Война началась! Война началась! Война началась!

Наклонив голову, так низки были своды, держась за перекладины, которыми были они пересечены, Жаба перешел помост и заглянул вниз.

Администратор, суфлер, билетеры толпились подле бутафорской мастерской. Сверху они казались очень смешными, самодовольными, сердитыми, с маленькими толстыми головками — такими, какими бывают отражения в вогнутых зеркалах. Их было уже много; казалось, весь зал был полон ими; они стучали сапогами, хвастались, подбодряли друг друга. Жаба показал им нос. Они завыли.

И вдруг узкая фигура в развевающейся синей блузе встала рядом с ним и тоже завыла как собака, а потом вынула из кармана перочинный ножик, за-

дергалась на одном месте и ринулась с помоста вниз. Это Визель перешел в наступление.

Длинные ноги его метнулись где-то под куполом Вестминстерского аббатства.

Он пронесся вдоль золоченой лодки, оттолкнулся от трона, перелетел через китайские фонари. Он сидел верхом на двуногом коне и пилил ножом какую-то веревку.

Жаба еще раз взглянул вниз и понял: администраторы суетились теперь прямо под декорациями и реквизитом, притянутым на блоках к потолку.

— Друг мой, да вы спятили, что ли?

Визель ничего не ответил. Он пилил и пел. И Жаба, прислушавшись, вспомнил гимназию, не шестой, не пятый — нет: второй класс, когда смертельно хотелось убежать от классного наставника в пампасы.

Визель пел:

Пятнадцать человек на ящике мертвеца.
Ио-хо-хо и бутылка рома!

Веревка оборвалась, помост заскрипел как плот, выплывающий в бурю. И кони, величаво задрав кверху свои золотогривые морды, рухнули вниз.

За ними троны, колокола, купола и свечи.

Жаба ахнул, взглянув на Визеля.

Раскачиваясь на одной руке, Визель висел где-то в пролетах торжествующий, узкоплечий, страшный.

Внизу неприятели выбирались из-под разбитого реквизита и, ругаясь, бежали на хоры.

6

Они бежали на хоры по лестнице слева и по лестнице справа, маленький администратор сердито кар-

тавил, могучий билетер шагал через ступеньку угрожающе лаская усы.

Жаба обернулся и, найдя Архимедова (чуть повернувшего голову в ответ на его оглушительный голос), вынул из кармана носовой платок.

— Окружены со всех сторон, — крикнул он и взмахнул платком, как белым флагом, — отступать некуда! Или предложить мир, или сдаться!

Архимедов молча перевел глаза на Визеля, который уже шел к нему, шагая по воздуху с веселым бешенством акробатов.

Он возвращался как победитель, и молчаливый рапорт, который он отдал Архимедову наклонив голову, глядя прямо в лицо ему с нежностью, с преданностью, с обожанием, был таков, что Жаба умолк и тихонько спрятал свой носовой платок в карман.

— Мы будем защищаться, — шопотом сказал Визель. — Мы встретим их с оружием в руках.

Он шагнул к полкам, на которых лежало оружие, сбросил дротики, отодвинул в сторону алебарды и пики. Он вернулся со шпагой — длинной шпагой, темной стали, с полукруглой чашкой, вместо гарды обыкновенных шпаг; и бант, синий с розовым, был завязан вокруг рукояти...

— Возьмите! — сказал он Архимедову и сунул ему в руки эту шпагу.

И Архимедов взял ее и, пройдя под низкими сводами хоров, остановился на первой ступеньке лестницы, расставив ноги, скосив глаза.

Он слушал...

— Тогда-то я и вспомнил этот сон, — сказал Жаба. — Сон, который накануне мне рассказал Архимедов.

7

Ему приснилось, что он идет по турецкому городу, на улицах шали, ковры, и персы сидят на плоских крышах, крича ему:

— Ты потерял лицо!

Женщина, круглоглазая, тонкобровая, видит его из окна и смеется, прикусив зубами чадру:

— Ты потерял лицо!

Он опускается вниз и поднимается вверх, становится все страшнее, и продавец воды, идущий впереди него, продавец в бараньей шапке, которого почему-то нельзя обогнать, оборачивается и говорит:

— По воле Аллаха ты потерял лицо!

Переулки вьются, поднимаются по лестницам в дома, заходят в гости к сапожнику, вода сбегает с горы.

«Это Тегеран, — думает он. — Это Персия, Восток. Мне тоже нужно надеть чувяки и баранью шапку. Я русский, я перс».

Спит на базаре старик в рваном чекмене опустив на грудь стриженую седую голову. Он будит его, они заходят в вонючую лавку; кожи висят на веревках, пугливо косится кот.

Старик выносит шлем, копье и щит.

— Ради моей головы и твоей смерти, — говорит он и протягивает шлем, — надень это, и ты будешь красив как луна, когда она появляется, и солнце, когда оно засияет.

Конь входит в лавку, на нем покрывало до земли, шелковое покрывало паладинов.

Архимедов надевает шлем, опускает забрало.

Он скачет все быстрее и быстрее, все выше и выше, по воздуху, по холмам, дышать все легче, высота, свежесть, простор.

И, наконец, — Москва, Тверская.

Он скачет по Тверской, конь горячится, потом смеется, он бьет его, все расступаются, бегут.

С копьем на перевес, он выезжает на площадь.

Тихо. Ночь. Цокают о камни копыта.

Высокая женщина, гладковолосая, в длинном платье, встречает его у подножья гранитной трехгранной иглы.

Он мчится к ней, задыхаясь от неожиданности, высоко вскинув над головою щит.

Он приносит ей клятву.

— В несчастьи и счастьи, в сраженьи и покое, страдая и радуясь, свидетельствуя и доверяясь, убивая врагов и выбирая друзей, во сне и бодрствуя, принося клятву и принимая клятву, — разве я не помнил о тебе? Разве я не был тебе верен?

Она опускает каменную голову, грозно смотрит открытыми, слепыми глазами.

Она говорит с трудом раздвигая губы:

— Но разве ты не потерял лица?

И забрало само поднимается вверх, и он видит в одной руке противень, в другой ухват, и конь его на трех колесах, тощий, с задранным мочальным хвостом, и не шлем, а таз для варенья торчит на голове, начищенный, гулкий, с петушиным пером...

— На утро он спросил меня, есть ли в персидском языке такое выражение — потерять лицо. Я пообещал ему навести справку у одного из знакомых иранистов.

— Ну, и что же?

— Есть. Rujät gum Kürdi — ты потерял лицо. Это значит — потерпеть поражение, покрыть себя и весь свой род позором. Так говорят полководцу, проигравшему бой, послу, не выполнившему поручение шаха.

— Итак, — сказал я, — он взял в руки шпагу.

8

Он взял ее в руки и, пройдя под низкими сводами хоров, остановился на первой ступеньке лестницы расставив ноги, скосив глаза. Он прислушивался: со всех сторон шел мерный стук переставляемых ног, с Востока, Запада, Севера и Юга.

И театр повторял их отголоски в пустотах декораций, лестниц, коридоров, зал.

Шла армия.

Казалось, где-то уже возникал пронзительный свист флейт, били палочки в телячью кожу барабанов.

И все более гулкими становились шаги, все отчетливее, все точнее.

Шла армия.

И вот, раскинув плечи, вытянув вперед руку со шпагой, Архимедов пошел ей навстречу.

Теперь он наступал — один, но так, как если бы все рыцари всех широт шли за ним, крича: «радость» и звеня оружием.

И вдруг он остановился, шпага дрогнула, он опустил шпагу.

Широкоплечий человек стоял перед ним раскинув большие руки, вежливый человек, с ясным лицом, с уверенными повадками распорядителя людей и дел... Это было так, как если бы актер, который по ходу пьесы должен был умереть, вдруг выпал бы из роли, пробил кулаком декорацию и сказал: «я живой и больше не играю».

Он не играл. Раздвинув билетеров, он стоял, покачиваясь на носках, и каждой вещи вокруг себя он вручал обратно ее очертания.

И армии не было, а это были его шаги — шаги большого человека, сотни раз повторенные в гул-

ких пространствах театра. И не пылкий, рыжий бог войны, а просто выгнанный со службы бутафор сидел на ступеньках пригорюнившись и думал, что завтра его выгонят за ночной разбой и из профессионального союза.

Не было ни сновидений ни фантасмагорий.

Был штатский человек в потертой темнокоричневой паре, и в руке он держал зачем-то шпагу, которая была годна теперь лишь для того, чтобы мешать ею уголья в печке.

И вокруг него — пустота.

9

Когда я был студентом, я слышал от Жабы еще более невероятные рассказы. Толстяки любят врать. Я помню, как он рассказал мне однажды длиннейшую историю о бездетном токаре, который под старость решил выточить себе сына из венгерского дуба. И выточил, и мальчик вырос, и никто не замечал, что он деревянный. Во всяком случае, это ему нисколько не мешало. В 1919 году он под градом пуль перешел через открытое поле, чтобы поджечь бикфордов шнур под стенами какой-то знаменитой крепости. Дырки от пуль он потом заложил сучками. В 1927 году он переплыл Каспийское море, продержавшись на воде две с половиной недели и побив, таким образом, мировой рекорд по плаванью на далекие расстояния. Никто не знал, что он все равно не мог бы утонуть. А потом он кончил Технологический, женился, и вот тут ему не повезло. Он женился на южанке, которая постоянно мерзла и топила печи и днем и ночью. Вернувшись как-то домой с завода, он заснул перед горящей печкой, а когда проснулся, оказалось, что от сильного жара у него обуглился нос. Ни один врач не мог ничего

поделать. В надежде, что нос вырастет как-нибудь сам собой, жена в конце концов посадила инженера в землю. Нос вырос, но, кроме носа, стали в разных местах пробиваться веточки, а на веточках листочки. Дуб пустил корни. Жаба клялся, что сам видел, как еще молодая женщина приходила в Летний сад и целыми часами сидела на скамеечке под этим дубом.

Точно так же он начал клясться и теперь, когда я усомнился в некоторых деталях странной истории, рассказанной мне в Доме печати. Я молча выслушал эти клятвы, а потом прочитал ему одну строфу из детского стихотворения Хармса:

— А вы знаете, что у
А вы знаете, что па,
А вы знаете, что пы,
Что у папы моего было сорок сыновей.
Было сорок здоровенных,
И не двадцать,
И не тридцать,
Ровно сорок сыновей.
— Ну, ну, ну, ну?
Врешь, врешь, врешь, врешь!
Еще двадцать, еще тридцать, ну, еще туда сюда.
А уж сорок, ровно сорок, это просто ерунда.

— Еще куклы, которые Визель сдал в утиль за то, что они были вредителями, еще Архимедов со шпагой в руке, сражающийся против билетеров, ну, еще туда сюда, — сказал я Жабе. — Но эта стена, которую ты пробил как бумагу, это уже просто ерунда.

Жаба засмеялся.

— Честное слово, все правда, — сказал он торжественно. — Все правда, до самого последнего слова. Я, собственно, не пробил ее, а вскрыл, именно вскрыл, как ящик. Она была фанерная, из фанерных щитов, даже не стена, собственно, а перегородка. Знаешь, эти щиты, их можно отдирать руками . . .

Он сам себя слушал с удивлением.

Но была в этом вздорном рассказе одна вещь, которую выдумать, кажется, невозможно. «По каким же удивительным законам строится вранье, — подумалось мне, — если, возведенное в систему, оно невольно приходит к истине, которая ему неизвестна?»

Этой истиной была встреча между Шпекторовым и Архимедовым, последняя встреча и большой разговор, — «такой, — сказал Жаба, — как будто и не было никогда женщины, которую они оба любили, как будто не люди стояли друг против друга, а два разума.

— Помнится, ты хотел перестроить мир, переназвать вещи, — будто бы спросил Шпекторов, — ну, как, удалось?

И Архимедов отвечал:

— Я хотел сделать труд доблестью, радостью — усталость.

— Ты? — будто бы спросил тогда Шпекторов, — ты — книга, которую читали в детстве наши старшие братья, ты этого хотел? Я помню ее. Ты был изображен на обложке в панцыре, в латах, в средневековьи, которое теперь предлагаешь включить в пятилетний план.

И вот Архимедов поднял на него усталые задумчивые глаза.

— Ну, что ж, средневековье, — будто бы сказал он, — разве мы не в праве брать от любой эпохи то, что может нам пригодиться? Разве история не предоставила нам этот выбор?

Тогда Шпекторов рассмеялся и встал перед ним раскинув большие руки.

— Она предоставила нам только один выбор — выиграть или проиграть, — будто бы сказал он. — И каждый день мы выбираем второе. Мы, играющие большую игру. Поставь же в угол свою шпагу, отдай ее актерам или детям. Иди, запишись на бирже труда, ты ведь, кажется, когда-то служил в аптеке. Пользуйся

выходными днями, учись рисовать. Может быть придет время, когда мы позовем тебя раскрасить наши знамена» . . .

10

В прихожей было полутемно, я не мог разглядеть Шпекторова, он стоял спиной к свету. Но, когда мы вошли в кабинет, я заметил, как изменился он, похудел и бледен. Лицо заострилось, вертикальные морщины встали над переносицей. Усталый, не очень молодой, он вошел, бросился в шведское кресло, и солнце поползло к нему, отсвечивая в слепой отмели стекла.

— Можно без предисловий? — спросил он и, вздохнув, вытянулся в кресле. — Через полчаса в Отделе опеки начнется заседание. Темный случай, видишь ли! Я не женат, и они сомневаются, будет ли ему у меня лучше, чем у Алексея. Но, знаешь ли, я думаю, что у меня ему будет лучше. Я пригласил к себе мать, и она будет возиться с ним днем и ночью . . . А ты нужен мне как свидетель!

Я развел руками.

— А нельзя ли все-таки, с предисловием? Потому что я ничего не понял. Какой Алексей? Какое заседание в Отделе опеки? Неужели над тобой уже хотят учредить опеку? По какому делу я нужен тебе как свидетель? И с кем собирается возиться твоя мать не только днем, но и ночью?

Он слушал меня и качался в кресле. Кресло скрипело.

— Сегодня ночью у меня первый раз в жизни была мигрень, — сказал он. — Бабская штука, а? Боюсь, что придется уехать куда-нибудь отдохнуть на две недели. Вот, — он остановил кресло и бросил передо мной на стол несколько бумаг. — Прочти, и ты сразу поймешь в чем дело.

Я прочел:

В Отдел опеки.

Я, нижеподписавшийся, гр-н Шпекторов, Александр Львович, настоящим заявляю, что с согласия гр-на Архимедова, Алексея Кирилловича, желаю усыновить его сына, Фердинанда, полутора лет. Прошу присвоить ребенку отчество и фамилию усыновителя.

Я перелистал остальные бумаги: это были справки о социальном положении, о заработке, о составе семьи.

— А ты нужен мне как свидетель, — устало повторил Шпекторов, — ты поедешь со мной и скажешь, что я беру его, потому что у него умерла мать... Ну да, умерла мать, которая была... Которую я очень хорошо знал, и вот теперь из уважения к ее памяти... Или, лучше, просто подтверди, что у меня ему будет лучше, чем у отца.

Он сразмаху произнес последнее слово.

— Ну, а Архимедов-то согласен?

Шпекторов положил руки в карманы, скрестил ноги, уставился в потолок.

— Ему все равно, — сказал он помолчав. — Он на все согласен.

11

Мы спустились по лестнице и как раз подоспели к трамваю. Я так и не спросил у него, что значат эти слова, в которых мне почудилось сразу и холодность и сожаление, — я был уверен, что в ответ он заговорит о другом.

Головой выше всех, он стоял в трамвайной тесноте, взявшись рукой за петлю, и лицо его, бледный очерк которого несся в окне, по деревьям и стенам домов, было таким внимательным и серьезным.

«Он стал другим, — подумалось мне. — Не так

язвителен, не так уж ясно все для него, как бывало. Усталость. Ну, что ж, пожалуй, он-то справится с нею. Она ему не к лицу, она в его планы не входит. Сама история взяла на себя труд разработать эти планы, а ведь он никогда не позволит себе уклониться от ее суровых приказаний. Как старшая сестра, она ведет его хозяйство, следит за его делами, журит его, когда он не один возвращается домой... Впрочем, теперь он будет возвращаться один. Старшая сестра... Будет ли она так же заботиться и о его сыне? Ах, да ведь он пригласил к себе мать... Мать переехала к нему, чтобы ухаживать за ребенком... А тот, который с такой трогательной неловкостью качал его у памятника Лассаля; тот, который говорил, что быт против него, и он унес с собой только то, что еще можно исправить; тот, который хотел сделать труд доблестью, радостью усталость?»

Я потянул Шпекторова за рукав.

— Один человек, которого ты, кажется, не знаешь, — сказал я ему, стараясь преодолеть нарастающее жужжание трамвая, — рассказывал мне, что в ноябре месяце у тебя с Архимедовым было какое-то столкновение в ТУМе. Какой-то большой разговор с цитатами из Дон-Кихота. И что будто бы он встретил тебя со шпагой в руке, а ты, как библейский пророк, превратил эту шпагу в палку?

Шпекторов отпустил петлю и обернулся ко мне.

— В ноябре месяце? — переспросил он, припоминая. — В ноябре месяце я искал его по всему городу и действительно нашел наконец в ТУМе. Но в тот день там был какой-то отчаянный скандал — кажется бутафор сошел с ума, и его ловили, потому что боялись, что он подожжет театр. Я отыскал Архимедова где-то на хорах, но мне не удалось в этой суматохе сказать ему ни одного слова.

12

Из всех государственных учреждений в Ленинграде Отдел опеки производит самое тягостное впечатление. Он грязен и мрачен. Смутное чувство неуверенности в себе и в своем деле охватывает посетителя, едва он открывает дверь в узкий, пересеченный барьерами вестибюль. Путаница подстерегает его еще у подъезда. Она начинается с загадочного разговора между ним и хмурым инвалидом, который почему-то отказывается принять от него пальто. Она поднимается с ним по лестнице, она бродит за ним из одной канцелярии в другую. Соединившись с головной болью, она наощупь распахивает перед ним выходную дверь, когда, не добившись толку, он возвращается обратно и хмурый инвалид швыряет ему чужие калоши...

Шпекторов разделся быстрее меня и, предоставив мне получать номерок, торопливо отошел от барьера. Я задержался, сражаясь с кашнэ. Когда оно было побеждено наконец и инвалид повесил его, как разбойника, на колышки шаткой стойки, Шпекторов был уже на лестнице, между первой и второй площадкой. Он стоял прислонившись к перилам и разговаривал с каким-то длиннополым субъектом в нахлобученной кепке, из-под которой торчали бесцветные клочья волос.

Я положил номерок в карман, прошелся по вестибюлю. Он все говорил. Мельком взглянув на лицо его собеседника, я прошел мимо них, а потом остановился на второй площадке и издали показал Шпекторову часы. Тогда он подозвал меня.

— Ты что ж это, не узнаешь?

Прищурясь, длиннополый поднял на меня близорукие голубые глаза. Он смотрел искоса, с недоверием. Я протянул руку. Тогда жалкая важность вдруг

прошла по бесцветному лицу, как бы запыленному под грязной паутиной бороды и усов. Он вскинул голову и сунул мне два пальца. Я узнал — это был Архимедов. И это было так страшно, что все слова вылетели у меня из головы, и я ничего не сказал, а молча пошел по лестнице вслед за ним.

13

Да и о чем же было говорить? Все было очень ясно и просто. И не так уж неожиданно, как показалось с первого взгляда. Он был без очков, — почему-то именно это так подчеркивало перемену, — и шел нетвердо, лунатической походкой человека, которому все равно куда итти. На поворотах Шпекторов осторожно брал его за локоть.

Мы поднялись на пятый этаж и долго плутали по грязным, но монументальным лабиринтам Отдела опеки. Низкие, как таксы, скамейки стояли вдоль стен. Шпекторов усадил нас на одну из них, а сам исчез за дверью, увешанной скучными угрозами канцеляристов.

Мы остались одни.

Не поднимая глаз, Архимедов сидел сунув между колен длинные худые руки.

С папкой под мышкой, с папироской во рту, величественная машинистка прошла мимо нас, — он искоса поглядел ей вслед и сейчас же снова опустил глаза.

Сил у меня не было заговорить с этим человеком, перешагнуть через все, что так страшно изменило его, притвориться, что ничего не случилось. «Ему теперь все равно, — вспомнилось мне. — Он на все согласен».

Да, он был согласен на все. Черная, как земля, рубаха виднелась под распахнувшимся пальто, он

поминутно почесывался, ерзал спиной, и едкий запах пота и грязного белья шел от него, — от него воняло.

Дважды собирался я обратиться к нему с простыми словами, которыми обычно начинается разговор, и не мог. Я встал наконец и подошел к окну: двое молодчиков с опасностью для жизни укрепляли антенну на крыше соседнего дома, — и я с насильственным интересом наблюдал за их рискованной затеей до тех пор, пока Шпекторов не вернулся.

14

Никакого заседания не было, а просто двое канцелярских служащих сидели за столом, над которым висела надпись «Делопроизводитель», и читали бумаги. Впрочем, читал только один, молодой, с приплюснутым носом, с плотным лоснящимся пробором, читал и передавал соседу — мохнатому старичку, как будто застрявшему в этой комнате с шестидесятых годов, а тот просматривал и надевал скрепки. А мы ждали.

— Который свидетель? — спросил, наконец, старичок.

Я подошел. Он поднял на меня дряблый нос. Детский бантик был завязан вокруг шеи, и вся мебель канцелярии вверх ногами отражалась в очках.

— Заполните анкету.

Не особенно заботясь о точности, я написал свое имя, отчество, фамилию, определил, как умел, социальное положение, удостоверил, что ни до ни после семнадцатого года не занимался торговлей, не пользовался наемным трудом.

— Свидетельство о смерти жены? — равнодушно спросил молодой.

Мне показалось, что Архимедов, стоявший подле

меня с таким отрешившимся видом, что даже птицы, водись они в Отделе опеки, не побоялись бы сесть на его плечи, вздрогнул при этом вопросе и сделал такое движение, как будто хотел уйти.

— Представлено, — певуче сказал старичок.

Молодой вынул из кармана платок. Он высморкался — с явным уважением к себе, к своему носу, к своему носовому платку.

— Свидетель, вам известны мотивы усыновления?

Я отвечал, что мотивы известны.

— Можете ли вы подтвердить, что, будучи усыновлен гражданином Шпекторовым, ребенок попадет в лучшие условия с материальной стороны?

Я отвечал, что в этом не может быть никаких сомнений.

— Со стороны семейно-бытовых условий?

Я отвечал, что, хотя усыновитель и холост, но так как он, заботясь о ребенке, пригласил к себе на жительство мать, надо думать, что и с этой стороны все обстоит вполне благополучно.

— В отношении социальной среды?

Я мельком взглянул на Архимедова; с нелепой важностью, с глубоким равнодушием ко всему на свете, он стоял заложив руки за спину, бродя рассеянным взглядом по облупленным стенам Отдела опеки.

— Да, и в этом отношении... — сказал я негромко.

Делопроизводитель снова полез за носовым платком. С нерусской акуратностью он разложил его на ладони, а потом нырнул в него носом, как в воду.

— Согласие отца? — спросил он.

Архимедов поднял голову и сделал шаг к столу. Он оглянулся на меня, и вдруг я понял, что это была вовсе не рассеянность, что он все слышал и каждое мое слово оценил как свидетельство собственного

падения. Волнение прошло по лицу, губы дрогнули и сжались. Должно быть, ему не малых усилий стоило сесть к столу и взять в руки перо.

15

Так вот, наконец, эта встреча, которую Жаба угадал, невольно следуя еще не открытым законам вранья! Что ж, пожалуй, он был прав, придавая ей символическое значение. Но как она была непохожа на то, что он мне рассказал. Она была тихая, простая. И загадочных шагов не было слышно за стенами Отдела опеки, гулких шагов, которые шли с Востока, Севера, Запада и Юга! И не было разговора со старинной книгой, которую читали в детстве наши старшие братья, высокого разговора о доблести, о труде, о праве на существование.

Разговор был другой, очень ясный.

В заношенном белье, в длиннополом пальто, сутулый, заросший оборванец сидел за канцелярским столом и писал под диктовку бумагу, в которой отрекался от последнего, что у него оставалось, — от сына.

И шпаги не было. Запачканная чернилами ручка торчала в его слабых пальцах, он писал детским почерком и после каждого слова поднимал на Шпекторова близорукие голубые глаза, — Шпекторов диктовал бумагу.

— Настоящим заявляю, что отказываюсь от всех прав, присвоенных мне по закону, как отцу вышеупомянутого ребенка, — диктовал Шпекторов.

— ... ребенка, — шевелил губами Архимедов.

— ... А после наступления совершеннолетия обязуюсь не предъявлять к нему никаких требований...

— ... никаких требований, — шопотом повторял Архимедов.

— А все права и обязанности, доселе присвоенные мне, как отцу вышеупомянутого ребенка...

— ... ребенка, — снова сказал Архимедов.

— Передаю всецело и безоговорочно и по доброй воле...

— по доброй воле, — послушно повторил Архимедов.

И отчаянье вдруг свело его небритый рот.

ЭПИЛОГ

> **Это сквозь живопись прошла буря.**
> *Хлебников.*

Она лежит, сломав руки, полная теней. Как невод, они опутывают весь перекресток. Они качаются на присевших домах, в перекошенных ромбах окон. В пустынных перспективах пригорода они проходят с угрюмой важностью одиноких. Они падают на платок, сдвинувшийся при падении с глаз, на закушенные от усилий губы.

Час сумеречный. Снег синий, голубой, белый.

Горбоносый доктор идет к ней, с досадой оттопырив губы, и шляпа подпрыгивает на курчавых, упругих пружинах волос. Чужие люди стоят вокруг, в застывших позах любопытства, равнодушия, страха, а некоторые — с поднятой рукой,—как страшные дураки персидских живописцев. Все смотрят на нее. Она лежит, пересеченная туманными полосами теней и света. Разинув рот, подняв красную палку, милиционер едет к ней на кособокой пролетке; у лошадей — круглые, удивленные лица.

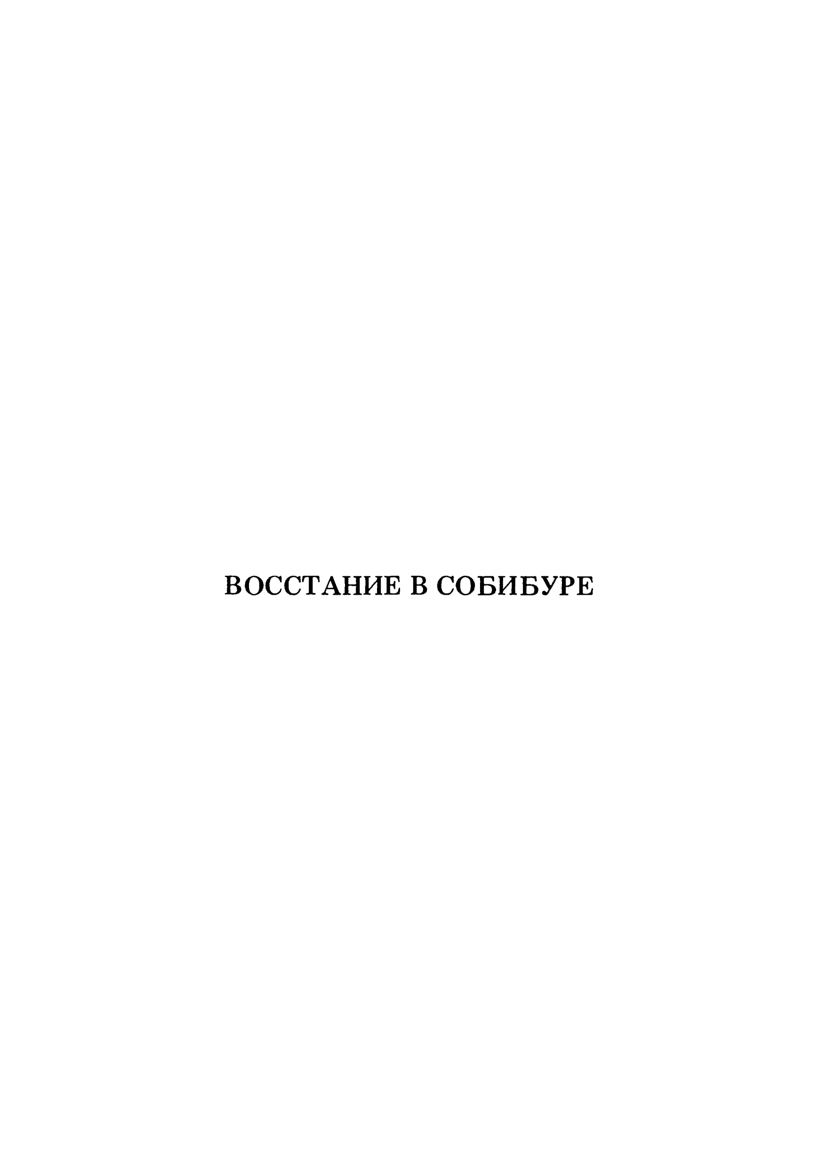
И все смотрят на нее. Полные безразличного любопытства, пятна грунта смотрят на нее из сломанных окон, а старуха, с плоской головой змеи, — из полуоткрытой двери подвала. Едва намеченная черным, маленькая холодная девка с поджатым ртом заглядывает в ее глаза, гадая судьбу на их стеклянной глазури. Важный, в измятом котелке, стоит в толпе нищий с большим детским глазом. Все смотрят на нее.

А она лежит такая, как будто это был полет, а не падение, и она не разбилась, а умерла от высоты. И кажется, что последний близкий человек только что повернул за угол — и скрылся...

... Это могло удаться лишь тому, кто со всей свободой гениального дарования перешагнул через осторожность и нечестность современной живописи, которая так отдалилась от людей. Смешение высокого строя с мелочами, обыденных подробностей с глубоким чувством времени — этому нельзя научиться ни у живых мастеров ни у мертвых. Только новое зрение, смело опирающееся на то, что все другие считают случайным или банальным, могло решиться на такое возвращение к детской природе вещей. На ряду с бессознательной силой изображения здесь видны ум и память — страшная память, основанная, быть может, на ясных представлениях о том, что проходит перед глазами человека, летящего вниз с пятого этажа. Нужно было разбиться насмерть, чтобы написать эту вещь...

Цвета: светлозеленый, черный, глубокий синий. Кое-где, очевидно с намерением, оставлен грунт. Фигуры выписаны отрывистыми мазками. Картон — что придает отпечаток некоторой деревянности в фактуре. Масло. 80 × 120. Художник неизвестен.

1929



ВОССТАНИЕ В СОБИБУРЕ

1

Собибурский лагерь смерти, созданный немцами — наряду с лагерями на Майданеке, в Треблинке, Белжице, Освенциме — с целью организованного массового уничтожения еврейского населения Европы, был расположен на огромной площади, в лесу, рядом с полустанком Собибур. Железная дорога заходила в тупик, и это способствовало сохранению тайны. Немцы тщательно оберегали ее от окрестного населения. Всякое преступление боится свидетелей, тем более столь грандиозно задуманное.

Лагерь окружали четыре ряда колючей проволоки, высотой в три метра. Между третьим и четвертым рядами пространство было заминировано. Между вторым и третьим расхаживали патрули. Днем и ночью на вышках, с которых просматривалась вся система заграждений, дежурили часовые.

Лагерь делился на три основные подлагеря. У каждого было свое строго определенное назначение. В первом находились жилые бараки, столярная, сапожная, портняжная мастерские, два офицерских дома. Во втором — парикмахерский барак, магазины, склады. В третьем стояло кирпичное здание с железными воротами, которое называлось ”баней”.

Написано в соавторстве с П.Антокольским.

Первые партии заключенных прибыли в лагерь из Франции, Голландии, Западной Польши 15 мая 1942 года. Вот что рассказывает голландская еврейка Зельма Вайнберг о своем пребывании в Собибуре:

"Я родилась в 1922 году в городе Зволле (Голландия). В Голландии не было вражды между голландцами и евреями, мы жили дружно и не чувствовали никакой разницы между народами. Но пришли немцы, и начались гонения. В Вестербурге в 1941 году был создан лагерь для евреев, высланных из Германии. Когда в стране начались преследования евреев, когда их заставили носить специальные знаки, голландцы приветствовали людей, носящих такие знаки. Когда евреев начали высылать в Польшу (это было в 1941 году), в Амстердаме возникла забастовка. Жизнь города замерла на три дня. Голландцы прятали евреев от немцев. В Утрехте было две тысячи евреев, из них поехали всего двести человек, остальных спрятало местное население. В стране действовала специальная организация по спасению евреев, она оказывала большую продовольственную и денежную помощь людям. Многих евреев спасла организация "Свободная Голландия".

Я вместе со всей семьей попала в лагерь Вестербург. В лагере содержалось восемь тысяч человек, но состав заключенных все время менялся, так как каждый вторник эшелон увозил около тысячи человек в Польшу. Немецкий офицер говорил заключенным, что они едут на работу в Польшу и на Украину. Многие ехали туда с охотой, брали с собой одежду, обувь, продукты. Дело в том, что из Влодавы приходили письма, в них говорилось, что

жизнь в Польше хорошая. Потом я узнала, что все это была немецкая провокация. Людей заставляли подписывать напечатанные немцами открытки. Собибур в них не упоминался.

Всех моих родных увезли в Польшу. Я не хотела уезжать из Голландии, убежала из Вестербурга. Меня приютила голландская семья. Голландский немец (''фольксдейче'') выдал меня. Два месяца просидела я в тюрьме в Амстердаме, потом попала в лагерь в Фихте, где были и политзаключенные, и евреи. Работала там в прачечной.

В марте 1943 года нас повезли в Польшу. Многие надеялись, что встретятся там с родными. Ведь большинство евреев даже лечили сперва в голландских госпиталях, а потом уже отправляли в Польшу. Создавалась видимость, что людям ничего не угрожает. Когда мы проезжали по Германии, в наши вагоны являлись немецкие сестры милосердия и оказывали медицинскую помощь заболевшим в дороге.

9 апреля 1943 года я приехала в Собибур. Мужчинам было приказано раздеться и идти дальше, в третий лагерь. Женщины пошли раздеваться и стричься в бараки. Немецкий офицер отобрал двадцать восемь молодых девушек для работы во втором лагере. Я провела в Собибуре пять месяцев''.

Массовое уничтожение людей — это сложная работа. В том, как она была поставлена в Собибуре, видна полная продуманность, неусыпная забота обо всех мелочах ремесла и сметка давно практикующих палачей. К месту убийства люди шли совершенно голые. Из человеческого волоса делались матрацы. В лагере была мебельная мастерская, так что волосы жертв находили применение и

сбыт тут же в лагере. Наконец само устройство ''бани'', то есть главного цеха в этой чудовищной фабрике смерти, было сложным и требовало внимания, заботы, квалифицированных техников, истопников, сторожей, подавальщиков газа, могильщиков.

На разных этапах эту работу выполняли сами заключенные, разумеется, под угрозой немедленной смерти. Эта угроза выполнялась всегда и неукоснительно.

Один из немногих оставшихся в живых собибурцев, варшавский парикмахер Бер Моисеевич Фрайберг, в своем показании от 10 августа 1944 года указывает, что в первом подлагере работало около ста человек, а во втором сто двадцать мужчин и восемьдесят женщин.

''Я работал во втором лагере, — пишет он, — где находились магазины и склады. Когда обреченные на смерть раздевались, мы собирали их вещи и разносили по магазинам: обувь отдельно, верхнее платье отдельно и т.д. Там вещи делились по сортам и упаковывались для отправки в Германию. Каждый день из Собибура отходил поезд из десяти вагонов с вещами. На кострах мы сжигали документы, фотографии и другие бумаги, а также малоценные вещи. В удобные моменты мы бросали в костер также деньги и ценные вещи, найденные в карманах и чемоданах, чтобы все это не досталось немцам.

Через некоторое время меня перевели в другое место. Во втором лагере построили три барака, специально для женщин. В первом из них женщины снимали обувь, во втором — одежду, в третьем им стригли волосы. Меня назначили парикмахером

в третий барак. Нас было двадцать парикмахеров. Стригли мы ножницами, а волосы складывали в мешки. Немцы говорили женщинам, что стригут их для чистоты.

Находясь во втором лагере, я невольно наблюдал картины страшного, нечеловеческого обращения с невинными людьми. На моих глазах из Белостока пришел эшелон, до отказа наполненный совершенно голыми людьми. Очевидно, немцы боялись побега заключенных. Полуживые в этом эшелоне были перемешаны с мертвыми. Людям в дороге не давали ни пить, ни есть. Еще живых обливали хлорной известью. Это было в июне 1943 года.

Гестаповцы в лагере часто бросали детей на землю, били их сапогами, раскраивали черепа. На беззащитных натравливали собак, которые разрывали людей в клочья.

Заболевавших немцы уничтожали немедленно".

Что же происходило в третьем подлагере, в кирпичном здании, называемом "баней"? Согласно всем показаниям, территория "бани" была, в свою очередь, окружена колючей проволокой. Работникам первым двух подлагерей вход на эту территорию был строжайше воспрещен и карался немедленной смертью.

"Когда партия в восемьсот человек входила в "баню", дверь плотно закрывалась, — пишет тот же Бер Фрайберг. — В постройке работала электрическая машина, вырабатывавшая удушающий газ. Газ поступал в баллоны, из них по шлангам в помещение. Обычно через пятнадцать минут все находившиеся в камере уже были задушены. Окон в здании не было. Только сверху было сте-

клянное окошечко, и немец, которого в лагере называли "банщиком", следил через него, закончен ли процесс умерщвления. По его сигналу прекращалась подача газа, пол механически раздвигался, и трупы падали вниз. В подвале находились вагонетки, и группы обреченных складывали на них тела жертв. Вагонетки вывозились из подвала в лес третьего лагеря. Там был вырыт огромный ров, в который сбрасывались и засыпались землей трупы. Людей, занимавшихся складыванием и перевозкой трупов, тут же расстреливали.

Был такой случай. Партия людей уже находилась в помещении "бани", но неожиданно испортилась машина, подающая газ. Несчастные взломали дверь и пытались разбежаться. Гестаповцы многих убили, а остальных загнали обратно. Механик быстро наладил машину, и все пошло своим порядком".

Однажды восемнадцатилетняя девушка из Влодавы, идя на смерть в солнечный летний день, крикнула во всеуслышание:

— Вам отомстят за нас. Придут Советы, и вам, бандитам, не будет пощады.

Ее убили прикладами карабинов.

Среди немцев, орудовавших в третьем лагере, едва ли не самым страшным был берлинский боксер Гомерский, хваставший тем, что убивает человека с одного удара. Зато другой сентиментальный немец обходил голых детишек, обреченных на смерть, гладил их по головке, совал конфеты и бурчал:

— Здравствуй, милочка. Только смотри, не бойся, все будет хорошо.

Однажды из третьего лагеря раздались особенно

страшные крики. Оказалось, что детей и женщин живьем бросают в огонь.

В лагере разыгрывались сцены, которые не в силах измыслить никакое воображение. Какой-то голландский юноша, работавший на сортировке вещей только что прибывших, неожиданно увидел вещи своих родных. Вне себя он выбежал из склада, где работал, и тут же в толпе идущих на казнь узнал всю свою семью. Другой юноша среди только что задушенных нашел тело своего отца. Он пытался украсть и собственноручно зарыть это бедное тело. Немцы убили и сына.

Все эти подробности ничем не отличаются от других страшных рассказов о том, что делалось на Майданеке или в Треблинке. Может быть, единственное, в чем проявилась фантазия и личная инициатива собибуровских палачей — это в способе скрыть от окружающего населения свою работу. Они развели в подсобных хозяйствах лагеря стада гусей, и когда производилась расправа, этих гусей дразнили и заставляли кричать, таким образом заглушали немцы стоны и плач своих жертв.

Летом 1943 года, желая скрыть следы преступлений, немцы построили в третьем подлагере печи. В Собибур была доставлена специальная земляная машина. Могильный ров был раскопан, машина подавала трупы на костры. По всей округе разносился трупный запах.

И вот в этом страшном месте, реальность которого, как она ни документирована, все же кажется диким и уродливым измышлением больного мозга, на этом маленьком пространстве испоганенной немцами земли 14 октября 1943 года произошло восстание, кончившееся победой заключен-

ных. Восстание, во время которого было убито двенадцать виднейших немцев из несущих охранную службу офицеров — руководителей лагеря, и четыре рядовых охранника, — восстание, после которого собибурский лагерь был уничтожен.

Как это произошло? Какая человеческая сила оказалась достаточно стойкой и организованной, чтобы противостоять немецкому железу, направленному на безоружных? У кого в этой страшной атмосфере смерти и унижения нашлась воля, ум, дальновидность?

22 сентября 1943 года в Собибур пригнали из Минска шестьсот военнопленных-евреев, офицеров и бойцов Красной Армии. Из них восемьдесят человек были оставлены для работы во втором подлагере. Остальных немцы задушили и сожгли. В числе оставшихся в живых был офицер Александр Аронович Печерский.

2

Печерский родился в Кременчуге в 1909 году. С 1915 года жил в Ростове-на-Дону. До войны он был руководителем художественной самодеятельности. Призванный в первый же день Отечественной войны как младший командир, Печерский в октябре 1941 года оказался в окружении на смоленском направлении и попал в плен. В плену заболел тифом и только чудом выжил: тифозных больных немцы расстреливали, ему же удалось скрыть свою болезнь. В мае 1942 года Печерский пытался

бежать, но в тот же день был пойман вместе с четырьмя другими беглецами. Всех их отправили в ''штрафную'' команду в Борисов, оттуда в Минск. В Минск они прибыли уже осенью 1942 года. Здесь во время медицинского осмотра немцы обнаружили, что Печерский еврей.

Вместе с другими он был посажен в ''еврейский'' подвал, где провел около десяти дней. В подвале было абсолютно темно, за все время пребывания из него никуда не выпускали. Кормили через день: сто граммов хлеба и кружка воды.

20 августа Печерский был отправлен в Минский рабочий лагерь ''СС'' (''Широкая улица''). Пробыл там до середины сентября. В этом лагере находилось около пятисот евреев из минского гетто, а также евреи-военнопленные. Там содержались и русские, человек двести — триста: переменный состав. Русские попали в лагерь за связь с партизанами, за неявку на работу и т.д. Заключенные жили впроголодь, главным образом тем, что удавалось стащить у немцев. Работали с рассвета дотемна. ''Комендант лагеря Вакс, — рассказывает Печерский, — не мог прожить дня, не убив кого-нибудь. Иначе он просто заболевал. Достаточно было посмотреть на него, чтобы убедиться: это садист. Верхняя губа вздрагивает, левый глаз налит кровью, всегда в пьяном, мутном похмелье. Что он вытворял! Ночью кто-то вышел оправиться. Вакс застрелил его из окна, а утром с упоением показывал своей даме сердца труп убитого: ''вот моя работа''.

Люди строятся в очередь за хлебом. Вакс выходит, командует ''смирно'', кладет парабеллум на плечи первому стоявшему в очереди и стреляет.

Горе тому, кто хоть сколько-нибудь вылезает из строя — он получает пулю в голову или в плечо. Обычное развлечение Вакса — травить лагерников собаками, причем защищаться от собак не полагается, — это любимцы Вакса. Из общего гетто приводили женщин в баню. Вакс всегда присутствовал при этом и собственноручно обыскивал голых женщин.

В лагере был случай массового побега. Рядом с продуктовым складом лагеря помещалось общежитие "шуцполицай". Группе в пятьдесят человек, работавшей в продуктовом складе, удалось выкрасть оттуда некоторое количество гранат, пистолетов и патронов. Но за день до побега их выдал шофер, который за двадцать тысяч марок обещал вывезти их с территории лагеря. В последний момент шофер испугался.

Выданных беглецов немцы согнали в подвал сгоревшего дома, окружили усиленной охраной и напустили собак. По замыслу немцев, все они при этом должны были остаться в живых для дальнейших издевательств и пыток. Затем несчастных повели через город с поднятыми вверх руками. В лагере все началось сначала: избиение плетьми, травля собаками. Каждого в отдельности уводили в жарко натопленную баню. В бане был бассейн с кипятком. Жертву сталкивали в бассейн, снова вытаскивали и обливали холодной водой. Затем людей выводили на мороз и часа через два пристреливали.

Эта группа в пятьдесят человек состояла исключительно из евреев-военнопленных. Двух из них Печерский знал лично: Борис Коган из Тулы и Михаил Орлов из Киева.

В сентябре 1943 года лагерь начали разгружать. 18 сентября Печерский оказался в эшелоне, направляющемся в Собибур.

Комендант минского лагеря Вакс объявил заключенным, что они едут "на работу в Германию". Они ехали четверо суток в вагонах с забитыми окнами, без хлеба, без воды. На пятые сутки вагон подошел к полустанку Собибур. Поезд был переведен на запасный путь, и паровоз задним ходом подтолкнул вагоны к воротам, на которых висел щит с надписью "зондеркоманда".

3

Печерский прибыл в Собибур после двухлетнего пребывания в немецком плену, умудренный горчайшим и страшным опытом, достаточно видевший и перенесший, чтобы сразу ориентироваться в открывшейся его глазам обстановке нового лагеря.

Вот что рассказывает Печерский о первом дне своего пребывания в Собибуре:

"Я сидел на бревнах возле барака с Шлеймой Ляйтманом, который впоследствии стал моим главным помощником по организации восстания. К нам подошел незнакомый человек лет сорока. Я спросил у него, что там горит вдалеке, метрах в пятистах от нас, и что это за неприятный запах паленого во всем лагере.

— Не смотрите туда, это запрещено, — ответил незнакомец. — Это горят трупы товарищей, приехавших вместе с вами.

Я не поверил ему. Но он продолжал:

— Этот лагерь существует уже больше года. Здесь находятся пятьсот евреев — польских, французских, голландских, чехословацких. Русских евреев привезли впервые. Эшелоны по две тысячи новых жертв приходят сюда почти каждый день. Их уничтожают в течение часа, не больше того. Здесь, на маленьком клочке земли в десять гектаров, убито более пятисот тысяч женщин, детей и мужчин".

Появление военнопленных с Востока, красноармейцев и офицеров, произвело огромное впечатление в лагере. Оно оказалось своего рода сенсацией. К новоприбывшим отовсюду обращены были жадные, любознательные, ожидающие чего-то глаза. Люди с Востока, военнопленные, для остального населения лагеря были "людьми с воли", теми людьми, кто боролся с немцами с оружием в руках.

Печерский задумался о будущем с первых дней своего пребывания в Собибуре. Что предпринять? Пытаться ли спастись от гибели,здесь уже наверняка неизбежной, и бежать? Но бежать одному или с небольшой группой товарищей значило оставить всех остальных на мучения и гибель. Он подумал и отверг эту мысль.

С самого начала идея спасения слилась для него с идеей мести. Отомстить палачам, уничтожить их, уйти всем лагерем на свободу, по возможности разыскать партизан — так вырисовывался перед ним план его будущих действий. Но невероятность это-

го плана не остановила Печерского.

Прежде всего необходимо было изучить расположение лагеря, распорядок жизни заключенных, офицеров, охраны. Печерскому ясно было, что захотят бежать из лагеря все, любой может быть его единомышленником, но как среди этой массы незнакомых, изнуренных, слабых физически, а может быть, и морально людей, найти таких, на которых можно положиться? Да и найдутся ли такие?

Через пять дней после прибытия Печерского в Собибур его позвали в женский барак. Там его ждала интернациональная группа заключенных, в большинстве не знавших русского языка. Его забросали вопросами. Беседа свелась к своего рода политической консультации. Положение осложнялось тем, что Печерский совершенно не знал, с кем имеет дело. Среди присутствующих могли быть и ''капо'', то есть лагерники, работающие на немцев, надсмотрщики. Печерский говорил по-русски. Переводчики-добровольцы объясняли собравшимся смысл его ответов.

Печерский рассказал о том, как были разбиты немцы под Москвой, окружены и уничтожены под Сталинградом. О том, что Красная Армия подходит к Днепру, о том, что недалек тот час, когда она перейдет германскую границу.

Как умел и сколько сам знал, рассказывал также Печерский о партизанском движении на оккупированной немцами территории Союза. Ведь еще в Минске до него доходили слухи о спущенных под откос партизанами немецких эшелонах, о террористических выступлениях в самом городе.

''Все напряженно слушали, стараясь не проро-

нить ни одного слова. Кто хоть немного понимал по-русски, сейчас же переводил соседу. И эти обреченные на смерть люди были искренно взволнованы рассказом о чужой доблести и борьбе.

— Скажите, — раздался робкий голос, — если столько партизан, почему же они не нападут на лагерь?

— Для чего? Чтобы освободить тебя, меня, его, да? У партизан и без нас найдется дело. За нас работать никто не будет".

Резко повернувшись и хлопнув дверью, Печерский вышел из барака. Последних фраз его никто не переводил. Их поняли и без перевода.

Так или иначе, о побеге из лагеря мечтали все заключенные, — такое впечатление вынес Печерский из этой первой встречи.

На другой день заключенные разгружали платформы с кирпичом. Люди должны были брать по шесть-восемь кирпичей, бежать двести метров, осторожно опускать кирпич на землю и бегом же возвращаться к платформе. Кто не успевал на ходу брать кирпич или ронял его, того били плетьми. Проделать это было физически невозможно, и плеть не переставала свистеть. После работы к Печерскому подошли товарищи. Среди них — Шлейма Ляйтман.

— Саша, мы решили бежать, — сказал он. — Охрана небольшая. Убьем их и уйдем в лес.

— Это проще сказать, чем сделать. Пока вы будете снимать одного часового, другой с вышки откроет стрельбу из автомата. Но допустим даже, что удастся снять всю охрану. Чем вы будете резать проволоку? Как пройдете минированное поле? Что будет с товарищами, которые здесь останутся?

Имеем ли мы право забыть о них? Бегите, если хотите. Мешать я не стану, но с вами не пойду.

И я ушел с одним из товарищей, который называл себя Калимали. Побег был отменен".

В эти же дни произошло еще одно событие, подкрепившее намерение Печерского. Тот самый пожилой человек, с которым он беседовал в первый день пребывания в Собибуре, еще раз подошел к нему. Старика этого звали Борух. Как впоследствии оказалось, он был портной. Борух присутствовал и в женском бараке на встрече Печерского с лагерниками. От этого человека Печерский услышал предупреждение о том, что за ним начали следить.

"— Вы заметили, вчера в бараке около меня стоял высокий худой человек? Это "капо" Бжецкий, отъявленный негодяй. Он понял все.

— Постойте, о чем, собственно говоря, вы беспокоитесь? Зачем же ему следить за мной? Я ничего не собираюсь делать. Бежать — это безнадежно.

Борух помолчал.

— Вы боитесь меня, и вы правы, — начал он, — прошло всего несколько дней с тех пор, как мы впервые увидели друг друга. Но выхода у нас другого нет. Вы можете уйти неожиданно, и тогда все будет кончено для нас. Поймите, — и он схватил меня за руки, — нас много, таких как я, и все мы хотели бы уйти. Но нам нужен человек, который поведет нас и укажет, что делать. Доверьтесь мне. Мы многое здесь знаем и можем помочь и вам.

Я посмотрел в его открытое доброе лицо и подумал: "Предатель или нет, а рискнуть все-таки придется!"

— Как заминировано поле за проволокой? Понимаете вопрос?

— Не совсем.

— Обычно мины ставятся в шахматном порядке.

— Ага, теперь понимаю. Так и заминировано. Расстояние между минами полтора-два метра.

— Благодарю вас. А теперь я попрошу вас вот о чем: познакомьте меня с какой-нибудь девушкой.

Борух удивился:

— С девушкой?

— Да. Вчера справа от вас стояла молоденькая девушка, кажется, голландка, стриженая, волосы каштанового цвета. Помните, она курила. Вот хотя бы с ней. Она не говорит по-русски, и это как раз очень удобно. Со мною вам встречаться больше незачем. Мы с Ляйтманом спим рядом, все, что надо будет, он вам передаст. А теперь, с вашего разрешения, пойдем в женский барак знакомиться с девушкой".

Прошло несколько дней. Каждый вечер Печерский встречался с Луккой, — так звали его новую знакомую, молоденькую голландку. Оба сидели на досках около барака. То один, то другой заключенный подходили к Печерскому и заговаривали с ним, как казалось на первый взгляд, о самых обыкновенных вещах. Подходил и "капо" Бжецкий, немного понимавший по-русски. При нем Печерский немедленно принимался любезничать с девушкой. Лукка с самого начала смутно догадывалась о том, что вовлечена в какую-то серьезную игру, о которой Печерский и не заикался. Она молча поддерживала конспирацию: Печерский был "восточником", советским человеком, уже это од-

но возбуждало надежду Лукки, ей хотелось верить.

Печерский был вдвое старше этой восемнадцатилетней девушки. Но он с нею подружился. Лукка рассказала ему свою историю. Здесь, в лагере, ей пришлось скрыть, что она дочь немецкого коммуниста, бежавшего из Германии в Голландию, когда гитлеровцы пришли к власти. Отцу ее удалось скрыться и во второй раз, когда немцы оккупировали Голландию. Немцы арестовали ее и мать. Братьев убили. Мать и дочь привезли в Собибур.

Отношения между Печерским и Луккой оставались на протяжении всех этих трагических дней дружескими. Лукка поняла смысл и цель их дружбы. Привыкшая еще с детства в семье к конспирации, — об отце надо было молчать, — она поняла также и то, почему Печерский не говорит с нею о своих замыслах.

Таким образом, не возбуждая ничьих подозрений, Печерский понемногу осваивался среди массы не знакомых ему лиц и попутно узнавал коечто о расположении лагеря, о настроениях людей, об охране.

7 ноября он снова встретился с Борухом, на этот раз за шахматной доской.

"— Вот первый план, — начал я, — он сложен и едва ли выполним, но все-таки я расскажу вам о нем. Столярная мастерская находится в пяти метрах от проволоки. Между рядами проволоки четыре метра. Минированное поле — еще пятнадцать метров. Прибавьте к этому семь метров внутри столярной мастерской — итого тридцать пять. Нужно сделать подкоп. Я подсчитал, что придется спрятать под полом и на чердаке приблизительно

двадцать кубометров вырытой земли. Копать придется только ночью. У этого плана две отрицательные стороны: едва ли шестьсот человек смогут проползти друг за другом тридцать пять метров в течение одной ночи. А кроме того, если мы и уйдем, то уйдем, так и не уничтожив немцев. Поговорите с вашими по поводу этого плана. А о втором плане я пока вам ничего не расскажу.

— Почему?

— Нужны еще дополнительные сведения. А пока вот что: беретесь вы достать штук семьдесят ножей или бритв? Я раздам их ребятам.

— Будет сделано, — ответил Борух. — А теперь мне надо посоветоваться с вами об очень важном деле. В нашу группу входит Моня, вы его знаете: из тех молодых ребят, что строят бараки. Вчера к нему подошел капо Бжецкий и заявил, что знает о готовящемся побеге. Конечно, его постарались разуверить. Он выслушал все и сказал, что хотел бы присоединиться к нам и бежать.

Я задумался, пишет Печерский, хотя это похоже на провокацию, но мысль о том, что каповцы могут помочь нам, показалась необычайно соблазнительной.

— Моня считает, — продолжал Барух,—что каким бы негодяем ни был Бжецкий, тут на него можно положиться: ведь Бжецкий отлично знает, что в последнюю очередь немцы уничтожат и каповцев: они не могут оставить в живых свидетелей своих преступлений.

— Что же вы ответили Моне?

— Что один, без вас, ничего решить не могу.

— Хорошо, подумаем насчет каповцев. А пока пора разойтись".

Кузнец Райман тайно исполнял заказ Печерского на ножи. Кузница помещалась рядом со слесарной мастерской. Вечером 10 октября в кузнице собралось несколько человек . Среди них был и Бжецкий. Немецкая охрана отдала в слесарную мастерскую для починки патефон. Печерский и Ляйтман были приглашены ”послушать патефонные пластинки”.

Разговор начался издалека. Завели патефон.

”Я заговорил о пластинках. Бжецкий все время пытался перевести разговор на тему о побеге. Под разными предлогами я уклонялся. Наконец он дал знак кузнецу. Тот взял патефон и вышел в слесарную. Все пошли за ним. Мы остались с Бжецким с глазу на глаз.

— Я хотел поговорить с вами, — начал он, — вы догадываетесь, о чем?

— Почему вы думаете, что догадываюсь?

— Хотя бы потому, что делаете вид, что не догадываетесь.

— Я плохо понимаю по-немецки, вероятно, поэтому у меня такой вид.

— Хорошо, будем говорить по-русски. Правда, по-русски я говорю неважно, но если вы захотите, мы договоримся. Прошу вас, выслушайте меня. Я знаю о том, что вы готовите побег.

— Вздор! Из Собибура бежать невозможно.

— Вы делаете это очень осторожно. Вы редко бываете в бараках. Вы никогда ни с кем не разговариваете, за исключением Лукки, но Лукка — это только ширма. Саша, если бы я хотел вас выдать, я мог бы это сделать давным-давно. Я знаю, вы считаете меня низким человеком. Сейчас у меня нет ни времени, ни охоты разубеждать вас.

Пусть так. Но я хочу жить. Я не верю Вагнеру (начальнику лагеря), что каповцев не убьют. Убьют, и еще как! Когда немцы будут ликвидировать лагерь, нас уничтожат вместе со всеми.

— Хорошо, что вы хоть это поняли, но почему же именно со мной вы об этом говорите?

— Я не могу не видеть того, что происходит. Все остальные только исполняют ваши распоряжения. Шлейма Ляйтман говорит с людьми от вашего имени. Саша, поймите меня: если каповцы будут вместе с вами, это значительно облегчит вашу задачу. Немцы доверяют нам. У каждого из нас есть право передвижения по лагерю. Короче говоря, мы предлагаем вам союз.

— Кто это ”мы”?

— Я и Чепик, капо банной команды.

Я встал, прошелся несколько раз из угла в угол по кузнице.

— Бжецкий, — начал я, посмотрев ему прямо в лицо, — могли бы вы убить немца?

Он ответил не сразу.

— Если это нужно для пользы дела, мог бы.

— А если без пользы? Точно так же, как они сотнями тысяч уничтожают наших братьев...

— Я не задумывался над этим...

— Спасибо за откровенность. Нам пора разойтись.

— Хорошо. Но еще раз прошу вас: подумайте о том, что я вам сказал.

Я ответил, что мне думать не о чем, поклонился и вышел. Однако именно то, что Бжецкий задумался, прежде чем ответить на мой прямой вопрос об убийстве немца, заставило меня предположить, что, может быть, в этом случае он действует не как

провокатор. Провокатор согласился бы сразу".

На другой день, 11 октября, работавшие в нордлагере на строительстве бараков услышали крики и стрельбу из автоматов. Немедленно же немцы согнали людей в одно место, запретили выходить из мастерских первого лагеря, закрыли ворота и поставили дополнительную охрану. Только в пять часов выяснилась причина всех этих чрезвычайных мероприятий: прибыл очередной эшелон смертников. Когда их раздели и повели,они догадались обо всем и бросились в разные стороны. Совершенно голые, несчастные могли только добежать до проволоки, — немцы встретили их огнем винтовок и автоматов.

Совещание, на котором был принят окончательный план побега, состоялось на следующий день, 12 октября в столярной мастерской. На совещании присутствовали Борух,Ляйтман, старшина столярной мастерской Янек, Моня, Печерский и еще несколько "восточников". Во дворе около мастерской мирно беседовали двое, у ворот первого лагеря еще двое. Это были посты наблюдения.

Совещание началось с вопроса: как быть с Бжецким? Решено было пригласить его. Моня ушел и через несколько минут привел Бжецкого.

"— Мы решили, Бжецкий, пригласить вас, — начал я, — но, принимая в свой круг такого человека, как вы, мы ставим на карту судьбу всего лагеря. Поэтому помните: в случае малейшей неудачи вы погибнете первым.

— Я это знаю.

— Итак, товарищи, вот план, который я считаю единственно выполнимым. Мы должны убить всех немецких офицеров. Разумеется, поодиночке, но в

очень короткий срок. Убивать немцев будут только восточные евреи, только военнопленные, которых я знаю лично и на которых могу положиться. После обеда, в половине четвертого, капо Бжецкий под каким-нибудь предлогом отведет трех человек во второй лагерь. Эти люди убьют четырех офицеров. В четыре часа электромонтеры должны перерезать телефонную связь, идущую через второй лагерь в резервную команду. Одновременно в нашем лагере начнется уничтожение гестаповцев. Их нужно ухитриться приглашать под разными предлогами в мастерские и убивать поодиночке в разное время. В нашем лагере все должно быть кончено в течение получаса. В половине пятого Бжецкий и Чепик строят весь лагерь в колонну, как бы для работы, и колонна направляется к выходу. В первых рядах идут восточники. По дороге к главным воротам лагеря нужно захватить оружейный склад, по возможности без шума. Помните, что во время движения колонны очень легко может возникнуть паника, тогда все пропало, немцы обнаружат побег. Если удастся захватить склад, мы вступим с ними в бой. Если не удастся, придется идти напролом. Недалеко от столярной мастерской, у самой проволоки, находится офицерский дом. Можно сказать наверняка: немцы рядом с ним побоялись минировать поле. Возможно, заложили несколько сигнальных мин. Поэтому нужно именно в этом месте рвать проволоку. Вот и весь план. До завтра подумайте над ним. Есть возражения?

Борух ответил за всех, что возражений нет".

4

Этот сумасшедше смелый план родился в голове, пылавшей жаждой свободы и жаждой мести. Само собой разумеется, он мог быть выполнен только при условии строжайшей точности и строжайшей тайны.

Недаром каждый час следующего дня, 14 октября, отдельно отмечен в записках Печерского.

С утра он работал в одном из бараков, из окон которого был виден весь лагерь. Семь человек, работавших рядом с ним в то утро, ничего не знали о побеге. В соседнем бараке двадцать восточников, подобранных по специальному списку, строили нары под руководством Ляйтмана. В 10 часов Ляйтман позвал Печерского и доложил ему о ходе дела:

"— К четырем часам в портняжную мастерскую приглашен для примерки мундира унтерштурмфюрер Эрнст Берг. В четверть пятого туда же придет обершарфюрер Гетцингер (начальник третьего, то есть смертного лагеря). В сапожную мастерскую в четыре часа должен явиться унтершарфюрер Эмиль Шумахер. С унтершарфюрером Фридрихом Гаульштихом расправлюсь я собственноручно. Четырех немцев убьют во втором лагере, остальных ребята постараются как-нибудь зазвать в мастерские.

— Хорошо. Товарищей, которые взяли на себя уничтожение немцев, присылай ко мне по одному.

Через пять минут в барак, где я работал, зашел Калимали.

— Сегодня в три часа, — сказал я Калимали, — ты пойдешь в портняжную мастерскую. Возьми рубанок, стамеску и топор. Смотри, Калимали, промахнешься — мы погибли. Понял?

— Да.

— Ну, ступай. Желаю счастья.

Я крепко пожал ему руку.

Через полчаса ко мне пришел Борис Цибульский, которому было поручено убийство гестаповцев во втором лагере.

— Борис, — сказал я ему, — время пришло. Я посылаю тебя на самый трудный участок. С тобой пойдут Михаил и Беня. Возьмите два топора. Бжецкий отведет вас во второй лагерь. Помни, Борис, ты начинаешь первый. Твой удар вдохновит всех. Если товарищи, идущие с тобой, боятся, замени их. Принуждения здесь быть не может.

— Не беспокойся, Саша, они только ждут сигнала".

В два часа в первый лагерь явился неожиданно один из гестаповцев и увел куда-то капо Бжецкого и еще трех человек. Страшная мысль — заговор открыт — поразила всех.

Через час выяснилось, что Бжецкого повели в норд-лагерь для укладки леса. Капо Чепик взял на себя поручение, данное Бжецкому: он отвел людей во второй лагерь для убийства гестаповцев.

Напряжение в лагере росло. Конспирация среди восставших была осуществлена полностью. Очень немногие из лагерников понимали, в чем дело. Но очень многие чувствовали какую-то неясную тревогу, что-то творилось кругом, чего они не знали, но что могло решить их судьбу. Люди надеялись на этих молчаливых, толковых и сумрачных людей,

недавно прибывших в лагерь. За два дня до побега был праздник йом-кипур. Среди разного по возрасту населения лагеря нашлись усердные молельщики. Один из восточников обратился к кантору с вопросом:

— Почему вы молитесь Богу, чем он поможет вам? Молились бы Сашке (то есть тому же Печерскому).

Он услышал такой ответ:

— Мы молимся Богу, чтобы Сашке все удалось.

Слух о предстоящих событиях был смутен. Его приходилось утаивать от самых близких. Вообще люди предпочитали меньше разговаривать друг с другом. Но тем не менее надежда пробивалась и сквозь молчание и сквозь всеобщий страх. Слух распространялся. Таким образом, для событий, разразившихся 14 октября, почва оказалась подготовленной.

Первым был убит унтерштурмфюрер Эрнст Берг, явившийся в портняжную мастерскую на двадцать минут раньше, чем предполагалось. В тот момент, когда Берг снял с себя ремень с кобурой и пистолетом и начал примерять мундир, Калимали ударил его топором по голове. Труп немца бросили на койку и прикрыли одеждой.

"Не было еще четырех, когда Калимали вбежал к нам в барак и положил передо мной пистолет. Мы обнялись.

— Теперь кончено, — сказал я. — Если кто-нибудь захотел бы отступить — поздно. Спасибо тебе, друг.

Калимали ушел. Внезапно поднялся смертельно побледневший голландец и попытался выйти следом за Калимали.

— Куда?

— Хочу оправиться.

— Назад. Подождешь. Товарищи, вам понятно, что происходит? — обратился я ко всем находившимся в бараке.

— Смотрите же за этим, не выпускайте его".

В десять минут пятого в той же портняжной мастерской Семен Мазуркевич убил начальника всей охраны лагеря Михеля. Одновременно в сапожной мастерской Аркадий Вайспапир убил начальника смертного лагеря обершарфюрера Гетцингера. В четверть пятого Печерскому доложил Цибульский, что его задача (уничтожение гестаповцев во втором лагере) выполнена. Четыре гестаповца убиты, телефонная связь перерезана, выходы закрыты.

Наступила пора строить людей в колонну.

Но Печерский медлил. Он надеялся, что удастся прикончить еще кого-нибудь из немцев.

В это врем Шлейма Ляйтман убил еще одного гестаповца (Фридриха Гаульштиха).

В половине пятого вернулся капо Бжецкий. Это было очень кстати: только капо могли, не вызывая подозрений, построить колонну.

Оружия в руках у восставших оказалось немного: одиннадцать пистолетов, снятых с убитых, да еще шесть винтовок, которые жестянщики издавна припасали, спрятав их в водосточных трубах. Приходилось довольствоваться тем, что есть.

Без четверти пять Бжецкий дал сигнал, чтобы колонна построилась. На резкий свисток со всех сторон сбежались люди.

Начальник караула (немец с Поволжья) пытался загнать людей обратно в бараки, но был убит.

Толпа бросилась к оружейному складу. Силь-

ный пулеметный огонь преградил ей дорогу. Печерский понял, что захватить оружие не удастся. Он крикнул:

— Товарищи, вперед!

Люди бросились за ним к офицерскому дому. Многие побежали в другую сторону, к центральным воротам.

Часовые были смяты. Люди мчались напрямик по минированному полю к видневшемуся вдалеке лесу. Многие подорвались на минах. Из шестисот бежавших четыреста все же скрылись в лесу.

Столяр Хаим Паврозник, житель Холма, солдат польской армии, попавший в плен к немцам еще в 1939 году, рассказывает об этом дне:

"Большая группа собралась в лагере. В центре стоял наш славный руководитель, Сашка (перед тем Паврозник называет Печерского "славный ростовский парень"). Сашка крикнул:

— За Сталина, ура!

Разделившись на мелкие группы, мы разошлись в разные стороны по всему лесу. Немцы устроили облаву. Самолеты обстреливали лес пулеметным огнем. Очень многие были убиты. В живых осталось не больше пятидесяти человек. Мне удалось добраться до Холма, где я скрывался до прихода Красной Армии. В тот день ко мне, узнику Собибура, вернулась жизнь".

Голландка Зельма Вайнберг рассказывает:

"Когда в лагере произошло восстание, мне удалось бежать. Вместе со мной убежали еще две девушки, Кетти Хокес из города Гах и Уржля Штерн из Германии. Кетти попала потом в партизанский отряд и там умерла от тифа. Уржля тоже воевала в

партизанском отряде. Сейчас она во Влодаве. Вместе с Уржлей была я в Вестербурге и в тюрьме в Фихте, вместе прожила в Собибуре, вместе с нею бежала и спаслась".

Судьба конспиративной подруги Печерского, голландки Лукки, осталась неизвестной, так же как и ее настоящее имя.

22 октября Александр Печерский, после долгих странствований по дорогам и проселкам Польши, встретился с партизанским отрядом, в который был принят вместе с несколькими товарищами. В настоящее время он находится в рядах Красной Армии в звании капитана.

Сейчас на десятке гектаров польской земли, где был расположен Собибурский лагерь уничтожения, ветер позванивает рваной колючей проволокой. Картофельное или капустное поле, которое немцы развели здесь, чтобы скрыть следы своей чудовищной работы, еще раз перекопано. Под ним найдены осколки человеческих костей, жалкие обломки лагерного быта, разрозненная обувь всех размеров и фасонов, множество бутылок с этикетками Варшавы, Праги, Берлина, детские молочные рожки и протезы стариков, еврейские молитвенники и польские романы, открытки с видами европейских городов, документы, фотографии, побуревший молитвенный талес рядом с какой-то трикотажной тряпкой, консервные коробки и футляры от очков, детская кукла с вывороченными ручками, наконец, как самый неумолимый и грозный свидетель совершенных здесь злодеяний — большой человеческий череп, вымытый и выбеленный дождями.

Страдания погибших здесь людей, их слезы и

предсмертный ужас кончились. Этих людей больше нет.

Немногие из спасшихся рассказали все, что знали и видели.

Если идти отсюда, держась направления строго на запад, дойдешь до границы немецкой земли. Она разворочена уральским металлом, разбита гусеницами танков.

Красная Армия принесла туда, к самому сердцу немецкой земли, огонь священной расплаты за страдания оскорбленных народов.

Вместо заключения

РЕЧИ, НЕ ПРОИЗНЕСЕННОЙ IV С'ЕЗДЕ ПИСАТЕЛЕЙ

Что такое внутренняя свобода? Мы, писатели старшего поколения, в течение долгих лет как бы скрывали от себя трагическое положение литературы, запутывались в противоречиях, с трудом различая в хоре фальшивого оркестра редкие ноты самоотречения, жертвенность призвания. Я никогда не соглашался с тем взглядом, что история советской литературы оборвалась в конце двадцатых годов и возобновилась в шестидесятых. Она продолжалась — разве это не становится очевидным, когда мы читаем Цветаеву, Булгакова, Ахматову, Андрея Платонова, — книги писателей, сопротивлявшихся идее ложного благополучия, мнимого духовного расцвета? Это сопротивление, тесно связанное с революционным взлетом двадцатых годов, развивавшее, как это ни было трудно, русский ренессанс первой четверти XX века, нетрудно обнаружить не только в голосах, заговоривших после 30—40-летнего молчания. Будущие историки советской литературы найдут его в творчестве Тынянова, Пастернака, Заболоцкого, Шварца. В замаскированном виде оно когда-нибудь будет обнаружено и в книгах, переиздававшихся многократно.

СУДЬБЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
(По страницам книг В.Каверина)

После каждого отчета о переписи населения, – скажем, в США или в СССР, – усиливаются разговоры о растворении малых народов среди главного, основного населения страны. Беспокойство за судьбы наций, история которых может вдруг и неотвратимо оборваться, понятно и законно, – нельзя без боли думать о возможном обеднении человечества, о грозящем ему единообразии, плоской однотипности. Процесс "стирания различий" – не только стихийный. Его подхлестывает ассимиляционная политика многих правительств, любой ценой добивающихся "культурной унификации" и снова и снова заставляющих вспомнить множащиеся факты отказа от родного языка в пользу языка "государственного"; лавину смешанных браков, при которых дети, как правило, оказываются потомками "ведущего народа"; культурную нивелировку, обнаруживающую очень быстро свою внутреннюю механику – забвение истории малых народов, свертывание их исконной культурной деятельности, утверждение бесперспективности их дальнейшего, автономно-деятельного существования.

Картина, действительно, выглядела бы безрадостно-безнадежной, если бы мощному напору централизации не противостояла такая же, а может, и еще более упорная тяга народов к сохранению индивидуальности, традиционно-

специфических черт своего национального облика, своей истории и будущей судьбы. История не дает повода для растерянности, она доказывает, что народы, отстаивая свою самостоятельность, добиваясь реализации своих социально-национальных задач, — на "христианизацию" марранов отвечали молитвой "Кол нидрей", а на десятилетия отторжения российского еврейства от его национальных традиций — исходом из многовекового галута.

ГЛАЗАМИ ДРУГА

Внешнее, бросающееся в глаза — не всегда, далеко не всегда выражает внутреннюю, сокровенную суть явления. Тем более такого сложного, как жизнь человеческого духа. Вспомните хотя бы давнюю, написанную и опубликованную более сорока лет назад статью Марка Слонима о "писателях-евреях в советской литературе[1] ". То, что казалось тогда автору очевидным, предстало ныне в совершенно новом и неожиданном свете. Рубрики, по которым были распределены писатели-евреи, смешались, и оказалось, что многие из тех, кого М.Слоним относил к "евреям по паспорту" всегда были евреями по духу, по своей неразрывной связи с судьбой и историей своего народа. Выяснилось, например, что В.Гроссман не только много и упорно размышлял о корневой системе культуры, но и посвятил своим соплеменникам целый ряд прекрасных страниц.

По той же рубрике "паспортных евреев" значился и Лев Лунц, проживший очень короткую жизнь, но сыгравший в двадцатых годах весьма значительную роль в истории русской литературы.Теперь мы знаем иного Лунца—страстно отстаивавшего в своих письмах,в том числе к М.Горькому,

право жить и чувствовать себя евреем и создавшего ряд блистательных произведений на библейские темы (некоторые из них все еще не опубликованы и хранятся в личных архивах бывших "Серапионовых братьев").

В.Каверин даже не упомянут М.Слонимом, – видимо, и фамилия, и творчество его настолько далекими казались от темы "евреи и русская литература", что автор статьи даже не обратил внимания на некоторые, весьма примечательные особенности произведений прозаика. А между тем знавшие его близко, внимательно читавшие его книги, рисовали совсем другой образ Каверина (Зибеля) – художника. Л.Лунц, товарищ каверинских юношеских лет, посвятил ему повесть "Родина", и не только посвятил, но и сделал Каверина героем своего "библейского" произведения. В нем Бениамин предстает одним из страстнейших пророков, призывавших сородичей своих к исходу из вавилонского плена в Израиль, к возвращению в страну отцов, где поля давно истосковались по рукам древних трудолюбивых пахарей.

Но это – свидетельство косвенное, почти "литературное". Имеются и прямые, неоспоримые факты – произведения самого Каверина. Одно из них, повесть "Конец хазы" писатель посвятил памяти Льва Лунца, как бы подтверждая в начале двадцатых годов верность и прежней дружбе, и тем юношеским мечтаниям, которые так полно сказались в лунцевской "Родине". Но суровая реальность завладевала жизнью, и "Конец хазы" – вещь действительно переломная – стала прощанием с тем кругом романтических иллюзий, конец которым был положен отменой нэпа и началом первой пятилетки. "Герои вольницы" становятся бандитами и налетчиками, и писатель не без элегической нотки рассказывает теперь о печально-комичной судьбе вожака "хевры" Шмерки, по прозвищу "Турецкий Барабан", что готовился некогда быть раввином, а ныне

заканчивает свои "вольготные денечки", выбросившись из окна "хевры" на "кучу мусора возле помойной ямы". Герои вольницы закончили свой век. Наступало время трагических раздумий...

"УПАЛА У ЕГО ДВЕРЕЙ И УМЕРЛА..."

Продуманное, прочувствованное, осознанное с ясностью необыкновенной сказалось в каверинском романе "Художник неизвестен", который до сего времени остается, без сомнения, наиболее глубоким и выстраданным созданием писателя.

Написанный в тяжелейшую для Каверина пору – в конце двадцатых годов, когда критика, переходящая в откровенную брань и политические обвинения, достигла высшей своей точки, "Художник неизвестен" должен был стать, по всей видимости, произведением переломным, той вехой, с которой можно было бы начать отсчет творчества с о в е т с к о г о п и с а т е л я В.Каверина. Это не было "сдачей позиций", а тем более, простым приспособленчеством к "новым условиям". Художник не мог и не хотел идти на "самоизмену" , пусть и диктуемую принуждением и безысходностью. Он чаял найти разумное зерно в груде плевел, в нападках литературных недругов, он тщился обнаружить иную правду, которая помогла бы если не удостовериться, то усомниться в собственной правоте. Воображение художника должно было отступить перед человеческой рассудительностью, но отступить, признавшись в возможности иной системы жизненных координат, а не поддавшись сокрушающей грубой силе антиискусства. Самоборение художника в двадцатые годы было очевидно, и хотя мы ничего не знаем о его внутренней драме – о ней ни слова в

его произведениях! – легко представить то "сопротивление материала", которое пришлось выдержать автору во все месяцы работы над романом! Он искал выход за границы искусства, к "новому быту", к новым принципам существования, а искусство, непокорное, логикой самих образов толкало к извечным ценностям человеческого духа, готовое пренебречь кормом подножным во имя пищи вечной и непреходящей. Ничто человеческое художнику не было чуждо, и он, подавляя в себе искусство, пытался ссылаться на Время, которое-де требовало не "расчета на романтику", не героя, живущего не хлебом единым, а "романтики расчета", не творца Мира, а зодчего своего мирка. Но совладать с искусством в себе не удавалось, воображение никак не считалось со "здравым смыслом", и роман, вчерне написанный в 1929 году, так и не был тогда завершен окончательно. Его пришлось отложить, и надолго, убедив себя, по всей видимости, что не "новые требования" несправедливы, а сам "материал" романа случаен, взят из среды архаичной, не характерной для эпохи. Каверин уезжает на юг, в Сальские степи, и пишет цикл очерков – "путевых рассказов" – "Пролог". "Книга, – по словам писателя, – была разругана без малейшего снисхождения". Официальная критика, разглядев немалую искусственность "новых героев", была шокирована и возмущена недостаточно органичной перестройкой художника, его внутренним сопротивлением лжи, а значит, и основам узаконенного беззакония. Ответом писателя был акт отчаянный – он возвращается к своему незавершенному роману и после многомесячной работы публикует его в 1931 году. "Критике" было как бы брошено в лицо: "Если вы не желаете лжи, в которой я искренно искал Правду, то получите Правду, в которой я вижу Искусство!..."

Повторяю, вся история создания романа "Художник

неизвестен" была от нас автором скрыта. Он обходил ее прежде, он не касается ее доныне. Но она "прочитывается" в самом произведении, в отрывочных свидетельствах о его "двойном" написании, она "читается", наконец, в исповедальном тоне самого романа, в монологах автора, ставшего одним из героев своей "лирической прозы". Впервые и, кажется, в единственный раз Каверин – автор не биографических повестей, а романа, построенного по всем законам жанра, – не скрывается за кулисами повествования. Он сам признавался на страницах книги, что был поражен, "однажды найдя план и убедившись, что эта книга представлялась мне хладнокровным состязанием между "расчетом на романтику" и "романтикой расчета", а о моем участии в этом состязании должна была свидетельствовать лишь фамилия автора на титульном листе". В "завершенном тексте" о "хладнокровии" не могло быть и речи, а "состязание" ныне проходило при откровенном, отчетливом, даже подчеркнутом участии писателя. Он "вмешивался" в действие, знакомя нас со своими героями, вспоминая об их детстве и юности, которые проходили у него на глазах; он пристрастно и придирчиво взвешивал их доводы в споре, который велся в его присутствии и при его участии. Короче, "лирические отступления" играли роль не только "композиционного приема", который призван был расширить временной и пространственный охват событий, но и незримо подвести читателя к убеждению, что исследование идейно-психологического конфликта двух основных героев романа – это авторский самоанализ борений его собственной души, его сомнений, боли, исканий единственной дороги в жизни-искусстве, должной равно соответствовать как преходящему в человеке, так и нетленному в человечестве.

Конечно, и любое другое творение подлинного художника – всегда образ его души, но в данном случае лиризация

повествования становится приемом полемическим, заранее и очевидно выражающим готовность писателя принять на себя "вину" за "нетрадиционность" самих масштабов конфликта. Роман превращается в дневник, страницы которого отданы авторской исповеди, молению о слиянности мига и вечности, забот дня нынешнего и устремлений чреды поколений.

Алексей Архимедов и Александр Шпекторов, герои романа – антиподы? Конечно. Они полярны в своих взглядах на жизнь, в самом "чувствовании жизни". Архимедов: "Ты скажешь – романтика! Я не отменяю этого слова. У него есть свои заслуги. Когда-то русские называли романом подвешенное на цепях, окованное бревно, которым били по городским укреплениям. Роман был тогда тараном. Потом он опустился. Он стал книгой. Теперь пора вернуть ему первоначальное значение. Романтика! Поверь мне, что стенобитное орудие еще может пригодиться для борьбы с падением чести, лицемерием, подлостью и скукой". Шпекторов: "Иллюзии?... Я бы согласился с тобой, если бы из этой штуки можно было добывать хотя бы дубильные вещества, которые до сих пор приходится возить из-за границы". Архимедов: "Акции правды и честности, с одной стороны, и лжи, с другой – то падают, то поднимаются в истории каждого класса. Когда класс овладевает властью и заявляет, что будущее принадлежит ему, он поднимает акции правды. Когда он клонится к упадку, он, запутавшийся в делах банкрот, поднимает акции лицемерия, подлости и скуки". Шпекторов: "Мораль? У меня нет времени, чтобы задуматься над этим словом. Я занят. Я строю социализм. Но, если бы мне пришлось выбирать между моралью и штанами, я бы выбрал штаны". Архимедов: "Бунтовщики определяют картину мира..., а против лицемерия, бесчестия и скуки нужно бороться с ребенком в руках. Он по-

может мне. Он докажет, что победителями будут наши дети". Об Архимедове: "Архимедов – это не просто человек... Это художник, и нам всем до него, как до неба... Это единственный художник нашего времени, который не боится морали... Это борьба за глаз, за честность глаза, который не подчиняется ни законам, ни запрещениям. Это дело такое, что нужно идти на голод, на холод и на издевательство... Это – искусство, которое вправе решиться даже на предсказание в истории. Самая страшная, последняя смелость – все нужно ей для того, чтобы, миновав десятки ступеней, необходимых для неповоротливого ума, в собственной гибели угадать существенные черты исторической катастрофы".

У каждого из героев романа – своя правда? У Архимедова она масштабна, но отдаленна, у Шпекторова – очевидна, но узка? Несомненно. В своей сфере – каждый из них победитель. Архимедов создает картину, которая вобрала в себя все боли человеческие, ту живопись "настоящую, единственную, которая нужна своему времени". Шпекторов, только он получает право усыновить ребенка, ибо "ясность – вот что было для него важнее всего... Она у него была своя, немного наглая, честолюбивая, гордо вооруженная ясность". В чужой сфере каждый из них – побежденный. Нет места Архимедову в практической жизни, которая всегда – звено истории; нет места Шпекторову в духовной истории человечества, которая началась не сегодня и сегодня не кончается.

Ну что ж, у каждого своя сфера жизнепроявления, у каждого свои масштабы времени?! Архимедов и Шпекторов сосуществуют, – если не дополняют друг друга! – и их своеобычие – всего лишь единство противоположностей? К сожалению, роман-трагедия Каверина (и трагические коллизии человеческой истории) доказывают, что "противоположности" далеко не всегда приводят к единст-

ву, а тем более, к гармонии. Между "полюсами" рвутся средостения, и вершители сегодняшних дел, прекрасно знающие "потребности момента", пожинают "плоды" лишенных смысла и цели труда и жизни, неуклонного и стремительного опредмечивания человека, предавшего забвению свое божественное предназначение. Творцы же вечных ценностей, в презрении отворачивающиеся от треволнений действительности и уповающие лишь на безбрежную даль времени, воистину оказываются в положении Дон-Кихотов, прекрасных в своей верности высоким идеалам, но глухих к шагам эпохи, отзывчивых на голос вечности, но презирающих сам путь к ее вершинам.

Трагедия усугубляется (вернее, обнаруживается!) и потому, что "смятение чувств и мыслей", однобокость страстей и представлений не только разрушает "единство мира", не только разрывает социальные связи, не только ведет к общественному застою и оскудению, но и становится горчайшей метой каждой личностной, индивидуальной судьбы. В романе "Художник неизвестен" Архимедов и Шпекторов – не только два "принципа существования", равно невозможные в своей изолированности, но и две ипостаси той Цельности, для которой грозящий трагический разлом может окончиться не "новым способом бытия" – замкнувшимся на границах "преходящности" или окончательно отринувшегося от действительности! – а лишь гибелью, неотвратимой и неизбежной.

Тут-то и сказывается "еврейская подпочва" каверинского романа. Архимедов и Шпекторов даны не изолированно, не в универсальном и абсолютном конфликте, нет, их подлинная и противоречивая сущность проявляется лишь в соотнесении с образом Эсфири, воистину центральным персонажем романа, ключом к его системе идей, к его художественной логике. В образе Эсфири как бы сходятся все разрозненные сюжетно-композиционные нити произведе-

ния, в душе ее смыкаются все духовные притяжения сложной романной структуры. Любовь к ней Архимедова и Шпекторова – символ той нерасщепляемой цельности, к которой "поверх всех барьеров" стремится Личность в своем нерасчленимом реально-идеальном бытии. Небрежение цельностью оказывается чреватым трагическими взрывами, а переход за "критическую точку" – трагической гибелью героя.

В. Каверин тщательно и скрупулезно лепит "еврейский образ" Эсфири. Внешне – это сравнения, литературные параллели, реминисценции, вскрывающие библейско-национальную основу характера. О ней сказано: "Должно быть, вот такие... в дни гибели Иерусалима пророчествовали на ступенях храма!". И еще: "Она смотрела прямо перед собой черными, ровными глазами. Все молчали несколько секунд. Потом она сказала с эпической простотой, напомнившей мне фразу из "Книги судей": "Она упала у его дверей и умерла..." И снова: "Женщина встала, и вновь я увидел ее грозный и печальный лоб, прямой нос дочерей Левана и высокую шею, которую Библия решилась бы, может быть, сравнить с башней из слоновой кости".

Но главное, конечно, не во внешних "приметах", а в самом отношении Эсфири к жизни и к себе. Ее влечет к Шпекторову, которого она любит и который стал отцом ее ребенка. Ее земная, страстно-искренняя натура захвачена обаянием шпекторовского напора, той "жизненной энергии", которая здесь и сейчас, с ошеломляющей неудержимостью ищет и, главное, всегда "находит" решение всех "больших и малых проблем". Она с трепетно-возвышенной нежностью продолжает верить архимедовской "необыкновенности", той отрешенности от суеты сует, которая всегда и все наполняет высшим смыслом, за бдением повседневности позволяя разглядеть и нелепость умаления личного достоинства и вопиющую абсурдность самой

смерти.

Обе привязанности неизбывны в душе Эсфири. И первый надлом в ее семье , и первый уход Архимедова – становятся знаком ее трагической судьбы. Она, не знающая душевных компромиссов, во всем винит только себя: "Он прав, я хочу увидеть его, чтобы сказать, что он прав! Я думала только о себе. Разве я не будила его по ночам, когда плакал ребенок? Это было не очень похоже на любовь". Именно раскаянье – ныне ее душевный двигатель. "Она решила остаться с Архимедовым, – читаем в романе, – до тех пор, пока не перестала бы чувствовать себя перед ним виноватой". Эсфирь не может преступить свою первую любовь, ибо "если я уйду, ему будет еще тяжелее. Я останусь с ним. Я не могу иначе..." Она знала об этом всегда: "Помнишь, – напоминает Эсфирь Шпекторову, – ты смеялся надо мной, когда я говорила, что не уйду от него, даже если полюблю другого. Вот видишь, ты мне не верил".

Эсфирь – в контексте житейско-фабульном – действительно, никогда не покидает Архимедова. Она – в контексте художественной символики – никогда и не вычеркивает из души своей органичную потребность приобщения к той всеобщей жизни, которая не знает ограничений ни в пространстве, ни во времени. Вынужденная все более погружаться в сиюминутные заботы, требовавшие от нее огромного ответного напряжения сил, восхищаясь шпекторовской способностью практически-трезво оценивать явления и обстоятельства, преодолевать, без рефлексии и сомнений, враждебность будней, Эсфирь, земная и даже обычно-обыденная, никогда не порывает с небом. Она "отступает", пытается уговорить, убедить себя в абсолютной шпекторовской правоте, но переступить границу, окончательно отделяющую небо от земли, ей никогда не удается – сопротивляется вся сложная цельность ее натуры, ее характера. В минуты самых решительных своих поступ-

ков, когда кажется, что с иллюзиями покончено и "звездный час" навсегда канул в небытие, она не перестает чувствовать пронзительность вины и сжигающую отчаянность раскаяния (автор, упомянув о "раскаянье Эсфири", приводит точнейшую подробность: "раскаянье, склонность к которому есть подлинная черта евреек"). Цельность оказывается истинной и нерушимой формой ее души, самим способом существования. За разрывом последней тоненькой нити – не освоение односторонности, не уход только в быт или только бегство от быта, – но гибель, предпочтенная самоизмене, жизни во смерти. Такой, трагически верной себе, она навсегда запечатлена, после самоубийства, на последней картине "неизвестного художника": "А она лежит такая, как будто это был полет, а не падение, и она не разбилась, а умерла от высоты".

Такова эта, совсем не библейская история Эсфири. Но в ней – и тысячелетия еврейской галутной жизни, обязывавшей к ежечасной борьбе за право встретить новый день, и тысячелетия еврейской веры в возвышенную органичность мессианства... Сегодня уже не различишь, где кончается признание трагической противоречивости биографии и начинается трагическая незыблемость извечной цельности души...

ВОССТАНИЕ

Двадцатые годы были "переломными"?! Затем нить национальной преемственности резко обрывается? Не будем спешить с выводами, – лучше обратимся к небольшому эпизоду из каверинского романа "Два капитана", публиковавшегося в годы войны.

Знаменательно, что, рисуя скорбную минуту в жизни

своей героини, описывая ее тяжелейшие переживания, вызванные потерей любимого человека, Каверин параллельно и подробно рассказывает о похоронах еврейской женщины в блокированном Ленинграде. Два повествовательных потока как бы сливаются, и раздумья героини о безвозвратно ушедшем счастливом прошлом "накладываются" на картину похорон:"И Розалия Наумовна, должно быть,сошла с ума,потому что сказала, что по обряду так и нужно – без гроба... Потом нас зовут – могила готова. Опираясь на лопаты, мальчики стоят на куче земли и снега. Неглубоко же собрались они запрятать бедную Берту! Романов посылает их за покойницей, и вот ее уже везут. Длинный грустный еврей идет за салазками и время от времени велит постоять – читает коротенькую молитву. Романов раскладывает на снегу веревку, ловко поднимает покойницу, ногой откатывает салазки. Теперь она лежит на веревках. Розалия Наумовна в последний раз целует сестру. Еврей поет, говорит то высоко, с неожиданными ударениями, то низко, как старая печальная птица..."

Короткий, проходящий эпизод? Но всплыл он, понадобился писателю, несомненно, для выражения того эмоционального взрыва, когда затемненное и заслоненное внешними установлениями неудержимо пробивается наружу...

Вскоре – за месяц до окончания войны – в московском журнале "Знамя" был напечатан очерк П.Антокольского и В.Каверина "Восстание в Собибуре". Очерк предназначался для "Черной книги", задуманной Еврейским антифашистским комитетом как обвинительный акт германскому фашизму – убийце миллионов евреев на территории СССР. Очерк создавался на основании свидетельств очевидцев нацистских злодеяний, чудом оставшихся в живых и своими показаниями стремившихся способствовать суду над гитлеризмом.

Верные своей теме – прославлению гордого, сильного

человека, не сдающегося в любых, смертельно-опасных обстоятельствах, Антокольский, недавно опубликовавший трагически-возвышенную поэму "Сын", и Каверин, автор целого ряда очерков и рассказов о войне и только-только завершенного романтического романа "Два капитана", вновь обратились к героической странице одной из самых черных глав еврейской истории. История собибурского лагеря стала для них не только поминальной молитвой по павшим, но и реквиемом не сдавшимся до конца и величальной песней победившим.

Очерк о Собибуре, где фашисты создали один из лагерей смерти, начинается с жестоко-трагической ноты – несколько оставшихся в живых бывших узников Собибура, преодолевая мучительную боль воспоминаний, рассказывают об этой "фабрике смерти". Здесь уничтожение людей стало "работой", – "в том, как она была поставлена в Собибуре, видна полная продуманность, неусыпная забота обо всех мелочах ремесла и сметка давно практикующих палачей. К месту убийства люди шли совершенно голые. Из человеческого волоса делались матрацы. В лагере была мебельная мастерская, так что волосы жертв находили применение и сбыт тут же в лагере. Наконец, само устройство "бани", то есть главного цеха в этой чудовищной фабрике смерти, было сложным и требовало внимания, заботы, квалифицированных техников, истопников, сторожей, подавальщиков газа, могильщиков. На разных этапах эту работу выполняли сами заключенные, разумеется, под угрозой немедленной смерти. Эта угроза выполнялась всегда и неукоснительно".

Авторы очерка не стремятся "нагнетать" ужасы, – тон повествования сдержан и напряжен, все внимание сосредоточено на подробностях подготовки и свершения восстания обреченными на смерть людьми. Образ офицера-еврея, Александра Ароновича Печерского, которому удалось

сплотить заключенных, потерявших, казалось, всякую надежду на спасение, вернуть им волю к борьбе, заразить их своей дерзкой отвагой — не только документален, не только достоверен, но и конкретен в своей общечеловеческой возвышенности и в своем национально-еврейском оптимизме, не верящем смерти, даже глядящей в глаза (Кстати, об еврействе Печерского в очерке говорится не обиняками, а прямо и многократно.) .

Печерский знал, что ему отпущен очень малый срок, а потому, попав в лагерь, сразу стал думать о побеге. Но бежать одному, бежать с маленькой группой товарищей? Пренебречь судьбой сотен приговоренных к смерти? На это Печерский пойти не мог. Он стал готовить в лагере общее восстание, создав из смельчаков боевую, ударную группу. Он торопился, был внутренне напряжен до предела, но, вместе с тем, был расчетлив и трезв, старался продумать план восстания до последней мелочи. "С самого начала идея спасения слилась для него с идеей мести. Отомстить палачам, уничтожить их, уйти всем лагерем на свободу, по возможности разыскать партизан — так вырисовывался перед ним план его будущих действий". И смертники, вчера еще столь недоверчивые друг к другу, знающие, что в бараках наблюдают за ними доносчики и провокаторы, потянулись к нему, доверились его спокойствию и силе духа, его решимости продолжать борьбу. "За два дня до побега, — отмечено в очерке, — был праздник, Йом-Кипур.Среди разного по возрасту населения лагеря нашлись усердные молельщики.Один из восточников обратился к кантору с вопросом:—"Почему вы молитесь Богу,чем он поможет вам? Молились бы Сашке (то есть тому же Печерскому) .—Он услышал такой ответ: "Мы молимся Богу,чтобы Сашке все удалось". И восстание окончилось победой — многие гитлеровцы были убиты, сотни заключенных бежали за колючую проволоку и многие из них спас-

лись и примкнули затем к партизанам. Спасся и Александр Печерский — герой, простой кременчугский парень. А там, где некогда был Собибурский лагерь, теперь лишь "ветер позванивает рваной колючей проволокой..." Но навсегда сохранилась память о прожитом и пережитом и о величии духа таких людей, как Печерский.

... Остается только добавить, что очерк П.Антокольского и В.Каверина, предназначавшийся для "Черной книги", так и оставался на протяжении трех с половиной десятилетий известен лишь в своем журнальном варианте. "Черная книга" в СССР не была опубликована, а Еврейский антифашистский комитет был разгромлен, и многие члены его были арестованы или расстреляны. Издали "Черную книгу" в Израиле, в 1980 году.

* * *

В самом деле, почему человеком так властно движут не только чувства, так сказать, индивидуально-специфические, но и национально-универсальные? Больше того, почему личность, с такой яростью сопротивляющаяся любому посягательству на свободное проявление ее самобытности, одновременно и столь же упорно отстаивает свое право быть всего лишь частицей, лишь каплей в великом море общенациональной жизни? Извечное сосуществование двух судьбоносных человеческих начал или исторический нонсенс, нелепое самоборение, которое в один прекрасный день надлежит пресечь могучим усилием воли? История беспрерывного "возвышения и падения" антисемитизма, в своем неистовстве снова и снова наталкивающегося на жизнестойкость и неодолимость еврейства, позволяет, думается, если не ответить на эти вопросы, то, по крайней мере, ощутить их глубину и значительность, разглядеть в них не бесплодное "философствованье" и "томление духа", а доподлинность их и основательность, их фундаментальность.

Прежде всего, при любом подходе к "проблеме" выясняется, что национальный характер, национальное своеобразие – не иллюзия, не аберрация доверчивого зрения, а реальность исторического бытия народа,проявляющегося в общности его духовно-психологического облика. Особенно четко фиксируют это "лица необщее выраженье", когда говорят о евреях и еврействе. Здесь нет разногласий, своеобычие улавливают все – от наблюдателей лояльных и дружественных до откровенных и ярых антисемитов, от М.Горького, скажем, дс В.Шульгина. Тут можно, конечно, не соглашаться с теми или иными конкретными характеристиками, но нельзя не заметить "постоянства некоторых черт", с небольшими вариациями отмечаемыми в любом разговоре о еврейском народе.

Горький в предисловии к "Агасферу" писал: "Народ поголовно грамотный в эпоху безграмотности, народ предприимчивый, энергичный и рассеянный по всему свету, – евреи направили массу свободных сил своих на развитие ремесел, торговли и промышленности" [3]. В статье "О евреях" Горький снова говорит о воле, силе духа, жизнестойкости народа, о его трудолюбии и деятельном, беспокойном нраве: "Сейчас снова в душе русского человека назревает гнойный нарыв зависти и ненависти бездельников и лентяев к евреям – народу живому, деятельному, который потому и обгоняет тяжелого русского человека на всех путях жизни, что умеет и любит работать... Но давно, уже с детских лет моих, меня подкупил маленький древний еврейский народ, подкупил своей стойкостью в борьбе за жизнь, своей неугасимой верой в торжество правды, – верой, без которой нет человека, а только двуногое животное. Да, евреи подкупили меня своей умной любовью к детям, к работе, и я сердечно люблю этот крепкий народ, его все гнали и гонят, все били и бьют, а он живет и живет,

украшая прекрасной кровью своей тот мир, враждебный ему"[4].

Н.Лескова никак не упрекнешь в "излишних симпатиях" к евреям. Но при всем его недружелюбии, при всем его общем "презрении" к "поднимающемуся буржуа", он отмечает целеустремленность, настойчивость, энергию "иудейского племени", в специфических условиях 19 века с завидным упорством отстаивавшего свое право на жизнь и существование. "О евреях все в один голос говорят, – подчеркивает Лесков, – что это племя умное и способное; притом еврей по преимуществу реалист, он быстро схватывает во всяком вопросе самое существенное и любит деньги, как средство, которым надеется купить и наичаще покупает все, что нужно для его безопасности"[5]. В другом месте статьи "Евреи в России" Лесков указывает, что "евреи – люди торговые, а не филантропы, и коммерческий склад их ума всегда стремится изыскать всевозможные средства к тому, чтобы получить заработок посредством удовлетворения существующему или возникающему спросу"[6].

Шульгин прямо заявлял о своем антисемитизме: "Итак, я – антисемит. Имею мужество об этом объявить всенародно"[7]. Антисемитизм для него – "способ" раскрыть истинное лицо евреев: "Антисемитизм (это открыто мне Изидой) послан нам свыше не для "истребления евреев", а наоборот, для того, чтобы сделать из них полезных и приятных сограждан..., показав им в антисемитическом зеркале истинное (а не воображаемое ими в самообольщении) их изображение"[8]. Каково же полученное "изображение"? "Я отдаю евреям все должное, – пытается Шульгин сохранить объективность, – народ этот обладает самыми различными способностями, во многих отношениях достоин всяческого подражания – хотя бы в том отношении, что евреи искренно любят друг друга; народ этот об-

ладает огромной волей и удивительной выносливостью; его природе свойственна великая трудоспособность, ненасытная любовь к деятельности; нервная система его необычайна, и в этом отношении он превосходит, кажется, все другие народы" [9] . Снова – "огромная воля", "удивительная выносливость", "великая трудоспособность", "ненасытная любовь к деятельности"...Антисемит Шульгин говорит даже об "опасности поглощения русских евреями", ибо, по его мнению, "еврейская кровь, по-видимому, гораздо сильнее" [10]. Он снова и снова говорит о единстве, о национальном типе, так резко выраженном в еврейском народе: "Если у русских "кровь говорит" очень редко (да сие и понятно, потому что кровь-то уж очень мешаная), то у евреев она кричит, взывает и глаголет. Евреи друг другу гораздо более близкие родственники, чем русские – русским. По крайней мере, русские (да и ни один из европейских народов) не имеют таких ярко выраженных особенностей, как евреи. Что это значит? Это значит, что все евреи близки к какому-то общему собирательному типу еврея. Другими словами, евреи очень похожи один на другого"[11]

Какова бы ни была теория – религиозно-духовная, научно-генетическая или социально-экономическая – она не изменяет самого факта существования нации, как некоего устойчивого единства, опирающегося на близость составляющих его индивидуумов, на преемственность поколений и непрерывность их истории, на отличие народа от других народов, на особое место его в истории человечества. Внутреннее единство нации и ее внешняя особенность – предпосылки не внутренней унификации и внешней изоляции, а напротив, основа для всестороннего проявления личности и объединения творческих усилий общечеловеческого гения. Общность нации дополняется своеобразием ее членов, а различие наций – универсальностью человека

и человечества. Поэтому и культура, создаваемая нацией, – тот микроклимат, в котором наиболее полно и ответственно проявляются ее внутренние потребности и особенности. "Своя культура" – поддерживает и обеспечивает существование народа, "чужая и чуждая" – ведет к застою, ассимиляции, гибели. Результаты "взаимодействия" со "средой" могут быть самыми различными – от развертыванья национальной жизни до распада народа, ухода части нации в диаспору, растворения в новом окружении, – но во всех случаях "среда", как "инструмент естественного отбора", не формирует нацию "из ничего", а лишь поддерживает, дополняет, обогащает национальный характер или, напротив, обрекает его на нивелировку и угасание. Третьего тут не дано. Складывавшиеся веками нации крепко держатся за свою "внутреннюю" память. И это та сила, которую не одолеть мгновенными новациями "культуры", той псевдокультурой, которая оказывается ложной и мертворожденной потому, что была чужой и ненужной народу-нации.

ЕЩЕ ОДНО ЗВЕНО...

В своей новой книге "Вечерний день" (письма, встречи, портреты) В.Каверин предупреждает читателя, чтобы он не искал в его воспоминаниях ни строгого сюжета, ни полноты "отображения действительности". "Главный и естественный герой этой книги, – говорит Каверин, – Время"[12]. И добавляет: "Читая эти страницы, надо попытаться вообразить жизнь писателя как нечто целое, как историю без конца и начала, в которой, как в любой книге, переход от возраста к возрасту совершается незаметно"[13].Время и

человеческая судьба – тема "Вечернего дня". Человек, в своем взаимодействии со Временем, предстает не утлым суденышком, носимым по океану переменчивым ветром, а личностью, индивидуальностью, в судьбе которой многое подчинено его собственной воле и определено его душевным настроением. Время, даже в часы самой грозной и неистовой бури, когда, кажется, никто и ничто не может с ним совладать, оказывается на поверку не всесильным и всевластным, живущим лишь по своим надчеловеческим законам, а голосом, отзвуком человеческих исканий, сомнений и обретений.

В каверинской книге есть такие строки: "Рассуждая о судьбе Сократа, Гегель как-то высказал мысль, что великая жизнь тоже создает себя как бы по законам искусства. Тут та же, как в художественном творении, полнота и завершенность своей идеи, и каждый побочный мотив сознательно и бессознательно служит целому"[14]. Каверин имеет в виду героев своей книги, но в немалой степени гегелевское наблюдение может быть отнесено и к самому автору "Вечернего дня", воспоминания которого представляются завершением некоего круга жизни, тем подведением итогов, когда обретения пути сверяются с надеждами, поднявшими некогда в дорогу. И дело не только в жанровых особенностях воспоминаний, а в самой избирательности художнического зрения, выхватывающего сегодня из далей памяти события и встречи действительно судьбоносные, не только не затерявшиеся в сиюминутном коловращении жизни, но, напротив, подтвердившие незыблемость ее вековечных устоев.

В этом соотнесении и взаимообогащении личности и времени – знак и внутренний стимул истории. Чем настойчивей время требует от личности выражения ее душевной многогранности – индивидуальной, социальной, национальной, общечеловеческой, – тем очевидней и ярче путь тво-

рения жизни. Чем упорнее личность стремится к утверждению всей многослойности своего духа, тем значительней и ощутимей ее роль в становлении и движении времени. Поэтому Каверин обращается к урокам жизни таких людей, как физик-академик Абрам Федорович Иоффе; как писатели Эммануил Казакевич, Павел Антокольский, Леонид Первомайский, Илья Эренбург, Михаил Светлов; как биолог-профессор Л.Зенкевич; как моряк-подводник,Герой Советского Союза Израиль Фисанович. Дело тут не в профессии и уровне таланта. Важнее их профессия быть человеком, личностью и их талант человечности, соучастия в общем творении жизни. С поисков этой гармонии Каверин когда-то начинал свою писательскую биографию. Сейчас она "продиктовала" свои законы, "заставив" вернуться в самую раннюю молодость, к Льву Лунцу, который когда-то в "Родине" напророчил всю будущую каверинскую судьбу – не внешнюю, событийную, а внутреннюю, духовную. Уже тогда ведь было сказано, что не сможет, не захочет, не уйдет он от национальной подпочвы своего творчества, многое обозначившей в его судьбе.

Да, Л.Лунц был прав, несмотря на всю пестроту и часто гибельную сложность событий, потрясавших наше столетие. Разве только случайность, что именно сейчас, через полвека после смерти Лунца, под Лондоном, на чердаке дома, где жила его младшая сестра Женни Горнштейн, был обнаружен чемодан с письмами, которые посылали смертельно больному Лунцу его петербургские друзья? Разве случайно, что вновь ожила каверинская юность и в его же письмах вернулась к нему? Или, как пишет Каверин, "друзья Лунца написали роман в письмах, поражающий естественностью самого "незнания", что они пишут роман. Он полон признаний, сомнений, шуток. В нем участвуют не только письма, но и замыслы – осуществленные и неосуществленные"[15].

Пусть замыслы, пусть неосуществленные! Пусть они только иногда пробивались в его книги. Но и эти редкие свидетельства драгоценны своим вечным присутствием, своей неиссякаемостью. Слишком они были сильны, чтобы вдруг и навсегда оборваться... Их невозможно было ни изжить, ни пресечь.

И несть им конца!

М.Вайнштейн

---

[1] Марк Слоним. Писатели-евреи в советской литературе. "Еврейский мир", сб.2, 1944 г., Нью-Йорк.

[2] В.Каверин. "Очерк работы". Собр.соч.в 8-ми томах, т.1, 1980 г., "Художлит-ра", стр.14.

[3] М.Горький. "Несобранные литературно-критические статьи". 1941 г., М., Гос.изд-во художлит-ры, стр.300.

[4] М.Горький. "О евреях". 1919 г., издание Петрогр.Совета рабочих и красноарм.депутатов, стр.2.

[5] Н.Лесков. "Евреи в России". Гос.изд-во, Петр., стр.26.

[6] Там же, стр.40.

[7] В.Шульгин. "Что нам в них не нравится..." 1929 г., Париж, стр.12.

[8] Там же, стр.233.

[9] Там же, стр.246.

[10] Там же, стр.30.

[11] Там же, стр.121.

[12] В.Каверин."Вечерний день". Журнал"Звезда" № 3,1979 г. Л., стр.60.

[13] Там же.

[14] Там же.

[15] Там же, стр.76.

ПРИМЕЧАНИЯ

Первая книга романа "Два капитана" была напечатана в журнале "Костер" (NºNº 8-12, 1938 г..; NºNº 1-2, 4-6, 9-12, 1939 г.; NºNº 2-4, 1940 г.). Вторая книга печаталась в журнале "Октябрь", NºNº 1-2, 7-8, 11-12, 1944 г.). Отдельным изданием первая книга вышла в 1940 г., Детгиз, М., вместе обе книги – в том же издательстве в 1945 г.

Повесть "Конец хазы" впервые опубликована в альманахе "Ковш", кн.1-я, Госиздат, 1925 г. Вошла в собрание сочинений,т.1-й, "Прибой", 1930 г.

Роман "Художник неизвестен" появился в журнале "Звезда", № 8, 1931 г. Одновременно был выпущен издательством писателей в Ленинграде.

Очерк "Восстание в Собибуре" опубликован в журнале "Знамя", № 4, 1945 г. В 1980 г. в Иерусалиме вышла в свет "Черная книга", для которой очерк и предназначался. В "Черной книге" указана дата написания очерка – 1945 г.

Отрывок из "Речи, не произнесенной на IV съезде писателей" приводится по шестому тому Собрания сочинений Александра Солженицына (1973 г., издат. "Посев", стр. 42). Съезд проходил в 1967 г.

СОДЕРЖАНИЕ

В.КАВЕРИН:



Боятся все, к любому чувству присоединяется ставшая почти привычной естественность страха. Страшна вежливость, подозрительна и страшна доброта. Все возможно в атмосфере доносов, неуверенности в завтрашнем дне, напрасных попыток угадать пристрастия и причуды мнимого гения, короля Солнце. Что он сделает, куда кинется? Но куда бы он ни кинулся, все признано безупречным, вдохновляющим, необычайным. Король даже не приказывает, он просто говорит в пространство. Его приказы не нуждаются в адресе.

(Из статьи о М.Булгакове)

●

Он был честен, потому что он был поэтом. Он никогда не лгал, потому что он был поэтом. Он никогда не предавал друзей, потому что он был поэтом... Прекрасно понимая, что ложь и поэзия "две вещи несовместимые", он не мог писать того, чего не думал.

(Из статьи о Н.Заболоцком)